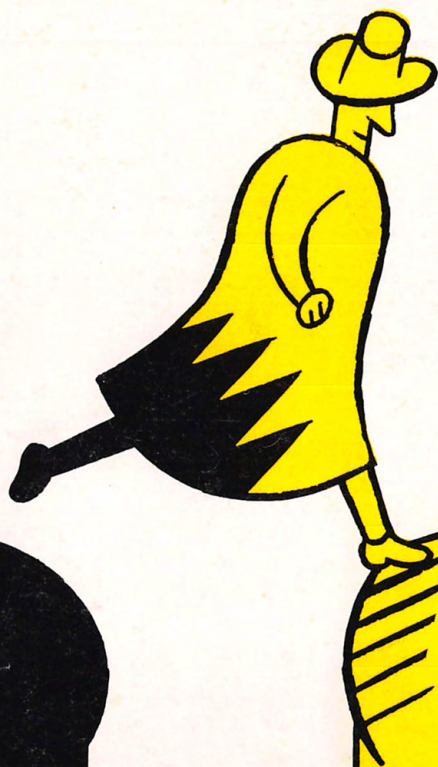


# ЗИНОВИЙ ЗИНИК ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО

ЗИНОВИЙ ЗИНИК • ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО









ЗИНОВИЙ ЗИНИК

# ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО

РОМАН

RUSSICA PUBLISHERS, INC.  
NEW YORK • 1985

**ZINIK, Zinovii.**

**PEREMESHCHENNOE LITSO. (A novel).**

© 1977 by Zinoviy Zinik.

© for Russian language edition

1984 by RUSSICA PUBLISHERS, INC.

All rights reserved. Except for use in a review, the reproduction or utilization of this work in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, and in any information storage and retrieval system is forbidden without the written permission of the publisher.

Cover design by *Maris Bishofs*.

Library of Congress Catalog Card Number: 84-60083

ISBN: 0-89830-023-1

RUSSICA PUBLISHERS, INC.

799 Broadway.

New York, N. Y. 10003.

*РУТ, главной собеседнице на другом языке.*

Я разъезжал в кресле на колесиках по квартире, приводя в порядок свой архив после очередного перемещения среди народов и государств. Я не уверен, что восстановленная нумерация страниц попавшего мне в руки манускрипта соответствует оригиналу. Я, в свою очередь, предлагаю читателю распахнуть переплет и перенумеровать страницы в своем духе, заменить чужие письма своими собственными и передать товарищу. И так далее, вплоть до следующего перемещения.

Поскольку в рукописи постоянно цитируются письма из Москвы, считаю своим долгом заявить, что авторские права на книгу в равной мере принадлежат московским почтовым отделениям МА К-64, НП Б-61, ПУ Г-34, ЕШ В-335 и АА Главпочтамт. От их имени не могу не выразить публичную благодарность цензорам ЧК ГПУ (Черному Кабинету Главного Почтового Управления), чья слаженная работа обеспечила беспрепятственную доставку писем из Москвы в Иерусалим и обратно.

Классики цитируются без кавычек.

29.10.79

ЗИНОВИЙ ЗИНИК.





Бедный Четверган! Вчера он мне снился: он выбежал из пещеры, где были найдены кумранские рукописи, и у него была почтовая открытка в руках. Он бежал по поверхности Мертвого моря. Потом споткнулся, и едкая соленая вода брызнула на открытку. «Черт», выругался он, продолжая скользить по поверхности. Он помахал открыткой в горячем воздухе Мертвого моря, брызги высохли, он удовлетворенно понюхал открытку, пробурчал чего-то вроде: «Это ничего. Не страшно». И понесся дальше в направлении Иерихона. Потом железный занавес упал, он сел в плетеное кресло на дачной веранде под Москвой и сказал: «У тебя есть клей? У меня марка отклеилась. Чего вы все боитесь? Почему нужно воспринимать все так трагично? В конце концов нам еще немного лет, еще не оторвались от кубка, еще тянут к себе клейкие листочки, голубое небо, великие могилы и любимая женщина». Я занервничал: «Это не твоя мысль. Это до тебя сказал Достоевский». Четверган прищурился и хихикнул: «Это ты так считаешь. Это все так считают. А на самом деле это я послал ему открытку про клейкие листочки с Мертвого моря. Там хорошо сохнет резиновый клей».

Вчера я получил от него по почте большой конверт, неприятный такой конверт, из коричневой глянцевиной бумаги, и марка с пейзажем Мертвого моря в углу. Его манера посылать по почте всякую дребедень, когда живешь, можно сказать, в соседних домах. Я вскрыл конверт, и там оказалась исписанная корявым безграмотным незнакомым почерком, почти печатными буквами, рукопись. Странички были скреплены скорошивателем. В углу было приклепано покореженное от клея уведомление о вручении: «Захар Баязитов А. А. г. Йошкар-Ола, ул. Циолковского. Пословицы, Поговорки и Изречения Захара Баязитова А. А. Глазами Вечности». Опять очередная многозначительная макулатура. Я хотел засунуть этого Захара Баязитова из Йошкар-Олы обратно в конверт и отложить куда подальше, когда из конверта выпал сложенный в четвер-

тушку листок, записка Четвергана. Он всегда складывал бумагу вчетверо, а потом исписывал ее со всех сторон:

«Завтра Тамаев отбывает в Америку, похоже, навсегда. Он мне оставляет ключи от квартиры на улице Таити. Я его провожаю на аэродром, а потом возвращаюсь со своими вещами в его квартиру и вылезать оттуда не собираюсь. Всю свою переписку, все бумажки и клочки я собрал, привел в порядок, уложил в папки с веревочками и, таким образом, картина моего московского отъезда мне ясна. Единственное, что осталось, это при получении последующих писем находить соответствующее место в папках с веревочками, перекладывая листочки и открытки с одного места на другое. Этого занятия мне хватит на всю оставшуюся жизнь, и просьба не беспокоить меня случайными визитами. Здешним сумасшедшим домом я сыт по горло и спешу сообщить, что срок моей вольнонаемной службы в здешнем министерстве истины истек, и я больше не собираюсь кривить рот чужим звуком, гипнотизируя себя самого и убеждая себя в том, что путь к правде лежит через отречение. Причем считать, что правда эта не в нас, а наверху, на газетном стенде, и что даже если она сулит только тошноту, то тем хуже для нас. И если человеку худо, то худо должно быть всему миру. А если мир еще способен улыбаться, значит он лжив и гнивает. Я не привык собственное несчастье относить за чужой счет. И псевдоложь псевдомира относить за счет посторонних. Меня тошнит от представления о жизни как о гарантированной страховке. Чтобы баш на баш. И, не сделав ни одного шага никому навстречу, надуваться желчью провинциального царька, к которому не идут волхвы и посланники. Мне надоело слушать, как бьют Гоголя Пушкиным за то, что Гоголь не писал стихов. Мне надоело смотреть, как собственное отличие видят лишь в том, что остальные не хотят присоединиться к лозунгу о собственном отличии. И требовать от этих неприсоединившихся признания собственной неправоты. Мне надоело общаться с людьми, обладающими душевной непробиваемостью ухмыляющихся скептиков, знающих всю подноготную. Мне надоело выслушивать выкрики абсолютных истин, не нуждающихся в слушателе ввиду своей абсолютности. Меня тошнит от навязчивого приписывания идеальных качеств тому, к идеалу которого стремишься путем уничтожения чужого идеала. Мне надоело смотреть, как идеал превращают в походное одеяло, и тому, кто не идет вместе со всеми в поход, идеал не выдается. Я обойдусь. У меня есть папки с веревочками. Я надеялся, что мое шутовство и игра в четыре руки хоть как-то избавят от тошнотворной вечности этот четвертый круг, вся честность которого состоит в том, что тут,

с целью не соврать, вообще молчат в подушку, а из всякого, кто пытается нарушить эту гнетущую немую честность, делают трепло, болтуна, ябедника, двурушника, урода в семье, выносящего сор из избы. Ладно. Я тоже так буду делать. Молчи, скрывайся и таи, исчезни и растай, на Таити, к черту на куличики, к таитянкам, к людоедам, крокодилам: эти, по крайней мере, не делают вид, что они твои родственники и выдерживают дистанцию. А тут ведь не знают, что такое внутренние территории и что такое нейтральные воды. Тут захватывают твою легкую надувную лодку и начинают ею капитанствовать. Здесь постоянно следят за твоими губами и ищут улыбку как доказательство собственной космической неудачи, как постоянное подтверждение, что мы — единственные несчастные создания на свете, и все остальные нам обязаны. Правильно изрекает Захар Баязитов А. А. глазами вечности: **ДЕРЖИ СВЕТИЛЬНИК — ОН ТВОЙ БУДИЛЬНИК.** А мне пора уходить. Пусть все идет своим путем. Например, к черту. Мне же больше ничего не остается, как копаться в своих папках с веревочками, справляя поминки по самому себе. Тебе же я отсылаю сочинения Захара Баязитова А. А. Ты, как астроном в прошлом, найдешь в его сочинениях родственную душу на пути к космогоническим изысканиям. Он заваливал своими изречениями глазами вечности нашу кафедру фольклора на протяжении десяти лет, и перед тем, как меня оттуда выгнали, я уволок с кафедры одно из его основополагающих произведений, а сейчас, приводя в порядок папки с веревочками, обнаружил к твоему удовольствию. Пока».

Я знал, что этим кончится. Только зачем посылать мне сочинения Захара? Вы думаете, это первое такое послание? Такие послания я получал от Четвергана каждую весну еще в Москве. Неясные намеки, явные оскорбления, приписывание обвинений, рекриминации и инсинуации. В такое состояние он впадал практически каждую весну, с тех пор, как его скандальным образом выгнали из Института русского языка, и он месяц пролежал в психбольнице. В такие периоды он всегда исчезал, удалялся, отгораживался, отшивал, всегда с каким-то иступленным милосердием. Недаром он собаку съел на истории юродства времен раскола: ты ему про Фому, а он про Ерему. Ехала деревня мимо мужика. Всегда от него ждал, что чего-нибудь выкинет, всегда надо быть настороже и ждать очередного бзика. Гимнософист! Рахман! Оксюморон! Как только надвигалась весна, мания совершать nepзвoлительные выходы и, прежде всего, по отношению к самому себе, становилась фатальной. И он расшвыривался собственной судьбой, как трамвайной мелочью. Вселенная в такие моменты

свертывалась в его руках в рваный рубль, и этой скомканной бумажкой он кидался в лицо главному официанту. А расплачиваться за разбитые зеркала приходилось друзьям и близким. Безобразная сцена с животными воплями на ученом совете кафедры фольклора лишила его не только зарплаты: она лишила его подмоштов для протаскивания животных воплей под официальным мундиром ученых диссертаций. Эта неприличная выходка во время голосования подарила ему месяц психиатрической больницы. И если раньше все его юродство претворялось в слова, то теперь оно стало облачатся в поступки. Из метаюродства оно превратилось просто в юродство. И вот однажды, зимней ранью он бросил тех, кем был богат. Я ждал его, как ждут жену, или дочь, или весну, или закат. Ехала деревня мимо мужика. Но куда мне тягаться с Тамаевым! Недаром он по фамилии Тамаев, а я, извините, но — Тутов.

\* \* \*

Тамаев был не просто кинорежиссер. Ему пока не удалось снять ни одного полнометражного фильма, а все больше документальные репортажи с различных мест действия. Но Тамаев твердо знал, что если ему дадут деньги на фильм, то этот фильм спасет мир. И так как мир не давал ему денег на фильм, он был уверен, что мир идет к концу. Он был полон эсхатологических предчувствий. И так как всю Вселенную он воспринимал как полнометражный фильм, где каждый день — отдельный кадр, а всякий фильм имеет свой конец, то и Вселенная двигалась к своему концу, и этот конец был близок. И вот, когда на экране появится страшное слово «конец», и зажжется свет, в зале вместо зрителей останутся одни скелеты. И Тамаев сойдет в освещенный зал с экрана в виде кинообраза, в виде облака, хлопнет в ладоши и режиссерски крикнет: «м-м-мотор!», и скелеты зашевелиятся, и это и будет самый великий фильм о конце мира, который будут финансировать загробные силы. В кино самое главное — финансы. Сначала Тамаев прокручивал в голове бесконечные сюжеты своих неосуществленных фильмов. Потом он стал в голове ворочать миллионами, которые необходимы для этих неосуществленных сюжетов. Потом не осталось ни сюжета, ни звезд: остались только цифры, мелькающие перед глазами, у них были условные названия, названия будущих фильмов, сцен и звезд, которые примут участие в будущей неопределенной, но грандиозной цифре. Но зато к прибытию Четвергана он организовал встречу с телевидением. Нас подпустили прямо к самолету. Меня он записал осветителем. Меня подпустили к Четвергану в качестве осветителя.

Тамаев его быстро заприходовал, прикарманил и абсорбировал у себя там, на улице Таити, и началось это прямо с аэродрома. Когда я приехал на аэродром и увидел телекамеры и суетящегося Тамаева, я понял, что у меня с Четверганом встречи не будет: она уже была, она уже была в уме, когда он был на том свете, а его приезд из Москвы будет лишь сплошным обманом. Тамаев ходил со своим отвратительным котом и все справлялся, не приземлился ли самолет. «Котика не с кем было оставить», сказал он мне заискивающе, «но Четверган рад будет, он ведь котика с Москвы не видел». Что Четверган будет рад видеть прежде всего меня — об этом он не подумал. И когда, наконец, я увидел его на выходе, на первой ступеньке самолетного трапа, у меня даже губы не дрогнули. Это была не моя встреча и не с тем, с кем встречи ждешь, потому что встречи ждешь с тем близким, от которого себя не отделяешь, а Четверган с первой секунды был отделен слепящим светом тамаевских юпитеров. Я помню его неуклюжую согнутую и одновременно собранную в пружину фигуру, стоящую в свете прожекторов, быющих в ночную тьму взлетного поля. Китовое тело самолета, и как будто из слепого глаза появляется он, взлохмаченный, щурится, ослепленный, косоглазый, в руке чемодан, в другой — пишущая машинка, и он не решается ступить вниз. И свет юпитеров обволакивает марлевой какой-то сеткой всю картину. И вдруг два слова крутанулись в виске: не он, не он, другой. Для меня он уже стал «некто другой». В том же войлочном пальто с ветряной нахлобучкой на голове, не по здешнему климату, и, может, потому именно, что все тот же, как в Москве, невозможно принять его здесь.

«Это, значит, знаменитость прибыла?» спросил грузчик, просунувшийся в первый ряд, к телекамерам. «Четверган, Четверган!» возбужденно ответил ему Тамаев. «Что же вы ругаетесь, я же спрашиваю: встречают кого?» обиделся грузчик. «Из-за ослепляющего света торжественной встречи с юпитерами я не смог в первый момент разглядеть лиц собственных друзей», сказал Четверган, когда к нему подлетела корреспондентка. «Свет прожекторов — начало ослепляющего света моей новой жизни на исторической родине», появилось на следующий день в газетах в коротенькой заметке с большим заголовком «Русовед, Сионист и Ортопед». Кроме того, по фамилии он оказался в одном месте Ветрогон, а в другом — Верогам, а в русской газете вообще Чифиргейм. Как он оказался ортопедом я еще способен объяснить: корреспондентка услышала, наверное, разговоры про его искривленный позвоночник; но «сионист» было излишней поэтической вольностью. Если к тому же учесть, что он по происхождению хазар,

то есть, в сущности, татарин, и если бы не мой пригласительный вызов, сидеть бы ему в Москве до батырских времен. В течение последующих месяцев ему намекали, что ортопеды стране нужны, и что с работой — у него — не будет никаких проблем, даже не надо переквалифицироваться. Четверган кивал головой, улыбался, и со всем соглашался. Эта улыбка! Они не знают, что значит, когда он улыбается. Они думают, что ему все очень нравится. Эта улыбка, когда уголки губ поднимаются вверх, как будто выдвигаются два маленьких кинжальчика. Но эта улыбка появилась позже, хотя я ее предчувствовал уже в первом объятии, в этом небрежном «А-а, привет, ты смотри, ты все в той же кепке?» Да, я был в той же кепке, я был в той же черной трагической кепке, я был все тем же прежним, потому что знал, что той жизни больше не будет, а он был другим, потому что делал вид, что вокруг все по-прежнему. То, что нужно для Тамаева. И встреча после аэродрома была на квартире у Тамаева, на этой квартире, где, как известно, проживает черный кот, на тамаевской квартире, а не на моей. Четверган уплетал клубнику и все ахал: «Ну! клубника в январе! чего вам здесь не хватает?» Я смотрел на его косоглазое расставленное лицо, на лоб с театральным партером морщин, на как будто клоунски наклеенные губы, и понимал, что его лицо — это лицо, которое я помню по Москве, а не то, которое я вижу сейчас напротив себя, и что обращаюсь не к нему, а к тому, которого знал, к собственному воспоминанию. С ним вообще трудно разговаривать, потому что он косоглаз, как татарский бог. Один глаз у него смотрит на Москву, а другой — на Иерусалим. Все зависело от того, каким глазом он на тебя поглядит. Есть, правда, еще один верный и неосуществимый прием: разговаривая с ним, самому начать косить параллельно. Он, как всегда, много пил и много говорил: «Черт, спускался с трапа, упали очки из-за ваших юпитеров, не разглядел, трах, раздавил, что теперь делать? Старые очки ужасны тем, что от них очень долго нужно отвыкать, если с ними что-то произошло. А когда я вставляю новые стекла, то к ним придется привыкать заново, что не менее ужасно. А новые очки всегда хуже старых, точнее тех, которые ты помнишь как старые, а потом снова наденешь и поймешь: носить невозможно, придется смириться с новыми». Он был возбужден. Он был возбужден на протяжении девяти месяцев.

\* \* \*

Как будто мы пережили смерть, и кроме одной вечности и страха смерти появилась другая вечность: смерть позади,

смерть отъезда. А ему было как с гуся вода: когда я его повел в старый город, к Стене плача, он шел по нему как будто заехал сюда между прочим, и главное, что его интересовало: какие турочки для восточного кофе можно приобрести на старом рынке? И вот чем это закончилось: он запирался в квартире Тамаева на улице Таити. Я снова вытащил из конверта рукопись, украденную с кафедры фольклора:

## «Захар Баязитов А. А. ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ИЗРЕЧЕНИЯ ГЛАЗАМИ ВЕЧНОСТИ.

Сначала расскажу о себе и от себя. Родился в 1945 году. Татарин. Виртуозно владею русским языком, родным владею гораздо хуже и даже плохо. С шести лет остался без матери и отца. Давно я научился узнавать настоящую поэзию по одной строке и покупал только те книги, где хоть куплетик бывал от такой поэзии. Однако меня не поняли и не увидели у меня ничего ценного. Именно сам я с самого начала пришел к самобытнейшей, в меру оригинальнейшей, свободно особо наполненной емко в свою меру поэзии. Кроме пословиц, поэтических поговорок и изречений глазами вечности, я давно открыл формулы из сравнительно арифметической геометрии небесных тел. Но я их никуда так и не отправлял, заранее зная, что едва ли их где пропустят глаза, следящие исключительно за модами. Около шести лет я думал урывками над проблемой, как научиться использовать двигательной силой силу притяжения и отталкивания небесных тел на небесных телах вопреки буржуазным модам. Одновременно мной были открыты, когда я четыре года подряд учился в вечерней школе, два важнейших закона и подзакона основной жизни. И после этого стояло передо мной раскрытие всей жизни в разнообразнейших ее проявлениях. Этого я добился с исключительным успехом, и первый двигатель, над которым я работал с формулировкой «Круговорот движения энергий», связан с преобразованием и составляет принцип вечной работы. Этот принцип был мной увиден не для представления публике и прессе в моем воображении после окончания четырех классов вечерней школы. В январе месяце я изобрел совершеннейшие конструкции этих двигателей. Эти конструкции разрешают вопрос быть или не быть этим двигателям вечной работы: за счет равновесия и плюс за счет ударных сил. Против разрушения от ударов придется, пожалуй, много поломать голову, если подтвердится на практике. А эта проблема очень важна для Человечества потому, чтобы доказать на практике, возможно или нет, чтобы силу притяжения при отталкивании небесных тел

на небесных телах при их достаточности использовать двигательной силой. Вместо должной помощи мне были преподнесены единственно только травмы. Быть может, это хорошо кому-то. Итак, по некоторым моим пословицам и поговоркам вы можете вознегодовать: почему я не занимаюсь только утверждением из существующего? Ну что ж, я отвечаю: если бы мы закрывали глаза перед всем происходящим плохим, то нужно ли было их ликвидировать и бороться против них?!

Не будем углубляться. Перейдем к модам. Да, если мы вместо мод по насучнейшей необходимости не выдвинем и не будем отстаивать, примерно, как хорошо, удобно и со вкусом одеться, то рискуем со временем оказаться с разбитыми черепами от рук опустошенных молодых людей под модами где-либо на площади, или метаться в сумасшедшем доме при лишенности сознания и всех чувств человеческих. Моды и коммунистические морали совершенно не согласуются. Непомерные резкие изменения накоплений организмов масс, частиц, ведут к гибели или к новой организации организмов масс, тел, частиц. Люди есть накопление общественной системы, общественного организма. Это значит, что если модами размахивают на площади без стыда и совести, организм погибает, а опустошенные молодые люди превращаются в продажных фашистов и сверхфашистов, не имеющих ни совести, ни чести, ничего человеческого. Конечно, это не скоро так получается, но получается. И даже употребление слова мода должно быть, я считаю, только на свалке истории. Было, разворачивали борьбу против мод, но эта борьба была не борьбой против мод, а одним надуванием живота.

В конце присовокупляю несколько новых жемчужин из моих новых пословиц, поговорок и изречений глазами вечности, и если их будет даже не больше восьмидесяти, то и тогда они способны остановить моды на пути вечных двигателей и повернуть мир лицом ко мне.

РАНЫШЕ ДУЛИСЬ ВСЕ, А ТЕПЕРЬ НА СТУЛЬЯХ ВСЕ.  
ЛИШЕННУМУ ДУШИ ВСЕ ПРЕЛЕСТИ ЧТО ВШИ.

ЧЕМ ТЫСЯЧИ УКОЛОВ ПРИНИМАТЬ, ЛУЧШЕ РАЗ  
ПОГОЛОДАТЬ.

СТРОЧИТЬ СТРОЧИ, ДА ЗНАЙ ГДЕ КЛЮЧИ.  
СЧАСТИЕ И НЕСЧАСТИЕ ОТ НАШЕГО УЧАСТИЯ  
И НЕУЧАСТИЯ.

НЕ ВСЯКОМУ В РУКИ ДАЮТСЯ МУКИ.

УРОД УРОДОМ, А ТОЖЕ К ВОДАМ.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ОДНИ ИЗДЕРЖКИ.

С НОЖИЧКОМ И ВИЛКОЙ В ПАСТЬ,

А ДОЛГА НЕ ОТДАСТЬ.



ЛУЧШЕ БЫТЬ НЕ В МОДЕ, А ВРОДЕ.

Вариант: ЛУЧШЕ БЫТЬ НЕ В МОДЕ, А В РОДЕ.  
ИЗ МОДЫ В ФАШИЗМ, ИЗ ФАШИЗМА В САДИЗМ.  
БОРИТЕСЬ ЗА ЛУЧШУЮ КУЛЬТУРУ И ПОДНИМАЙТЕ  
ФИЗКУЛЬТУРУ.

ДЕРЖИ СВЕТИЛЬНИК — ОН ТВОЙ БУДИЛЬНИК.

ЛЮБОЙ БЕДЕ БЫТЬ В УЗДЕ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОРЯДОК БЕЗ ОГЛЯДОК».

Я засунул эти изречения глазами вечности обратно в коричневый пакет и уехал на Мертвое море: собраться с мыслями.

## 2

Тамаев повез в Америку розовые надежды, в то время как Четверган уносил с аэродрома свой пессимизм. В тот день, 16 числа месяца китовраса, в серую субботу, в соловый четверг, в желтый пяток, когда американский астронавт пожал руку советскому космонавту в космической пустоте, Четверган возвратился с аэродрома и, с трудом нащупав ключом замочную скважину в темноте лестничной площадки, открыл дверь тамаевской квартиры. Отперев дверь, ее нельзя было просто так распахнуть и войти в квартиру: открывать ее надо было поэтапно. Сначала надо было приоткрыть ее и сразу засунуть ногу, как можно дальше засунуть ногу. Чтобы как можно дальше отбросить от двери кота, который норовил выскочить наружу. В квартире стоял тяжелый запах кошатины. Что оставил Тамаев Четвергану, укатив в Америку? Дюжину тарелок бумажных да две солонки фонтажных. Парусиновую кастрюльку и табашную люльку. Дехтярный шандал да помойный жбан. И еще кота, которого никто, кроме Тамаева, не любил, но сторожить кота в пустой квартире остался все-таки Четверган. Разве он сторож коту не своему? Когда Четверган вошел в квартиру, кот сидел на подоконнике раскрытого окна и, вытянув шею, пристально всматривался вниз, как неопытный парашютист. Однажды, еще в Москве, он уже прыгал из окна, и теперь его тянуло повторить неудачный эксперимент; или же кот был закоренелым самоубийцей? Четверган был бы рад самоустранению этого существа, но чтобы это произошло в его отсутствие, чтобы

он к этому не имел отношения. Но зловредная сущность кота состояла в том, что он угрожал попыткой самоубийства непременно в присутствии посторонних, то есть Четвергана. И сейчас ничего другого не оставалось, как выманить кота с подоконника: для этого надо было снова приоткрыть дверь. Потому что открытая дверь притягивала кота больше, чем открытое окно, доказывая, в сущности, что самоубийство было для кота лишь уловкой в обретении свободы. Когда шантаж путем угрозы выпадения из окна становился неминуемым, открывалась входная дверь. Четверган распахнул дверь и позвал кота лстивым голосом. Тот недовольно вывернул свою шишковатую голову, повел взглядом в сторону двери и принялся к сквознячку лестницы. Потом, пригнухаясь, бесшумно соскочил с подоконника, звякнув лишь колокольчиками ошейника, и засеменил к двери. Когда он присел на задние лапы, приготившись к решительному прыжку в неизвестность свободы, Четверган тоже напряг коленки, и вот, баш на баш, когда кот уже был в воздухе, в прыжке был и Четверган. Пока одна рука захлопывала дверь, другая в рывке захлопывала окно. Возвратится ли Тамаев? И если он не возвратится, значит всю оставшуюся жизнь Четверган будет обречен или жить с закрытыми окнами или же ежедневно совершать подобные прыжки, скованный одной цепью с котом, черный и белый, русский с китайцем, братья навек, чушь собачья. Вот именно: кота звали Собачин.

То есть в Москве кота называли Себастьян. Но в связи с переездом в западный мир его имя изменилось и англизировалось: Себастьяна стали называть Себасчен. Но никто из говорящих по-русски не мог толком выговорить это англизированное прозвище, и в конце концов он превратился из Себасчена в Собачина. Таким образом коту приписали нечто собачье. Пес Кошачин, кот Собачин. Захочу быть кошкою, захочу собакою. Я б сдох как кошка без собаки на острове Таити. В Москве коту и в голову не приходило показываться на улице. Улицу Собачин презирал. Может быть, после того, как однажды выпал из окна. Без парашюта. Он ничего себе не сломал, упав с восьмого этажа. Но неделю ходил пришибленный, и его тошнило. У него и до этого был странноватый вид. Не то, чтобы ущербный. Наоборот, с первого взгляда вся кошачья стать была при нем: и спину гнул, и хвост трубой, и лапу ставил незаметно. Что-то непривычное было в самой морде Собачина. Нечто не кошачье. То есть все в порядке: и ус, и ухо, и пасть с зубами, и нос пуговичей. Но бывают такие коты с проплешиной на лбу, даже не проплешиной, а просто высветленный пушок от носа до ушей; из-за этого высветленного места казалось, что нос у него

не пуговицей, а такой удлинённый флегматичный нос, который суется не туда, куда полагается коту. Кроме того, видали ли вы когда-нибудь кота с морщинами на лбу? Так вот, у Собачина они были: лоб в морщинах. И если прибавить к этому, что у него была манера склонять голову набок, как это умеют делать только собаки, отчего взгляд у собак становится человеческим, то морщины с наклоненной головой и с этим ученым носом создавали некое неприятное впечатление: пропадала искренность, которую внушают все животные на свете. Кроме того, у него была неприятная манера кривить рот. То есть, возможно, он просто по-кошачьи скалил пасть, но выходило это так, что когда его сгоняли с кресла, где он пригнулся, у него кривился рот иронично и озлобленно. И наоборот, когда он был доволен, уголки усов приподымались, и казалось, что он улыбается. А манера не глядеть в глаза, когда ему приказывали? Или, наоборот, глядеть в глаза, когда к нему обращались с тем, что ему по душе? Эта манера отворачиваться от неприятных слов? Кроме того, у него были странные для нормального кота развлечения. Конечно, Тамаев нашел его в Москве на улице с ошейником на шее, правда, и, возможно, дикая сноровка срабатывала, но когда я видел, как он подбрасывал размотанную киноленту, подпрыгивая и подбивая ее лапой в воздухе, как будто проглядывая на свет, мне становилось не по себе. В квартире нельзя было оставить деньги: он их куда-то засовывал. А когда он в Москве выпал из окна и стал прихрамывать на одну лапу, единственное, чего стало не хватать в его внешности — это очков. После выпадения из окна он даже перестал интересоваться другими метagalaktиками. Выходом в иную метagalaktику для кота была дыра в унитазе. В Москве это был очень сосредоточенный кот, и нужду он справлял аккуратно, садясь по-человечески на унитаз. Потом хозяин спускал воду в унитазе, и кот зачарованно выгибал голову, следя, куда девается вода. Это исчезновение воды было для него мистическим явлением. Точно так же он относился к струе воды из-под крана. Дыра в раковине, как и отверстие в унитазе, вела в другие вселенные. Но видимо перелет на самолете убедил его в том, что есть другие выходы из московской квартиры, кроме отверстий в унитазе и кухонной раковине. И он до сих пор не мог успокоиться и все рвался куда-то дальше: на лестничную площадку, в первую очередь. Он уже не мог вынести целостности отдельного существования в замкнутом пространстве. Его все время тянуло что-то такое совершить, выйти, вывернуться, и он даже стал тереться о ноги незнакомых людей: сначала Четверган думал, что это поиски ласки и тепла, а потом понял, что коту нужно чесаться, у него все время что-то

чешется. Может, он тоже хочет сменить собственную шкуру?

В последние месяцы перед отъездом из Москвы он стал увлекаться валерьянкой, а когда переехали, открыл для себя сорт мужского одеколона, который приходилось от него тщательно прятать. После того, как он надирался очередной жидкостью, все его дурные качества и неестественные для кота черты обострились. Все знакомые настаивали на том, что его надо отвезти к ветеринару-психиатру. Тамаев уклонялся, считая, что обойдется: слишком он был привязан к Собачину, несмотря на разницу в возрасте и во внешности. Но когда он в очередной раз чуть не выпрыгнул из окна, Тамаев решил, что надо обеспечить ему хотя бы кошку. Он облазил ночью всю автомобильную стоянку рядом с домом, вытаскивая из-под машин ночующих там кошек. Это была утомительная задача, потому что, лазая под машинами и вытаскивая очередное уличное животное, он выяснял, что это не кошка, а кот. В конце концов, кошка обнаружилась, оказалась веселой и обуреваемой жадой встречи, но когда ее впустили к Собачину, выяснилось, что замысел бездарен. Кот шараялся от нее, как от собаки, и шипел. Кошка бегала за ним, тпала его лапой, садилась в соблазнительные позы и притворялась спящей. К общему ужасу кот принес ей в зубах старую газету, а сам, вспрыгнув на диван, занялся привычным для него упражнением, употребляя для успокоения кошачьих позывов шерстяной платок: он брал один конец в зубы, а другой зажимал между ног, и страшно было смотреть на то, как он часами пытается добиться кошачьего оргазма. Смотреть на это было дико в первую очередь кошке. При каждом движении колокольчики на шее у кота позвякивали: ему на шею надели в детстве ошейник с колокольчиками, и может быть, поэтому он стал таким безумным: он не мог ни к чему приблизиться, не выдав себя звоном колокольчиков на ошейнике. Или его все пугало, или он всех пугал. Сейчас Четверган, прищурившись, всматривался в нагловатые желтые глаза и с черной ясностью отчаяния и беспомощности выстраивал в уме по цепочке линию намеренно провокационного поведения кота. Собачин действовал согласно хорошо обдуманному зловердному умыслу, как закоренелый враг всего человеческого, полный зоологической ненависти ко всему существующему помимо него в этой мрачноватой квартирке. Он провоцировал, он сознательно нарывался на скандал. Все его поступки были звеньями одной и той же цепочки на ошейнике, обратной стороной его медальной физиономии.

Когда Четверган прошествовал в кухню, черное существо поежилось от его взгляда, но ничего не сказало, а, повертев хвостом, сделало вид, что ничего не произошло. Обычно,

после обманного маневра с окном и дьерью, Собачин разразился протестующим ревом, утробным человеческим стоном, и только войдя в кухню, Четверган понял, почему Собачин на этот раз злобно промолчал. Дверцы кухонного шкафа были распахнуты. Уезжая на аэродром, как, впрочем, всякий раз, уходя из квартиры, Тамаев с Четверганом баррикадировали дверцы шкафа двумя раскладными стульями. Стулья на этот раз были сдвинуты, а как — оставалось расшифровывать. Не помогла даже крепкая аптечная резинка, несколько раз перетянутая и наверхенная на обе ручки, чтобы дверцы не распахнулись. Резинку кот явно перегрыз, хотя она находилась на высоте недоступной перегрызанию. Цель вторжения в кухонный шкаф была разбросана по полу: это были разодранные картонные пакеты кошачьей еды под названием «Феликс», коричневые котлетки, шарики, которые надо было размачивать в воде перед кормежкой. Все четыре пакета «Феликса» были вскрыты и сожраны всухую. И последствия этой террористической акции можно было почуять в воздухе: кот явно обожрался. Но не это было самым чудовищным проявлением озлобленного ума. Помойное ведро было вытащено из-под раковины, прикрытой шкафчиком, перевернуто, и его содержимое с методической эпилептоидностью было развезено по всей кухне. Но шедевром извращенного мозга Собачина был слой сахарного песка, снежной порошей прикрывавший следы погрома. И совершен был этот акт вандализма вовсе не потому, что коту настолько захотелось сладенького, что он ни перед чем не остановился. Ему не просто захотелось сладенького, и он залез в шкаф. Нет. Для Собачина это было бы слишком вульгарно. Аккуратные спирали и замысловатые зигзаги кошачьей мочи пестрели на ровном слое сахарного пергамента, а в других местах сахарный песок сиял первозданной чистотой, и к нему явно не притрагивались. Собачин пытался обратить на себя внимание. Чтобы дать понять. Чтоб его поняли. И тут сумасшедшая мысль: что если это не просто акт вандализма и погромного настроения, что если все эти спирали и зигзаги — загадочные иероглифы? Что если это зашифрованное письмо воробьям на подоконнике? прощальная булла отбывающему Тамаеву? эпистола вступившему в права владения Четвергану? вдруг кот извещает о своей конституции, ставит в известность о своем уголовном кодексе? вдруг он хочет через Четвергана сообщить нечто важное всему Человечеству? Ведь, собственно, кроме Собачина, не осталось у Четвергана ни одного собеседника: Тамаев уехал в Америку, я, поссорившись с Четверганом, отбыл лелеять свою тень на Мертвом море. Четверган представил себе, как он будет обмениваться шифрованными

посланиями с Собачиным на сахарном песке, и мысль о том, что Собачин стал его единственным собеседником настолько потрясла его, что он, вооружившись щеткой, решительным шагом направился в комнату: выяснить этот вопрос раз и навсегда.

По дороге в большую комнату он чуть не поскользнулся на лужице кошачьего изготовления, которая уже ни к какой письменности не имела отношения, не говоря уже о сургучных печатях, которые надо было осторожно обходить, вовремя заметив. Эти дополнительные улики вели к тому, чтобы поймать кота и объявить ему свою классовую позицию раз и навсегда, то есть хорошенько вдарить ему по шее. Собачин, почуяв революционные перемены в воздухе, стал медленно передвигаться к единственному выходу в коридор, стараясь проскочить между ног Четвергана и непроходимой стеной. На мгновение головокружение от успехов обмануло Четвергана и, когда он на секунду прижал Собачина к стене щеткой, тот вывернулся и рванул в направлении балкона. Четверган бросился за ним, балансируя на поворотах и огибая вавилонскую письменность. Послышался звон разбитых бутылок, потому что на закрытом балкончике при кухне, куда вбежал Собачин, единственное окошко-форточка было благо-разумно заперто, и он влетел в груды картонных коробок, куда складывали пустые бутылки. Достав Собачина щеткой из этого тупика, Четверган захлопнул дверь балкончика, и тем самым наказал кота самым страшным образом: балкончик служил кошачьим карцером. Сразу же из-за захлопнутой двери послышался дикий утробный вой и новый звон разбитых от возмущения бутылок; морда Собачина возникла в дверном окошке; он прижимал морду к стеклу и стучал лапой. Четверган для острастки еще раз стукнул в дверь щеткой, пошел в уборную, отмотал длинный лоскут туалетной бумаги и подчистую стер кошачье евангелие. Потом взял ведро с водой и вымыл как следует кухню, коридор и ту большую комнату, в которой обитал кот, заодно уничтожая следы пребывания бывших обитателей квартиры. Этот кот, возможно, все делает для того, чтобы проверить способности Четвергана восстанавливать прежнюю видимость порядка. Как будто жизнь есть непрерывный и бесконечный процесс по наведению порядка в квартире, и эта страсть к наведению порядка в квартире есть сублимация беспорядка внутреннего. Котом руководит страсть к познанию человека. Кот существует для того, чтобы все шло медленно и неправильно, чтобы не мог успокоиться и замереть человек. Четверган долго отмывал в ванной следы и последствия тамаевских проводов и вышел из ванной в длинных, синих,

от прошлой жизни оставшихся трусах. По этим трусам можно узнать выходящего из ванной эмигранта. Если бы в тот момент, когда все люди, живущие за железным занавесом, моются в ванной, раздался бы звонок — сколько из них вышли бы в советских синих трусах до колен? Сколько? Целые народы и государства. Это настоящее переселение народов, новое нашествие готов, вест-готов, зюйд-вест-готов, ист-готов и изгоев на новый Рим — Иерусалим — Русалим, в котором слишком много римлян, которые считают, что в Риме слишком много римлян. И какую весть несут эти вест-готы? Синие советские трусы! Которые звываются над развалинами прежнего Рима. И на этом флаге будет красоваться клеймо московской трикотажной фабрики. Хоть кинься во птицы воздушные, хоть в синее море ты пойдешь рыбою, а я с тобой пойду под руку под правую, в синих советских трусах.

Расправившись с котом, заперев его на балконе, по коридору он прошел из ванной в третью комнату: он наконец приблизился к тому, о чем мечтал с утра, с аэродрома. Кресло на гуттаперчевых колесиках: оно было как будто из другого мира, не имеющего отношения к шарообразному зною дня, к наглым выходкам кота, к грохоту на лестничной площадке и к тошнотворному эху мусульманской молитвы с холма напротив. Оно было ниоткуда, но всегда туда. Разве его можно сравнивать с моим тяжеленным обтертым голубым креслом, тупо стоящим у окна, из которого я тупо слежу, насколько выросла за день величина тени у дерева напротив? Ветры гуляют и свистят, и кажется, что сейчас сам дом взлетит, только лететь ему некуда. А кресло на резиновых колесиках не принадлежало месту: оно само по себе было вселенной. Но оно менялось по желанию, оно менялось по всем направлениям: на нем можно было крутиться на месте, и когда крутишься, сидя в нем, отталкиваясь от пола ногами, оно начинает приподыматься, и вот уже ноги не достают до пола, и вот уже сидишь на высоком берегу реки, болтая ногами. Который год мы не сидели на берегу реки, болтая ногами, чтобы можно было запустить в воду обломанную ивовую ветку с куста, нависающего над водой, и следить, как она сплывает вниз по течению под деревянный мост. Пахнет скошенной травой. Или нет: осокой. Осокой пахнет. Или когда еще снег весенний осыпается с берегов, или льдиночка плывет. Или нет, лучше, чтобы осокой пахло, и стало холодно от тумана, подымающегося от воды, потому что день был жаркий. И медленно идешь с прутиком в руках, нащупываешь щеколду калитки, и кусты стоят темные, а за кустами светится дачная терраска. И когда

входишь по ступенькам, шуришься от абажура, и чайник кипит, и надо найти старый пиджак за дверью, давно потертый и не новый, четвертого поколения пиджак, и ежась и непонятно чему улыбаясь, согреть руки о большую чашку чая и рассказывать Нине, что завтра, пожалуй, надо съездить на велосипеде в Пушкино за газовыми баллонами. И потом, путаясь ногами в сползающем одеяле, неуверенно догадываться до звука комара, планирующего на твой нос как раз в тот момент, когда ты с трудом задремал в непривычном запахе осоки и черемухи, керосина и набитого соломой матраца на дачной терраске. И в конце концов забываться с надеждой завтра утром увидеть снова вокзальную площадь, пирожки с мясом, стенды с «Правдой», где по перемещению портретов членов политбюро можно было сделать соответствующие выводы о не твоём будущем и обсудить это за чашкой кофе у кофейной машины, когда наконец вырвешься с этой чертовой дачи и понесёшься на электричке по направлению Новый Иерусалим — Москва. Уехал бы он, право, в Москву! Со своим летающим креслом.

Из-за этого кресла, по его словам, он, собственно, и согласился в тамаевскую квартиру переселиться. Так он сам, по крайней мере, мотивировал свой переезд на улицу Таити: из-за этого кресла. Ему обязательно нужен фиктивный предлог для идеологических вылазок. Он помешан на этом кресле потому, что в этом кресле он не сидит на месте. В этом кресле он может считать, что никуда не приехал, что все уже дома, а он еще в пути. И садится рак, печатный дьяк, на ременчатый стул, чтоб черт не сдул, одной ногой здесь, другой там, из-под пятницы суббота, ему про Фому, а он про Ерему. Но когда он, предвкушая покой и волю усталому рабу спины, открыл дверь третьей комнаты, ему стало не до Фомы и не до Еремы.

Кресло на колесиках, прекрасное и взвинченное, стояло посреди груды бумажек. Папки архива, систематизация которых стоила стольких усилий, которые с такой торжественностью переносились из Москвы на улицу Рабиновича 33, а с Рабиновича 33 на улицу Таити, эти папки с веревочками, с тесемочками и бечевками, были развязаны, разодраны, разметаны, раскиданы по разным углам комнаты, затемненной опущенными железными шторами. Собачин пересобачил, перечертил, перепакостил, перегадил весь архив. Какой был архив! Бумажка к бумажке, письмо к письму, обратный адрес к обратному, марка к марке, номер к номеру, жизнь к жизни. Пролистать и умереть. Что, собственно, и предполагалось: пролистать и умереть. Сначала просиять и уехать, а потом пролистать и умереть. Превратив свою жизнь в цитату из чужого разговора, разложенного



по конвертам. А теперь надо снова возвращаться на тот свет. И вот Четверган сидел в кресле на колесиках перед окном со спущенными железными шторами над кучей перепутанных писем. Ключки, лоскуты, листочки: их хочется соединить. Еще раз проводить взглядом уезжающую машину. Еще раз попытаться сосредоточиться на чужих словах. Но они мешают, а не помогают. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Самогипноз. Он старался загипнотизировать самого себя. Вот как это выглядит со стороны. Старческое бормотанье. Одна нелепость громоздится на другую. А это ему напоминает то-то, а это ему напомнило вот что, и пошло, и поехало, и закрутилось. Жутко.

\* \* \*

«ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО СОИЗВОЛИЛА ПРЕДПРИНЯТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФРИДРИХСГАМ. *Июнь 15. Прибавка по новому стилю для XVII века 11 дней = 26 июня. Ранее извещено было, что 9 предпринял Шведский Король путешествие в Финляндию.*

И ниже, более мелким почерком: «16 июня Ее Императорское Величество ошастливит изволила город Фридрихсгам своим присутствием, куда 18 июня Прибыл также Шведский Король под именем Графа Готландского.

22 июня Ее Императорское Величество предприняла обратный путь.

24 июня Соизволила прибыть в Сарское село в вожделенном здравии.

В конце сего месяца известный Васгинтон сложил с себя правление над Американскими войсками, чтобы последние дни жизни препроводить в своих местностях, в тишине и покое».

Снизу было выписано:

«хронологическое расписание знатнейших 1782 и 1783 года приключений. МЕСЯЦОСЛОВ на лето от Р.Х. 1784, которое есть високосное, содержащее в себе 366 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской Империи в Санктпетербурге при Императорской Академии Наук».

На чей день рождения четыре года назад он заготовил эту открытку? Четверган был не в силах подняться с кресла на колесиках и, перебирая ногами, развезжал от одной бу-мажки к другой, убеждаясь, что все безнадежно к свиньям собачьим перепутано кошачиной. Выписка из месяцеслова была сделана на левой части картинке с вавилонским петухом: часть картинке была расщеплена, и верхний слой был содран

так, что на оставшейся белой части можно было что угодно навывписывать. Кто такой Васгинтон, сложивший с себя правление над американскими войсками? Он сложил правление и, наверное, на его место и уехал Тамаев в Америку. Васгинтон, Чильд Гарольд, Шекспир, Гишпаниа. Вашингтон, конечно, а не Васгинтон. Транскрипция. Как бы затранскрибировать адекватно этот хаос, этот «фридрихсгам»? Куда он, Четверган, в конце концов, сложив с себя правление войсками, соизволил в вожделенном здравии прибыть в обратный путь? Он поглядел на обратную сторону открытки, и выяснилось, что петух вовсе не вавилонский, а это деталь украшения врат церкви Троицы в Никитках. Не надо было заводить архива и трястись над собственными открытками. Открытки надо было вовремя отправлять и забывать о том, что там написано, как можно быстрее, пока не отзовется. Но невозможно предсказать, как наше слово отзовется. Сначала слово, а потом дело. Папки, на которых крупными черными буквами написано «ДЕЛО №№». Теперь номера перепутаны. Солнце крутилось в столбе пыли, поднятой котом, и это поднятие пыли продолжал Четверган. Только недавно эти папки с делами под номерами были уложены на полках, на столе, придвинутом к окну, с лампой, с подвижной спрутовой ножкой, которая выгибалась в любую сторону. Сейчас это была куча. Куча вавилонских табличек, в которых не было последовательности и, следовательно, смысла. Папки с веревочками были растерзаны, письма, выписки, открытки, газетные вырезки разметаны, как пух от подушки по всей комнате, как после обыска. И вместо отпечатка сапога на растерзанных листочках он обнаружил следы кошачьих лап и когтей.

*«Я приду к тебе завтра. Завтра я уйду от тебя. Где мы все будем завтра? Моя третья дочь умерла. Первые две остались живы. Сеида укусила змея. Он пошел домой. Ахмед курит кальян. Ты хочешь жить в своей деревне, пока не умрешь, а я хочу видеть другие страны».*

На другой стороне открытки зелеными чернилами:

*«Мы русские. Вы не русские. Они не персы. Они турки. Все люди братья. Я кузен».*

В правом углу синими чернилами:

*«Белая овца пришла домой первой, а черный бык пришел вторым. Она седьмая. Он десятый. Рыба хуже мяса».*

Коричневыми чернилами:

*«Это чадра Лейлы. Она ей нужна. Это волосы Али. Щека Лейлы. Вуаль Фатимы здесь».*

И с левого бока снова синими чернилами:

*«Сам сом с усом. Я не перс. Вы персы и мы персы. Чей чан? Хасан хочет халвы. Черный осел ревет. Это экипаж эмира. Человек стоит у входа в пещеру».*

Оранжевыми чернилами выделялось:

*«Что тебе нужно было у Хасана? Я хотел взять у него осла. Мой осел ушел вчера, а мне нужно идти в город. Хасан дал мне своего осла. Хороший человек Хасан».*

В середине на машинке «Олимпия»:

*«Вчера барс унес козу. Может быть, завтра медведь унесет быка».*

И по краю всей открытки:

*«В позапрошлом году я женился. В прошлом году я имел свой дом. В будущем году я буду уметь читать. Мир до нас был тысячи лет и после нас будет»* и черными чернилами крупными буквами: **«ЭТО ЛУЧШЕ ТОГО».**

Внизу было подпечатано: «Начальная книга для обучения русскому и персидскому языкам. Москва 1928».

В углу над адресом марка изображала чучмека в дохе с нахлобучкой для головы. Чучмек улыбался, а рядом молодой человек вез к нему тачку, держа на плече лопату, а пионерка кормила овцу. Все это называлось «Маршрут ПИОНЕРСТРОЙ». Неотправленная в Москве открытка, непонятно с какой целью перекочевавшая в Иерусалим. И за время пути начальной книге по обучению персидскому и русскому языкам удалось подрасти и стать не начальной, а окончательной. Это было жутко актуально тогда, когда это было жутко актуально. Только в последний момент доходило, что открытка вырезана прямо из обложки учебника, ну из титульного листа, и кусок заголовка **НАЧАЛЬНАЯ КНИГА** замечался в последнюю очередь. А в середине, то, что казалось случайными росчерками, было арабской вязью. Или персидской. С нашими способностями полиглота можно даже постараться прочесть и убедиться, что действительно «начальная книга для обучения персидскому и русскому языкам». Когда читаешь, главное помнить, что например, буква «а» в арабской письменности меняет свой вид, в зависимости от того, стоит она в середине, в начале или в конце слова. Такое лицемерие и хамелеонство в зависимости от географии. Где мы все будем завтра?

Было бы хорошо перенести всю эту кучу и завалы вавилонских клинописей в Москву, в комнату в Копьевском переулке, там все стало бы на свое место. Для каждого кусочка макулатуры моментально отыскался бы свой адрес, и адрес отправителя не звучал бы как

адрес отравителя с того света. Слова, упавшие с неба. Там их можно было подвесить на одну проволочку, по которой каждый ходил, и эта проволочка становилась мостиком, и человеку легче было идти. Там для каждой заготовленной открытки была своя стопка книг, под которую склеенную открытку можно было подложить на просушку. Пачки итальянских газет служили хорошей подстилкой для проклейки. И потом можно было, не вставая с тахты, протянуть руку и вытащить из пачек до потолка старую итальянскую газету, выдрать из нее случайно попавшийся кусок и, расслоив его, присобачить резиновым клеем к чему-нибудь еще, например, к вырезке из книги для обучения русскому и персидскому языкам. И, отыскав в записной книжке очередной из 366-ти дней рождения, если год был високосный, отослать по почте. Над головой тикали ходики, за окном падал неуклюжий знакомый снег, и если кто собирался ехать в следующий четверг в очередной Фридрихсгам, а если не во Фридрихсгам, то хотя бы в Подрезково, то открытка про Ее Величество, которая соизволила прокатиться на лыжах под Мытищами, звучала вполне актуально и поднимала лыжницу в ее собственных глазах. Правда, когда очередной запылившийся и случайно подаренный месяцеслов вытаскивался из-под пачки газет, вся стопа могла рухнуть и обрушиться на изготовителя, и приходилось из-под нее выкарабкиваться, чихая от пыли, а потом разбирать и укладывать газеты в стопку заново. В процессе этого укладывания отыскивалось еще чего-нибудь подходящее для другого четверга про инкарнацию и четвергазм, и поэтому хаос оправдывался. Адресат появлялся на очередном четверге, закручивался разговор, в котором неизбежно крутились слова открытки, за ними тянулись другие слова, и слова уходили, но некоторые все-таки оставались, из тысячи одно. И слово это становилось сакраментальным, оно звучало в разговоре как пароль, и все четверганисты во главе с Четверганом напоминали масонов, вокруг которых свистела пурга и милицейские свистки, и когда Нина, хозяйка дома, подавала чай, и кто-нибудь из случайных гостей четверга просил кипятку, Четверган вскидывался: «Так Вы не чай пьете? У Вас, значит, есть понятие заварки? Скажите, а молоко Вы тоже кипятком разбавляете?» И все четверганисты одобрительно переглядывались и неодобрительно косились. От слов ничего не требовалось. От слов требовалось только одно — чтобы они помогли продолжению разговора. От слов не требовалось дела. В деле были заинтересованы люди в

кителях безопасности за окнами четверга. Но на четверге каждый был заинтересован лишь в продолжении разговора. Единственное, что было невдомек Четвергану: весь разговор начинался им и заканчивался на нем, и когда он уехал, остался не разговор, а пьяные крики на поминках.

Он подъехал на колесиках к куче конвертов, бумажек, почтовых открыток и газетных вырезок и стал ворошить эту кучу прутиком, как старьевщики на помойках ворошат железным крючком. Мелькали пустые конверты от писем, которые не выбрасывались, чтобы на всякий случай иметь еще один раз выписанный адрес отправителя. На некоторых из этих пустых конвертов стояла красная наклейка «нарочным: экспресс», и в них не было ничего срочного, на других сияло просто «авиа», каждый предпочитал свои марки: одни все время выклеивали в правом углу сибирского песка, вывернувшего свою голову и завернувшего хвост к адресу; другие эксплуатировали «Возвращение блудного сына», но на всех конвертах неизбежно была марка с космической станцией, где крупными буквами было написано: «Космос — сельскому хозяйству», или: «Космос — БАМу». Что такое БАМ, он долго не мог понять, но понятно было только одно: от них не скроешься даже на Марсе. Поворошив эту кучу, он вытянул машинописный листок. Машинка Тамаева, со сбитой буквой «я»: она всегда скакала то выше строчки, то ниже, и догадаться о ней можно было по хвостик у слева, единственное, что от нее оставалось. И еще «р» западало, как будто машинка картавила:

«Идея: у Сталина, как известно, было шесть пальцев, а у Гитлера было одно яйцо. Или у Гитлера было два сросшихся пальца, а у Сталина два сросшихся яйца? Об этом мне рассказывал в детстве мой дедушка. Уточнить. Проверить в библиотеке. Авторские права сохраняются за Тамаевым». Дальше шло с не меньшей эйзенштейновской афористичностью: «Идея: может ли существовать человек вообще без яиц? Выяснить: что у него происходит с половыми отправлениями? С психикой? Аналогично про шестипальность. Справиться в библиотеке. Ключевая идея: человек с душой Сталина и Гитлера — на одну ночь в него вселяется Сталин, а на другую ночь — Гитлер. Все права сохраняются за Тамаевым. Тамаев».

Ни к чему тут шесть пальцев и проблема однойпальцевости. Это надо поскорее забыть и засунуть тамаевскую бумажку куда подальше, под кучу в углу. Но сколько ни засовывай, все, что ни попалося на глаза,

торчит в голове и вертится, и закручивает мозги. Можно было, конечно, все это расслоить. Четверган ведь лучший в мире специалист по расслоению бумаги: он может взять газетный обрывок и расслоить его на четыре слоя. Надо только аккуратно начать от угла, ногтями больших пальцев расщепить уголок, а потом осторожно отделять один слой, оттягивая в сторону другой. И тогда, если наклеить этот просвечивающий слой на другие слова, то слова из-под низу начинали проглядывать сквозь верхний слой, утонченный, щека Лейлы здесь, шесть пальцев Сталина там, то есть важно не это, он имел в виду другое, но что он имел в виду? Кому послать? Он искал слова, которые каждый из оставшихся примет на свой счет, примет, поймет, и придет и спасет, но чтобы обнаружить эти слова, надо было перерыть всю эту кучу, организованную котом, и когда попадалась одна страница, она тянула за собой другую, совсем не ту, которая следует, и он все время боялся пропустить самые важные письма, ему казалось, что где-то в другом углу есть то, что как раз сейчас надо было вытащить на свет, но этот листок как раз и не находился, и он наборматывал неточные слова. А когда этот мечтаемый конверт обнаруживался, выяснялось, что там все про Сталина и Гитлера, и ему только казалось, что там про шарманку и разлуку. Значит, надо Ее Величество Сталина в вожаденном здравии перевернуть, перечертчить, перелопатить, перекроить в щеку Лейлы, которая курит кальян. Расслоить, расщепить, расклеить, прикрепить, приспособить, прочесть и выбросить на помойку, в космос, засунуть в бутылку и выбросить в Твердиземное море. Такой палимпсест.

Эпистолярный Вавилон. Тамаевские ассоциации: он в себе видит Авраама, в Москве — Ур Халдейский. Авраам перевернулся в могиле, поворочался, пожевал скептически губами, но ничего не сказал. С вавилонскими кучами всегда жди неожиданностей. Это — как с собиранием почтовых марок. Вот раньше скромный филателист знал, что хоть и существует четыре миллиарда марок, или сколько там, но если он покупал альбом, где вместо марок их картинки, то хоть там и четыре миллиарда, но если день за днем покупать марку и наклеивать ее на соответствующую картинку, то хоть и понятно, что жизни не хватит, но зато и было понятно, на что ее не хватит. А сейчас откуда ни возьмись появляются независимые государства, и у каждого главпочтамт и центральный телеграф, и уже при взгляде на толстый филателистический альбом нет никакой надежды, потому что отку-

да ни возмись, появится еще одна неведомая серия. Вот с Византией не так. С ней такого не случается. Если ты рожден ученым-византологом, ты запираешься у себя в комнате на десять лет, очки на лбу, из-под брюк торчат кальсоны, лоб в морщинах, с девчонками по киношкам и кафушкам не шляешься, над тобой хихикают, но ты грызешь Византию, и через десять лет она у тебя вся в зубах целиком и без остатка, и ты ею можешь оплевывать советскую власть, рассуждая как бы о Византии, а на самом деле, на самом деле о России, и никто за эти слова не заведет на тебя дел. Вот с самой Россией не так. Ее аршином не измерить. С Византией уже ничего случиться не может. Она уже все давно про себя поняла. Она уже никогда ни к кому не придет. А вот если б вдруг обнаружилось письмо Его Величества русского царя к Его Шляхетству королю польскому пану, и в этом письме русский монарх намекает, что есть у него при дворе преданные люди — патриоты отечества и государя, готовые пойти на плаху, и при их энтузиазме я, мол, организую подпольную ассоциацию, предполагаемое название, к примеру, «Союз благоденствия», я их за это казню, или не казню, там поглядим, они на все готовые, и я с ними организую восстание в декабре, и это будет хорошим предлогом для разрешения нашего с вами, уважаемый пан-монарх, польского вопроса. Вот если б такое, к примеру, письмо одного монарха к другому монарху обнаружилось, это полностью перевернуло бы наши представления о побудительных причинах восстания декабристов, и вообще кто кого разбудил. А вот с Византией такого произойти не может. И вовсе не потому, что уже слишком давно в прошедшем времени. А потому что она лежит в своей византийской гробнице, и хмурые университетские монахи курят над ней свои кальяны и фимиамы. А Россия — она как Ассиро-Вавилония, вся рассыпана на письма и глиняные таблички, и всегда про них слушаешь с опаской: вдруг еще один глиняный документ откопали, и в связи с этим изменяется наша точка зрения на всемирный потоп. Появляется какой-то Гильгамеш. Мы о нем раньше не слышали, и вдруг какой-то Гильгамеш. Не всегда, правда. Эти ассириологи копаются, копаются в глиняных табличках, расшифровывают, а потом выясняется, что это счет за обед, который Ассаргадон послал Навуходоносору. Как с языком хеттов: они расшифровывали, расшифровывали, а потом наконец прочли: «Вперед к победе рабовладельческого строя!» Из Вавилона старец вещий с другими старцами

предстал. Но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал. Для этого нужен розетский камень. Где найти розетский камень для всей этой кучи? Куда его занесло? Куда его заносит по такому неподвижному воздуху шестнадцатого числа весеннего месяца нисана пять тысяч семьсот тридцать восьмого года? Куда его несет в кресле на колесиках мимо народов и государств? Ведь дорога кончилась. Дальше ехать некуда. Но когда его тело приземлилось здесь, его голова стала двигаться в обратном направлении.

Он снова подъехал к куче вавилонских табличек и, поворошив ее рукой, вытянул еще что-то. Неужели кот все это читал? Он поднял листочек к глазам. Это был клочок из местной газеты по-русски. Газета «Наша странна». Они, наверное, имели в виду НАШУ СТРАНУ, но наборщики почему-то были уверены в обратном и каждый раз набирали два «н» и получалось, что «наша», к примеру, Маша, несколько «странна», странновата. И поэтому на последней странице газеты всегда было подписано: «В заголовке газеты по вине редакции произошла опечатка: вместо НАША СТРАННА читай: НАША СТРАНА». Вырванная заметка была исповедью Юрия Гагарина. Конечно, фальшивка. Но газетный шрифт ничем не отличался от газеты «Правда», и содержание, мистическое по духу, и правдистское по форме, вызывало странное косящее ощущение:

«Во время последнего космического полета перед глазами Юрия Гагарина на экране наблюдения появилось светящееся лицо, покрытое эластичной пленкой, у щек эта пленка сжималась в складки, напоминающие жабры, а сзади распускалась в ангелоподобные крылья. Лицо погрозило Юрию Гагаринову пальцем и сказала, не разжимая губ: «Предупредителем отпускаю тебя. Предупреди людей, иначе возьму тебя от них. Скажи им, что еще много у вас дел на планете. Опять забылись вы, а сколько страдали». И сразу по радио голос с командного пункта: «Почему прекратили радиосигналы? Перехожу на прием». Гагарину пришлось оправдываться: микрофон испортился. А что ему было делать, партийному? Сказать правду, к полетам не допустят: он же коммунист и атеист. И он умолчал, когда вернулся на родную планету. И год спустя, когда он мчался на машине, на скорости сто километров, появилось все то же светящееся лицо с жабрами и крыльями, погрозило пальцем и сказала: «Не предупредил ты людей». И дальше он ничего не помнил, а очнулся в больнице».



«Аааа! уп! Аааа! уп! аааауп! уп!» До Четвергана дошло, что кто-то кричит. И кричит уже давно. Так может кричать осел. Так может кричать обезьяна, посаженная в клетку, соседнюю со своими детенышами. Так может кричать ребенок, если он захлебывается соской. Так может кричать святой мученик, когда ему вырезают язык. Так может кричать всякий, кому больше нечего сказать. Так кричит онемевшее существо, так кричит немой. Но в этом крике протяжное, слезное, взывающее, немощствующее «ааа» заканчивалось хлюпающим, телесным, с накопившейся от крика слюной, придыхательным «уп!», как сытая отрыжка. И поэтому в крике этом было что-то бесчинствующее. Крик был хриплый и надрывный. И непонятно, когда он начался, и непонятно, когда он должен закончиться. Четверган отложил обрывок газеты «Маша странна», простите, «Наша страна», и прислушался, медленно, как антенна, поворачиваясь на своем кресле. Спиралевидное завывание мусульманской молитвы шло, конечно, из окна, с холма напротив. С другой стороны, от входной двери слышались тоже гортанные крики и стук. Вместе с диким завыванием «ааауп!», повторявшимся через равные промежутки, они создавали иступленную, хорошо рассчитанную какофонию. Может быть, там, на лестничной площадке кого-нибудь убивают? Дом был заселен людьми с темными лицами, их переселили в этот новоотстроенный дом из бараков по соседству, а в этих бараках они жили по три поколения, не меньше. Так и не выучив языка той страны, в которую попали, они продолжали говорить на том языке, от которого бежали, и еще на том семейном жаргоне, который был непонятен ни на том языке, ни на этом, ни тут, ни там. Сомнительно, вылезали ли они хотя бы раз на соседнюю улицу? Общались они друг с другом на лестничной площадке. С утра мужчины куда-то исчезали, а женщины постепенно появлялись одна за другой и начинали выколачивать половики, перекрикиваясь друг с другом. Стук продолжался, казалось, целые сутки. Можно подумать, что половики придуманы только для того, чтобы их выбивать, чтобы создавать пыль, которая будет впитываться в половики, чтобы потом их можно было снова выбивать палкой. Если это требует таких нечеловеческих усилий и грохота, зачем вообще держать в доме половики? В Москве их надо было вытаскивать зимой на снег, растирать снег обувной щеткой, потом вывешивать поло-

вик на веревку между двух столбов и колотить палкой, совершенно точно зная, что через неделю он станет таким же пыльным. И цель этого выбивания палкой состоит во вбивании в голову детям мысли, что половики нужно выбивать палкой. Или точнее, приучать к мысли, что родители их приучают к мысли. Или мужья жен. Или дети внуков. Дяди племянников. И приводит это к тому, что в конечном счете человек жил в Москве, а оказался на улице Таити. Сопровождая все это жуткими криками. Соседки на лестнице находились на расстоянии нескольких метров друг от друга, но кричали так, как будто стояли по разные стороны железного занавеса. Может, потому что их предки родились в пустыне, но даже при встрече эти женщины кричали друг другу в лицо так, как будто каждая подозревала, что другая глуха на оба уха. А может, потому, что у каждого в этом доме осталось подозрение, что другой не понимает того языка, на котором к нему обращаются, потому что прибыл из другой страны; и как всякий простой человек, разговаривая с иностранцем, начинал кричать: ему казалось, что если кричать, то слова понятнее станут. «Аааа-уп!ааа!уп!» продолжал надрываться немощствующий звук. Четвергану показалось, что в дверь постучали.

Он оттолкнулся ногами и из третьей комнаты покатил на колесиках к входной двери, и прислушался. Нельзя тут понять, по половикам стучат, в дверь или в твоё сердце, сдвинутое на колеса. Может, стук на лестнице он принял за стук в дверь. Может, случайно налетевшее на дверь существо в темноте лестничной площадки отозвалось у него стуком в сердце? Пепел рабочего класса стучится в наши сердца, или это она костяшками пальцев колотится в дверь? Ведь если она действительно придет, за этим грохотом он не различит ее осторожного стука. «Ну, заходите, пожалуйста, что ж на пороге стоять?» скажет он в темноту лестничной площадки, распахнув дверь, и из темноты прозвучит гортанный голос тамаевской уборщицы: «Половики не пора выколачивать?» Четверган, как посторонний этой квартире человек, подъехал тихонько к дверному глазку, и загораживая ладонью свет в комнате, чтобы нельзя было различить его лица, если глядеть в глазок с другой стороны двери, не смог различить там ничего, кроме смутных палочных взмахов. На лестнице была обычная полутьма. Вся эта домовая семейка считала лестницу нейтральной территорией, и если появлялась лампочка в подъезде, ее моментально вывертывали: поскольку лампочка становилась неопознанным предметом, ничьим, и ее, следовательно, надо было присвоить себе. Чего он

помешался на этой лампочке? Она у него, как ленинская электрификация, светится родимым пятном советской власти, и он никак не может правильно сощурить свои близорукые глаза. Значит, не нужен им свет. Им нужно стучать, чтобы их слышали. Может, они не просто живут в одном доме, может, они дети одних и тех же родителей, может, они все одна семья, а весь посторонний мир другая семья, но из другого дома, на другой стороне улицы. И заметив, что он поселился в их доме, они своим стуком приглашают его присоединиться к этому небесному стуку, а он не хочет в одной семье и вот хитро подглядывает в глазок, поглядит и сейчас уедет к себе в третью комнату, так ничего и не разглядев, а они специально, чтобы его приобщить, вывернули лампочку в подъезде. А если весь дом одна большая семья, все время стук не по адресу, а поблизости. «Ааааупааауп!ааа!» Вот когда-нибудь ты так же закричишь и застучишь, и забьешься.

Четверган снова въехал в третью комнату, объехал разорванные котом газеты, кучи писем и бумаг, перевернутую пепельницу, подъехал к окну и с почти закрытыми глазами потянул на себя веревку жалюзи. Сейчас он откроет окно в Европу. Жалюзи поднялись со скрежетом танковых гусениц: свежего порыва ветра, ожидаемого по московской привычке, когда открываешь окно, не последовало. Пейзаж сиял желтизной, как запыленная глянцевая открытка, выцветшая на солнце. Окно выходило не на улицу Таити, которая начиналась и кончалась сама на себе (потому что огибала возвышенность кольцом), а на холм, курившийся в воздухе желтоватым облаком с белеющим мертвым пальцем мусульманской мечети, который, как мухам, был обсажен слепыми нашлапками арабской деревни. С холма доносились голоса, в которых ничего, кроме них самих, не было, но, звучащие издалека, они заставляли себя подозревать и отгадывать, как будто звучали из дальней летней кухни на даче, где говорят про хозяев, позвякивая посудой и ножами. Была середина дня, и с мечети завывал невидимый голос. Звук поднимался спиралевидно, как смерч, и обрывался так же неожиданно, как начинался. Никогда нельзя было понять: он начинается или заканчивается, и когда возникала пауза, и хотелось вздохнуть освобожденно, звук снова начинал взвинчиваться вверх, чтобы снова оборваться, когда сердце уже не выдерживало напряжения. И в этих разрывающих легкие паузах раздавалось бесчинствующее и немотствующее «ааа!уп!»

Четверган высунулся в окно и отыскал, наконец, глазами источник звука. Под окном, на выжженном склоне лысого холма стоял кургузый человек и истошно кричал через равные промежутки. Его лицо, задранное вверх, было кругло и натянуто на кости, как надутый полиэтиленовый мешок, и когда раскрывался беззубый рот, оно стягивалось к шее, выпячивая губы, от глаз оставались одни щелки, и надутый лоб сморщивался и покрывался струйками пота. Потом лицо снова надувалось и краснело, и на выбритой голове с приклеенными на висках косичками, на круглой мозоли выбритой макушки, как черная дыра, вырисовывалась черная шапочка-ермолка. Когда человек снова задира л голову, чтобы издать этот горловой звук отчаяния и одиночества, ермолка, казалось, сейчас взлетит, как летающая тарелка. Сверху была видна только эта задрывшаяся голова, приставленная к животу, ног не было видно, их, казалось, не было, но Четверган вспомнил и это раздувшееся лицо, и живот, и пропотевшую, приклеенную к макушке ермолку. Это был нищий, профессионал, профессиональный слепой нищий, с гремющей жестянкой в одной руке и с инвалидной палкой, с которой был снят резиновый наконечник-пробка, чтобы слепому был слышен стук собственной палки о препятствие. Он проживал в том же доме. У главпочтамта, где он стоял по утрам, он выглядел совсем по-другому. Он был огромен, и голову задира л вверх, выставляя тяжелый подбородок, и сощуренные складки слепых глаз поворачивались из стороны в сторону. Палка его висела на тяжелом военном истрепанном ремне, и обеими руками он сжимал жестяную банку, гремя мелочью. Заслышав шаги очередного прохожего, он сначала склонял слепую круглую голову набок, вслушиваясь в направление шагов, и косичка с виска свисала перпендикулярно в воздухе, но не падала черная нашлапка головы, а только превращалась в огромный следящий, еще один, третий циклопический глаз. Как только шаги приближались, он выхватывал из-за ремня палку и устремлялся навстречу прохожему. Тот морщился и, покопавшись в карманах, кидал в жестянку монетку. Нищий сразу отступал на старую позицию и снова застывал с неестественно задранной головой. Может, он еще и немой? Немые умеют кричать. Детский страх перед инвалидами, перед безногими, кривыми, слепыми, немыми заставлял Четвергана всегда обходить его, когда он сталкивался с ним в подъезде, на пути к Тамаеву. Немые умеют кричать, слепые умеют различать препятствие: в этом явном отсутствии необходимого, в отсутствии глаз, рук, языка, скрыта нечеловеческая сила: это

отсутствие восполняется сверхъестественным тайным умением, наличием небесной сноровки: убийственной, если затронуть его видимое бессилие, и исцеляющей, если боготворить этот врожденный изъян. Чего и не хватает Четвергану: явных недостатков, того самого ужасного несчастья, которое напряжением воли превращается на собственном пике в жуткую силу, способную двигать письмами на расстоянии. Чего стоит его искривленная спина? Ему не хватает той обреченности и веры в чудо, которые заставляли юродивых калечить самих себя, чтобы через необходимое отсутствие обрести полноту присутствия. Как этот слепой нищий двигался к автобусу, быстро и уверенно постукивая палкой по кромке тротуара, и все уступали дорогу, и дверца автобуса раскрывалась, и автобус ждал, и только когда он входил в автобус, и все вскакивали с передних мест, уступая ему сиденье, легкая ироническая самодовольная улыбка силы искажала его беззубый рот, и все смущенно отворачивались, потому что не знали значения этой улыбки. И тогда слышался рог. И тогда рог пел. Теперь он стоял обожженный солнцем на фоне этой пыльной открытки с мечетью на горизонте, как будто вырезанный из этой почтовой открытки, и кричал безумным криком «Аааауп!», и рука его по привычке трясла жестянку, в которой гремела мелочь. «Аааауп!» В этом звуке послышалось не только злое и отчаянное, он заметил переход в одинокое и печальное «ауу», оно мелькнуло, это лесное «ау», голосом заплутавшегося ребенка, понимающего, что где-то рядом взрослые весело собирают грибы, и должен же кто-то из них откликнуться.

Но Четверган не понимал, кого зовет слепой нищий. Он сам дождался, что на его крик кто-нибудь откликнется, он на это тайно рассчитывал. Он глядел из окна на мутную почтовую открытку за окном глазами, уставшими от кучи писем на полу комнаты, и впервые за время своего пребывания здесь испугался: безнадежное место. И это очевидно в первый же миг, как только глянешь глазами, измученными от нелепых преувеличений природы, от постоянного внимания всей молчащей тишины плешивых холмов, брошенных навсегда позади. От людей, которые молча кричат страшными нутряными голосами: их лица и глаза утомляют, изматывают, их спины нагоняют тоску. Их непомерная и всегда пугливая гордыня похожа на струйку ртути в палочке термометра: растет от тепла и указывает на болезнь. И что это в горле всегда першит? Чахотка? Сухотка? Или вечный насморк, револьверное подергивание мокрым носом и гну-

свое утешение под влиянием гайморита. Он глядел сверху вниз. Он глядел сверху вниз из окна на кричащего нутряным голосом слепого человека. «Аааа!уп!ааа!уп!» Сначала грустные проводы, похожие на веселые похороны, потом самолеты и объятия, непонятные, как всякие объятия, своим прощальным или встречательным смыслом, потом забудешь и первый праздник, и позднюю утрату, и из вечного пассажира, пролетающего над народами и государствами, ты превратишься на этой улице, в этом доме, в этом городе, на этом земном шаре, в этой метagalактике в этого слепого человека с похоронной шапочкой на макушке и с душой, набитой старыми конвертами, и ты завопишь таким же страшным нутряным голосом. Может, и есть на небе такое окошко, откуда выглянет на твой дикий вопль облысевшее существо, которое читает все письма на свете? Высунет обвисший, уставший от любопытства нос, поглядит, пустит слезу и закроет окошко, вернувшись к всемирной переписке в свой главпочтамт, в свой черный кабинет, где все на свете цензурятся письма, потому что интереснее, конечно, получать и читать письма, а не вслушиваться в крики благим матом всех опупевших младенцев, которые кричат только потому, что ты живешь, и это смертный грех, потому что нечего было появляться на этот свет. Если есть силы писать письма, значит еще ничего, значит еще не все кончено, а когда уже нет слов, а больно? Когда уже так плохо, что только взять, да и выть в календарь. Человек кричит, чтобы кто-нибудь услышал, он начинает кричать бессловесным криком, чтобы каждый услышавший знал, что ему плохо. Он начинает кричать, он начинает выбивать половики, он начинает бить посуду, он начинает кричать «ааааааауууууааа!» Он начинает так кричать, когда понимает, что вокруг все снизу доверху говорят на иностранном языке. Он знает, что по-другому ему никак не объявить о том, что ему больно. У Четвергана вдруг задрожали губы, и знакомое с детства желание выпрыгнуть из окна закопошилось под ложечкой и отозвалось сразу легкой тошнотой, головокружением и стуком в висках.

«Аааауп!ааа!уп!» вдруг вырвалось у него из горла, и лоб покрылся капельками пота. Он до крови закусил губу, и зажатый зубами крик сначала перешел в немое мычание, его затрясло, он закрыл лицо руками и стал заборматывать, заговаривать рыдание бессмысленным лепетом: «Это ничего. Это сейчас высохнет. Тут все быстро сохнет. Надо подумать, и сразу высохнет. И ножниц не

надо. Только клей и еще иголка с нитками. Кто мне пуговицу пришьет? Кто мне лампочку купит? Не нужно шоколадных конфет, чай лучше всего пить с дешевым мармеладом. Я обойдусь. Я пойду другим путем. Я буду иметь вас в виду. Значит, это мне пора уходить. Я бросил всех, кем был богат. Надо только на правильное место положить». Глаза стали высыхать.

«Ну чего орешь? Ну чего орешь? Все пропил?» женский гортанный охрипший голос кричал как будто ему. Он отнял руку от лица и понял, что кричат из окна сверху, и слепой внизу замолк и, склонив голову, как будто слушал. Значит, все-таки, слышит? «Все пропил, паразит, всю милостыню? Не пушу тебя домой. Чему детей учишь, паразит? Пьянству? Так и будешь всю ночь стоять. Чего орешь, морда слепая, покой нарушаешь?» кричал визгливый голос жены нищего.

\* \* \*

Четверган дернул за канатик жалюзи, и они с грохотом опустились, оставив щелочки света, разрезающие комнату и эпистолярный хаос на полу и по углам на ножевые полоски. Разрезать, а потом снова склеить, но ведь все будет по-другому, это будет другая точка зрения, другая линия продолжения, и уже никогда не вернешься к тому взгляду, которым смотрел до того, как появился новый хаос, и понадобился новый взгляд на то, чего не было, но померещилось как спасительное окончание прошлого, которое не прошло. Он снова вытягивал из кучи листочков — наугад, надеясь найти ответ на вопрос, который он не мог задать себе даже про себя.

«как будто никуда не уезжал. Добравшись до центра, заглянула в «Москву» к кофейной машине, что продолжаю делать каждый четверг: гляжу на знакомую очередь в кассу, выхожу, даже не выпив кофе, просто с какой-то тайной надеждой, что увижу тебя, ждущего на ступеньках перед Манежной площадью. Так вот: могу тебе сообщить, что тамошняя кофейная машина часто стала отказывать, тогда они включают вторую, которую поставили после твоего отъезда, но кофе из нее хуже, а работать на ней местному персоналу труднее, и они стали давать кофе после обеда, что особенно неудобно в четверг, когда у меня свободный день в химической лаборатории. Всем приходится искать новые места, а они, конечно, всегда хуже прежних, как и мы сами. А в кафе «Марс» — напротив — до сих пор дают кофе с цикорием,

тошнит от него. Я пишу снова ерунду, но ты же просил присылать всякую словесную дребедень, вот я и стараюсь. Только откуда у тебя такое впечатление, что я все время с заплаканными глазами? Я вовсе не плачу, и вообще: или ты, или твои друзья заинтересованы закрутить из того, что мы расстались, какую-то эпистолярную трагедию, и стали появляться в моей квартире по четвергам, как на поминки по тебе. Не ты ли им написал, чтобы они меня опекали? Я не нуждалась в опеке ни до моего знакомства с тобой, ни после твоего отъезда. Я кошка, которая гуляет сама по себе, и если заботилась о тебе семь лет, то исключительно по собственным соображениям.

Я выбралась, наконец, в город, потому что надо переезжать на дачу, а старая газовая плитка испортилась, и я решила купить новую, с большими баллонами, чтобы не тащиться каждую неделю в Пушкино, а заказывать сразу на месяц большой баллон. Вот если бы ты не уехал в прошлом году, у тебя бы на моей даче не было бы этой проблемы. Ну, ладно, не буду соблазнять на расстоянии, а то эти удары кастрюлей по голове все равно раздаются через месяц, когда письмо придет, и актуальность их как-то пропадает. До метро я решила пройти окольным путем, через Сокольники, по нашему обычному маршруту: озеро, зоопарковое отделение с верблюдом и овцами, опустевшие японские карусели. Везде пусто, потому что сезон еще не открылся, и как назло пиво на каждом углу и, конечно, без очереди. После твоего отъезда произошла удивительная история с пивом. Сначала убрали все ларьки и, казалось бы, все ужасно. Но, с другой стороны, куда бы ни приехали, а за этот патологический месяц где мы только не были, так вот даже в лесу густом выходишь на полянку, и вдруг откуда ни возьмись — пиво. Недавно мы взяли за город сухое вино, так как поехали далеко, вышли на берег озера и видим: стоит грузовик, и с него пивом торгуют. Я уже не говорю про более цивилизованные места, типа парка Сокольники. Правда, везде только в бутылках. И я уже с какой-то безнадежной тоской смотрела на полуголые деревья и чистое солнце и поняла, что надо как-то перестроиться: разлюбить пиво, например, которое мы пили вдвоем, в общем, надо передвинуть мебель в моей квартире.

Тебя на ступеньках нет, и я снова заглядываю в кофейное заведение, а вдруг ты стоишь в очереди, или



уже получаешь кофе? И все стоят и ждут твоих указаний: и Миша Айзенберг, и Павел Улитин, и Лена Шумилова, и Саша Асаркан, и Глузберг, и Витя Иоэльс, и даже Леня Иоффе, в сторонке — подозрительный, но довольный. И ты суетишься: «А, привет, вот хорошо, я уже подхожу, а Виктор обязательно опоздает, кроме того он собирается зайти в магазин «Рыба», и поэтому я должен быстро прикончить кофе до его прихода, чтобы не вдыхать запах его рыбы. Я уже все выбил, ты вставай в очередь за кофе, а я встану в тот отдел за запеканкой, потому что творог лучшая приправа для кофе. На Павла нечего тратить запеканку, потому что он питается нашими словами, ну а ты, Миша, давай пей кофе, пока Нинка стоит в очереди, а то остынет, а я не люблю холодный, поэтому буду пить тот, который Лена возьмет для Виктора. А этот кофе не пей, это мой. Он ничем от других не отличается, но эту чашку я заметил из-за пенки. А кто взял мою маленькую чайную ложку? Ага, Виктора нет, тогда булку с маком съем я, запеканку ты возьмешь с собой, а кофе пусть Глузберг пьет». Потом мы выкатываемся на солнышко или на мороз и солнышко и идем по Пушкинской улице, и ты говоришь, что тебе нужен клей, батончики и лампочка, потому что сейчас на улице рано темнеет, и мы покупаем тебе сразу три лампочки. Но в кафетерии никого нет.

И никто меня на самом деле не любит, а если звонят, то только узнать, что про тебя слышно, да и то не часто: потому что ничего не остановилось, но есть куча другой жизни, в которой все завязают, а ты постепенно удаляешься и становишься призрачной фигурой. После твоего отъезда всем хотелось бежать за тобой, но прошла неделя, другая, и взлет прошел, и постепенно этот самоубийственный порыв исчез совсем и возобновляется только по привычке и при большом количестве водки, когда от тоста за тебя уклониться невозможно. Но в том виде, как это было при тебе, этой атмосферы совсем не стало. Ты как бы постоянно поддерживал энтузиазм. А сейчас стало ясно, что ни для кого лично этой проблемы не существует, и те 40000 точек зрения на отъезд, как они исчезли для тебя, исчезли и здесь, потому что никто никуда не собирается и не собирался, хотя, может быть, в этом не все пока признаются. Такое ощущение, что дело было в тебе, только потому, что было интересно следить за твоими шагами и закручиваться твоим самоубийством, а теперь, плохо ли, хорошо ли, но такой грустный выпивон будет про-

должаться бесконечно. И я иногда просто в каком-то недоумении: ну почему, они все здесь и будут всегда, а тебя нет и никогда не будет, это просто абсурд».

\* \* \*

Песчаная туча повисла над городом, и поэтому такой неподвижный воздух. Раздается негромкий звук, и человек исчезает, остается мусор, который он кидает в окно всю свою жизнь. А под окном шел прохожий и поскользнулся на косточке, и упал, и проломил себе череп. Погонщик верблюдов на дальние расстояния уселся под оливой передохнуть, стал жевать маслины, потом бросил горсть косточек через левое плечо, и тут же за спиной появился джин и сказал: ты должен умереть! но почему? потому что когда ты бросил горсть косточек через левое плечо, они пробили насквозь сердце моего невидимого сына. Осталось только отыскать жертву для этой вины. Он всегда был готов однажды зимней ранью бросить всех, кем был богат. Да и что у него было? Чайник без крышки, без дна, только ручка одна. Из чистого белья два фунта тряпья. Покрывало без одеяла, двух подушек вовсе не бывало. Единственное, что его интересовало: новый клей. Чтобы клеить открытки. И в связи с этим — открытия: «Я обнаружил на углу в канцелярских товарах новый клей, «суперцемент» называется, и он держит проклейку лучше, чем советская власть академика Сахарова, и не нуждается, в отличие от нее, ни в каком прессе типа «Капитала» для просушки, а сразу схватывает». И ему покупали клей. Ему казалось, что все это будет длиться вечно. Что все это — промежуток. Что можно и жизнь, и друзей проиграть в пух и прах, и снова начать все воссоздавать с основ. Ему казалось, что он случайно оказывается каждый четверг у кофейной машины в собственном окружении, и что на самом деле он заглянул сюда по дороге в вечность. Вот выпьет кофе, сообщит то да се и побежит дальше. А потом выяснилось, что это и была жизнь.

И теперь ему казалось, что ничего, собственно, всю жизнь не происходило, кроме хождения под разговоры от одной кофейной машины к другой. От кафетерия гостиницы «Москва» до кофеварки в кафе «Марс», и наоборот, в зависимости от того, где какая кофейная машина закрыта на ремонт. Ах, эти головокружительные

прогулки по Пушкинской улице туда и обратно, когда дойдя до конца выяснялось, что всем, и в первую очередь Четвергану, надо идти обратно. Он тогда был на взлете и блистал с кафедры фольклора про Фому и Ерему, остроумно прохаживаясь по поводу последних событий в политбюро цитатой из Фомы и Еремы, где запись писали кот да кошка, в серую субботу, в соловый четверток. Что такое «соловый четверток»? Пока я зубрил гортанные и придыхательные наречия, он на ходу, окруженный восхищенными взглядами учеников и приятелей, рассуждал о качестве желтого чая и зеленого кофе. Иногда он влетал к кофейной машине и, в ходе распоряжений по заказыванию кофе и булочек с маком, сообщал сенсационную новость: «Важная новость: я не ошпариваю чайник, а высушиваю его и сильно нагреваю. Некоторые из присутствующих не сумели уловить более сложный момент этого процесса, а все дело в том, чтобы поворачивать чайник верхом, низом и боками, а рук при этом не обжигать». И все, выслушав, глубоко-мысленно кивали головами и шептали друг другу: «Да-а, а ведь действительно, а?» И пораженные этой простой и гениальной мыслью, склонялись над кофейными чашками, дуя на кофе сложенными в трубочку губами. И потом, возбужденные этим новым соображением, выкатывались на мягкий снежок Пушкинской улицы, и вот снова шли. У меня всегда было впечатление, что ему вообще неважно, к кому он обращается, и когда он в своем пиджаке в январский холод шагал, помахивая сигаретой, непонятно было, означает ли поворот головы к собеседнику обращение к нему, или же Четверган для удобства собственного косоглазия склоняет голову в направлении будущей перспективы батончиков к чаю или томатного сока в магазине «Соки-воды». Когда он шел, так вот бормоча и кидаясь афоризмами, казалось, что он сам следует за кем-то невидимым, кто не хочет к нему обернуться, что он передразнивает кого-то, кого не видит вся остальная шеренга, пристроившаяся к нему. Такое было впечатление, что шеренга шутников исподтишка копирует походку невидимого прохожего. И с этим великим пародистом вся шеренга связана гораздо сильнее, чем с самим невидимым прохожим, которого передразнивают. Но вот главный копиист сделал шаг в сторону, поспешил на кафедру фольклора, и шеренга расстроилась, потому что исчез невидимый прохожий, который существовал, пока существовала спина Четвергана впереди. И распались кружки, раздружились дружки. Потому что история любит

прыжки. И Четверган прыгнул. Маршрут между двумя кафетериями превратился в маршрут между Москвой и Марсом. Кавычки остались в России.

«Потом зашла в гостиницу с другого входа и купила марки, а наклейку нарочным-экспресс наклеют на главпочтамте, в том окошке, где заказные письма. Кстати, доходят ли они быстрее, чем просто «авиа»? А когда я вышла, он на меня и свалился, как хамсин или инкарнация. Было такое теплое солнце, что я продолжала стоять на ступеньках у колонн «Москвы» минут, наверное, сорок, когда он подскочил сзади и закрыл мне глаза. Я, естественно, испугалась, вообще не терплю этой манеры. «Я здесь только потому, что здесь тепло, и мне лень двигаться», сказала я. «Вернулся из командировки, и все меня ужасно раздражает», сказал он. «Потому что я понял, что надо жить легко. Не стремиться, как собака с хорошей аппелистостью, к легкой жизни, но надо жить с легкостью. А тут все мрачные ноющие люди, это невыносимо». Тогда я спросила: «А Четверган?» Он сказал: «Четверган, да, сам он живет правильно, но ведь он не дает жить другим». И тут я ему сообщила: «А ты знаешь, что он уехал?» «В Дагестан?» спросил он. Когда он узнал, куда ты уехал, и наконец до него дошло, что я не шучу, он нахмурил, как всегда, с ложным выражением трагичности свой широкий лоб, потом стал бить кулаком по этому лбу и повторять: «Японский бог! японский бог!» А потом стал меня обнимать и кричать: «Мы с тобой, Ниночка, теперь сироты», что меня, естественно, несколько насторожило, такая активность объединяться в трауре по тебе именно с ним.

Кто меня научил так разговаривать? Конечно ты! Ты меня семь лет этому учил, за исключением тех месяцев, когда ты исчезал в своем Копьевском переулке и не желал никого видеть. И последние полгода вместе с отъездом были самым грандиозным заключительным уроком. Ты всегда считал меня мудрой женщиной, но я никак не могу понять: как ты мог уехать, как ты мог подавать документы на отъезд, как ты мог уезжать, делая вид, что ничего страшного не происходит, как будто ты едешь в Дагестан или в Йошкар-Олу. Да мало ли что может быть завтра, а значит, уезжая, ты не мог не предполагать, что мы можем никогда не увидеться, или, говоря твоими словами, встреча может перенестись в вечность, но ты уехал, а не бросился в постель. Ну, а я была на самом деле в состоянии шока и полного оцепенения, единственная моя забота, и на это уходили все силы, была вести себя в соответствии с тобой, делать вид и улыбаться. И толь-

ко последний поцелуй в аэропорту был жалким самостоятельным шагом. Но потом я поняла, что последняя ночь была правильной, иначе можно было умереть или всю жизнь так и пролежать вдвоем в постели. И понять, что все было правильно, хоть плачь, хоть колотись, я смогла, только научившись сама жить, делая этот проклятый вид вот уже год. Научившись вот так, выжав глаза в подушку, улыбаться, как только раздастся звонок в дверь, и кто-то появляется. И знать, что все это временно, сколько бы эта временность не продолжалась. И когда я уже была готова поверить, что только так и можно, и нужно, ты вдруг начинаешь отсылать слова по поводу моего неприяезда, которые я должна была тебе сказать год назад по поводу твоего отъезда. Мы поменялись местами».

#### 4

Никто на самом деле толком не заметил, когда Нина вошла в жизнь Четвергана. Она вдруг стала появляться в кафетерии гостиницы «Москва», каждый четверг, прилежно пила два двойных с одинарным сахаром и заедала по его указаниям запеканкой и булочкой с маком, хотя, возможно, ей хотелось именно бутерброд. Но скоро все заметили, что свои открытия про клей, чай, ПБ ЦК и даже про юродство на Руси он сообщает именно ей: то есть, трудно было сказать, кому он что сообщает, но все сразу заметили, что, произнося сентенции, он глядит ей в глаза полутороглазым стрельцом. Вначале я не слышал от нее ни одного слова, хотя, может, просто не пришлось, поскольку появлялся я на этих конгрегационных кофепитиях по четвергам лишь по случаю, когда отменялось дежурство в обсерватории. Она помалкивала и жевала булку с маком, а потом двигалась вместе со всеми в направлении Пушкинской площади. Единственное, что я заметил — это ее улыбка. Она правильно улыбалась. То есть, она даже не улыбалась, хотя я один раз заметил, что она закусила губу, чтобы не расхохотаться. Но у нее глаза правильно смеялись. Она вытягивала шею, когда стояла за стойкой, чтобы дотянуться губами до чашки кофе, и не глядела по сторонам, но в самый нужный момент скидывала голову и смеялась такими понимающими глазами, что Четверган переходил с ворчливых бормотаний на еле сдерживаемую улыбку, не ту, при которой угол-

ки губ выдвигаются, как перочинные ножички, а ту скрытую улыбку, которая заставляет распрямлять взгляд и лететь на разговоре, как на велосипеде. И кофе становился лишь поводом, как, впрочем, и клей, и лампочка. И она это сразу поняла. Все четверганисты относились к каждому его слову с сакраментальной утомительной сосредоточенностью. А она вдруг стала улыбаться, и сначала на нее поглядывали с подозрительностью и молчаливым возмущением, а когда поняли, что она единственная, кто поняла, чего они не смогли понять при всей своей преданности четверганизму, было уже поздно. Когда в середине его закрученного монолога про главу раскольников, юродивого Никиту Пустосвята она вдруг оставила на секунду чашку кофе и умелым домашним движением поправила ему завернувшийся воротник пиджака и нелепо торчащую за шеей вешалку, все быстро переглянулись и, вздохнув, стали пить кофе на новых основаниях. А потом вдруг было объявлено, что по вечерам, по четвергам, его можно застать в ее квартире на Преображенке. А когда наступило лето, стало известно, что его можно застать на даче ее родителей, под Новым Иерусалимом. И пошли новые периоды четвергов, периоды преображенские и новоиерусалимские. Сколько погод пролетело, прошло, поменялось. Летом у нее всегда были разбиты, как у мальчишки, коленки, потому что у нее ужасно торчали коленки, и было смешно смотреть на ее высокую теннисную фигуру, когда она терла ушибленное место, поддевчачьи морща нос. Она пыталась наладить его жизнь с молчаливым упорством, как будто заранее зная, что дело обреченное, но надо улыбаться.

Она! Она заботилась о нем так, как будто до этого не было никого на свете и после этого никого не будет. Она даже перешла на полставки в своей лаборатории, где она смешивала с утра до вечера в пробирках некие химические смеси, отчего кончики пальцев у нее были желтоватые, как у него — от курева. И вправду, она была единственной, которая знала, что кроме кофе и чая, под которые можно замораживать голову слушающим глазам, Четвергану еще нужно возвращаться после этого кофе и чая по холодной дороге в неизвестном направлении, и потом, зарывшись с головой под одеяло, погигать под колесами одиноких снов.

В своей трехкомнатной квартире на Преображенке она устроила ему настоящее убежище и приют в третьей комнате, куда он мог приходить, когда захочет и глядеть в окно, как тысячи ворон кружат в небе на за-

кате, над трубами резинового завода. Последние месяцы он проводил за чтением, непременно не по-русски и именно на тех языках, которые хуже всего знал, но в словарь не заглядывал, а отгадывал своей бешеной интуицией значение впервые встреченных слов, и все увеличивавшееся состояние беспомощности как будто забывалось за этой невидимой работой. Он превращался в настоящего полиглота. Она же становилась полиглотом малейших поворотов его мысли. Она через полгода уже чудесным образом знала все его любимые книги, и когда он, рассеянно подняв глаза, говорил без вступления «а все-таки он», она всегда знала, кого он имеет в виду. Она отгадывала по секундам, когда ему становилось голодно, она приносила кофе в турочке в ту самую минуту, когда он уже был готов подняться с кресла, заглянуть к ней в комнату и осторожно поинтересоваться: «А кофейку у нас не осталось?» Она научилась прокалывать чайник перед заваркой, поворачивая его верхом, низом и боками, рук при этом не обжигая. Она научилась жарить колбасу без масла согласно его рецепту — так, что по мере прожаривания кружочки сала выпадали сами по себе, и в конце концов кружочки колбасы напоминали вырванный телефонный диск. Она незаметно пришивала ему оторвавшиеся пуговицы: незаметно, чтобы он не застучал ее за этим занятием и не оторвал бы уже пришитую пуговицу в знак протеста. Она была гением ненавязчивой близости. Когда на него нападал приступ весенней, открыточной горячки, и он удалялся в свою конуру в коммуналке в Копьевском переулке и клеил открытки, она позволяла себе лишь незаметно там появляться и приносить ему еду и питье, извещая о своем приходе осторожным легким снежком в окно. И только после того, как его выгнали с кафедры фольклора, и он пролежал месяц в психиатрической больнице, она начинала беспокоиться всерьез, когда он удалялся в свое логовище.

Скандал произошел тогда, когда ученый совет кафедры фольклора поставил на голосование резкое осуждение работы его учителя о смеховой культуре древней Руси. В этой работе учитель Четвергана неоспоримо доказывал, что в средние века «задница» была амбивалентным понятием, а в двадцатом веке амбивалентной быть перестала. Ученый совет поставил на голосование осуждение работы как буржуазной, искажающей гуманистические искания народной культуры, и в конечном счете направленной на свержение социалистического строя через протаскивание чужеродного смысла в традиционные понятия русского языка. И как

только поднялись руки над головами, которые стали амбивалентными в наш век в отличие от других частей тела, Четверган вскочил со стула, забился в угол, судорога исказила его рот, он тыкал пальцем в президиум ученого совета, и страшный утробный крик стал протяжно вылетать из его разинутого рта: «Ааа!ааа!ааа!» Сначала в зале заседания воцарилось замешательство, но потом секретарь ученого совета позвонил в психиатрическую клинику, и за Четверганом приехала психовозка с санитарями. А когда он вышел из больницы, на стене висел приказ о его увольнении в виду неадекватного отношения к амбивалентным понятиям. Амбивалентный смех очень быстро отзвучал. Кончились лекции Четвергана, где он проводил аллюзивную линию между юродством времен раскола и партийным съездом после смерти Сталина. Он так и не оправился после больницы. Ведь когда он во время заседания ученого совета кафедры вдруг вскочил со своего места и, забившись в угол, нутряным, мужицким голосом, вызывающим краску стыда, стал издавать протяжный бессмысленный крик, не крик, а клик, тыкая двумя пальцами, расставленными рогаткой, в президиум, через полчаса этого бесчинства были вызваны санитары, и они связали его в настоящую смирительную рубашку, потому что он вырывался и царапался и что-то кричал про «немотствующие инвокации». После больницы ему везде мерещились санитары в белых халатах, и, клея открытки у себя в Копьевском, он то и дело поглядывал в окно, побаиваясь всякого случайного автомобильного урчания на улице. Когда с ним действительно случилось несчастье, которое он вначале даже не осознал, она была единственной, кто выполнял всю груду мелких мучительных поручений, без которых в таком состоянии можно погибнуть, как погибают от случайного укола в палец. Пока он был в больнице, она была единственной, кто добивался там свиданий, носил ему сигареты, отправлял неотправленные открытки. И она же принесла ему в больницу черный свитер, когда почувствовала, что он мерзнет в палате. И как ни странно, он этот свитер принял и надел его. Более того, он довез его до Иерусалима, и когда наступила зима, надевал именно его, хотя он давно обтрепался и стал распускаться по краям рукавов и горлышка.

Странное происходило с одеждой, которую ему дарили другие: она куда-то исчезала, и кражи были лишь оправданием. Он, с неохотой напялив на себя новую одежду, в один прекрасный день снова появлялся все в том же



сером пиджаке, как полковник на пенсии в бывшем мундире, и только если трещал мороз, к пиджаку добавлялся намотанный на шею шарф и шапка-ушанка. Обмотки. Все время обмотки, некая первобытная шкура, от которой он не хотел избавиться. Если вокруг мороз и сволочи, то и нам надо натянуть на себя звериную шкуру. А они, четверганисты, хотели с него эту шкуру снять, они хотели, чтобы он сменил собственную шкуру. И он с тихой ненавистью принимал эти попытки, на день-два он вдруг показывался в каком-то сундучном фраке или немислимой дохе, а потом, как будто голый на морозе, как будто босый юродивый на снегу, снова появлялся в том же пиджаке. Если за всем этим не стояла другая идея: вызывать своим видом других на подвиги милосердия. После больницы с ним что-то случилось. Как будто надоело, как будто наговоренные в течение последнего десятилетия слова должны были, по его соображениям, воплотиться в нечто, что поднимется, как воздушный шар, и унесет его прочь от этого места.

В один из тех дней я, помню, позвонил ему из какого-то обледеневшего сада, из телефона-автомата. И вдруг услышал отдышливый и прерывающийся голос. Я уже собрался с духом что-то такое ему сказать, но он, видно почувствовав это, с какой-то злостью спросил: «Так что, многоуважаемый звездочет, не можете ли Вы мне помочь? Мне нужно пятьсот рублей, чтобы выпасть из этого астрологического календаря!» Я стал лихорадочно, но вяло, с вялой лихорадочностью соображать — где бы? Нет, нигде, не у кого. И не занять такую сумму, тем более без отдачи: это же сумма на выездную визу, как иначе понимать? Значит, и его проняло? Но он смягчился и что-то пробормотал про творог и батончики, но не те, а эти, но сегодня почему-то не получится, потому что дыра в штанах. В бормотании послышалось: Нина. И тут я выпалил: «Но, многоуважаемый Четверган, не мог же я звонить тебе только для того, чтобы из этого случайного звонка ты узнавал, где находится твоя Нина? И вообще, почему ты не у нее?» Он не ответил, и молчание было долгим, неоправданно долгим, уже непонятным. Потом как будто хрип в трубке. И я понял, что ему плохо, что там, на другом конце провода, обморок, припадок, инфаркт. Я закричал в трубку: «Тебе плохо? Что с тобой?» Опять бормотание: «Нет. Нет. Да.». Я испугался: «Я приеду сейчас. Приехать мне?» Я вышел из кабинки телефона, и вялое оцепенение сдавило меня, та-

кие ватные движения, так не хочется думать, когда он спросил про Нину, а я с издевкой. Когда я наконец добрался до Пушкинской улицы и, свернув в Копьевский переулок, вошел во двор его дома, в окне света не было, и я испугался: а вдруг его уже увезли на скорой помощи? Но когда, по ритуалу, почти безнадежно бросил слеplенный комочек весеннего снега в его окошко и уже повернулся, вдруг в окне зажглась лампа. И мелькнуло что-то забытое, из дачной жизни: глазок керосинки. Круглая штука на подоконнике оказалась головой в берете. Я давно у него не был. Надо было войти в арку и повернуть налево. И как всегда ожидаешь, что из глухой стены он еще раз тебя окликнет. Но голос из темноты обнаруживался где-то совсем не там, чуть ли не из другого корпуса: совершенно неожиданно, как будто он открыл форточку не сходя с места в десяти метрах от тебя, а потом становилось понятным, что это окно коленчатого коридора, коридорная система. Этот дом, куда он удалялся и запирался всякий раз, обычно весной, когда на него нападал приступ мизантропии и ксенофобии, несколько раз перестраивался, достраивался задними парадными, и в результате вход в одну квартиру лежал через коридоры других, как будто рядом шла невидимая улица. Он провел меня, как всегда на цыпочках, через весь этаж; по крашеным полам, с публичным освещением. «Вешай на вешалку!» Я повесил пальто и, конечно, не на ту вешалку, потому что ту за вешалку не признал. Потом вошел в знакомый одиночный окоп с осыпающимися отвалами. Или же в дачный гамак. Трудно было назвать комнатой эту кабину потерпевшего крушение космонавта. Он сразу залез под ватное одеяло, и лампочка, голая, с резким светом, украденная с киностудии, выхватывала его небритое лицо.

Он заговорил как будто про себя или сквозь сон, или одновременно и потому, и поэтому: «Кроме почек и печени, или чего-то одного, у меня кружится голова, и ноги не держат. Поэтому я сижу дома, вместо того, чтобы отослать Тамаеву открытку в Иерусалим, на улицу Таити. Потому что сегодня отсылочный день. Ну да, сегодня четверг, а я не пошел пить кофе в гостиницу «Москва». Позавчера я уронил в метро пятак, побоялся нагнуться за ним, чтобы не упасть, и поднял, присев на корточки, отчего у меня окончательно порвались брюки, но сегодня, кажется с утра, звонил вроде Налитухин, обещал забрать «в середине дня» и привезти мне другие, которые поцелее. Из открытки с улицы Таити я узнал, что скуплюсь на открытки. Это неправда. Я скуплюсь на марки. Четырнадцать копеек — это пачка сигарет, а я почти ничего

не зарабатываю и не спрашиваю Нину, как она там изворачивается. Отсюда следует крайняя необходимость. Отсюда же — и полная невозможность. Сталкиваясь, они уничтожают друг друга, и я остаюсь на своем диване в той же позиции. Все это я написал вчера ночью в открытке Тамаеву на улицу Таити, и мне стало себя очень жалко, с головой стало совсем плохо, и я снова лег и вроде заснул». Говоря это, он закрывал локтем глаза от света и попыхивал сигаретой. Потом сигарета перестала вспыхивать красноватым сощуренным глазком, и он задремал. В безумии хаоса на пяталке этой комнаты была железная система. Как угрожающе ни склонялись пирамиды вещей над его головой, они были четко уравновешены собственной тяжестью. Все было на расстоянии протянутой руки. Но стоило сдвинуть предмет, казалось бы незначительный, с положенного ему места, и камнепад обратил бы этот микрокосм в грудy холодных и безличных астероидов. Это был не хаос, а железно продуманная сценическая площадка, изображающая хаос. Вот клей: им навечно можно клеить почтовые послания. Вот чернила: ими можно нарисовать слова. Вот слова: их можно брать. Я протянул руку к столику у дивана и приблизил к глазам открытку, которую он изготовил, видно, этой ночью, и почти без удивления прочел те же слова, которые только что слышал от него: «Написавши это, мне стало себя очень жалко, с головой совсем плохо, и сейчас я лежу». Мне хотелось приложить ладонь к его лбу, потому что мне казалось, что он пылал. После этих слов на открытке шла толстая линия, отделяющая другие завихрения мелкого раздельного почерка, линия, отделяющая другое время, другой исторический период сна:

«Так я и заснул до пол-одиннадцатого, когда мне в окно ударил снежок, но это был не Налитухин — он так и не появился «в середине дня», и я по-прежнему без брюк. Снежок кинула одна посягательница, нарочно забывшая на прошлой неделе книжку, чтобы за ней вернуться. Но ничего у нее не вышло. Я отдал ей книгу на лестнице, а принесенные батончики взял и вышел опять же я дурак: они не «Ротфронт», а «Походные», а это большая разница. В качестве чайного припаса годятся только батончики не дороже, чем два сорок, а «Походные» стоят три десять. Вкус у них густо-сладкий, и ими не напьешься. Я бы сам вылез за чайным припасом, а в чем выползть неизвестно: сзади дыра и в нее дует. А вы говорите. Правильно нас, модернистов, ругают в нашей прессе за неумение писать все подряд, как автор Робинзона Крузо: прячем мол, четыре пятых под воду, чтобы спрятать отсутствие личных стимулов. Но главное в этих нападках — справедливое утверждение, что в дырявых брюках нечего таскаться

по улицам, поддерживать культурные связи с заграницами и начинать новую жизнь, опираясь на дядей и племянников. А также рожать в муках новые провинциальные цивилизации. Посланный тобой вызов я получил, и по поводу воссоединения с фиктивными родственниками могу сослаться на пьесу Горького «На дне», где ясно сказано: «Дядя без племянников — не дядя». В отличие от других его мыслей, эта мне кажется своевременной, и я думаю, что при имеющихся сценических средствах эту пьесу поставить не удастся. Поищи другую. Впрочем, брошенную перчатку получил и принимаю, но поединок откладывается до весны-до-лета. Впрочем, ваших секундантов готов принять всегда. Впрочем, пойду поставлю чай».

Я читал это все уже минут десять — и еще раз удивился, сколько слов можно втиснуть на таком маленьком квадратике почтовой открытки: с обеих сторон, правда. Жирная линия, отделявшая византийский период ночи от вавилонского, огибала картинку, изображавшую господина с красноватым носом и с расставленными, как будто в монологе, руками. Хлестаков. Вариант иллюстрации к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Акварель. Государственная Третьяковская галерея. Слова открытки шли вокруг типографской картинке, и тогда становилось понятным, что у Хлестакова изображена только верхняя половина тела. Ног не было. Или штанов. Хлестаков без штанов. Где же Марья Антоновна? Четверган зашевелился, открыл глаза и резко привскочил на тахте. Потом потер лицо и потянулся за сигаретами. Потом снова откинулся на валик тахты и сказал мне: «Это ты? Я подумал, это моя тень. Это раннее утро или еще ночь?» Я сказал ему, который час. Он растопырил пальцы и поглядел на собственные руки: «С сердцем у меня плохо, вот что. Сейчас во сне чуть не умер, или мне это приснилось. Проснулся от страха, и еще почему-то дрожат руки». За стеной послышался дикторский голос, сообщающий о событиях в восточной части государства Того. Государство Того лучше государства Этого. Потом зазвучали бодрые звуки, и комсомольский голос запел: «Что-то с памятью моей стало: все, что было не со мной, помню». Четверган поворочался на диване и потом пробормотал: «Сейчас бы творогу. Или яблок. Заесть бы эти батончики и этот сон». И тут в окно тихонько стукнул снежок.

Это была Нина: «Боже мой, что здесь происходит? Настоящая душегубка, ты же не должен доводить себя до такого состояния, Бог мой, у тебя за сутки морщин прибавилось, как за десять лет. Как же ты тут один был, ну позвонил бы, а?» Нина сидела рядом с ним, лежавшим на тахте, и разглаживала ладонью его лоб. Потом вскочила, открыла окно, и свежий воздух, предвещающий оттепель

и весну, стал вливаться в комнатку. Потом она укоризненно поглядела на меня и отвела глаза, закусив губу. «Я только сейчас появился. Я не знал. И потом ночь уже, даже купить нечего, все закрыто», пробормотал я. «Я, ты знаешь, батончиками объелся», стал поспешно говорить ей Четверган, дотрагиваясь до ее ладони, «тут одна посягательница принесла мне батончики к чаю. Но я ее не пустил к себе, я у нее батончики на лестнице взял. А батончики не те оказались: густо-сладкие, потому что по слишком дорогой цене. И я чаю перепил: чтобы запить их вкус нужно дикое количество чаю. И сердце, что ли схватило или почки. Я бы до тебя доехал, но у меня дыра в штанах, дует, я за пятаком, знаешь, нагнул, и шов разошелся. Сзади». Она плакала. Я отвернулся.

«Я звоню, никто не подходит, я и приехала. Ты не злишься? Я вот тут творогу привезла и яблок. Ты поешь, и мы ко мне поедem, тебе ванну надо принять». Она разворачивала бумажные кульки в авоське. Он протянул руку и стал отламывать кусочки белого творога, с торопливостью отправляя их в рот, проглатывая почти не жуя, как живительную влагу. Она сняла крошки с его губ. Когда он поднялся и пошел умываться, я сказал, глядя в окно: «Что же с ним делать? Надо что-то решать». Она откинулась к стене и вытерла покрасневшие глаза: «Неужели вы все не понимаете, что ему нужно? Ему нужно, чтобы ему было хуже всех на свете. Он все время пытается дойти до точки. Он идет на то, чтобы сделать тупик выходом из тупика. Когда дальше двигаться некуда. И он начинает биться головой об стену. И хочет, чтобы от этого звука проснулись соседи по несчастью. Не остается друга по несчастью только у меня. Все вы ищете выход из безвыходного положения. И только мне остается верить в то, во что поверить нельзя: что это и есть жизнь. Просто честное присутствие. Рядом с ним». Больше я никогда от нее таких слов не слышал. Пока они собирались и ждали такси, я, машинально поглядывая на ее отражение в оконном стекле, вдруг заметил, что ее глаза стали огромны и светятся нездешним светом, и я не сразу понял, что это два далеких окошка в противоположном доме прильпих на место ее глаз в отражении. Она тогда не знала, что у него, кроме идеи дойти до тупика здесь, есть идея выйти из него ТАМ. Когда мы втроем вышли к такси, она стала усаживать его первым. На заднее сиденье. Еще не умер ты, еще ты не один. Когда такси уже было тронулось, Четверган вдруг всполошился: «Ведь открытку забыл. Открытку надо отправить Тамаеву в Иерусалим, на улицу Таити. Я ее ночью приготовил и забыл сунуть в пиджак. А, ладно, обойдется: и так все понятно».

Мой друг, мой нежный друг, зачем нам не дано жить в мире лишь для тех, кем жизнь для нас священна? Знал ли он тогда, что наступит день, когда факт того, что письмо не обрывается, а продолжается, будет единственным свидетельством того, что ты еще не умер?

«И в результате вечером он появился, чтобы принять участие в переклеивании стены. Той, которую ты заклеил картинками из журнала «Америка», когда мне не хватило обоев во время ремонта четыре года назад. Ты не можешь возвращаться в свое общежитие, а я? как я могла возвратиться в свою квартиру? Я неделю совсем не заходила в третью комнату, где ты ночевал, когда жил у меня. Один твой старый свитер, брошенный на спинку этого самого кресла, чтобы тебе было легче сидеть, приводил меня в полуобморочное состояние. Когда ты под треск юпитеров спускался по трапу самолета к своей свободе, я умирала, на самом деле, это было так страшно. А потом стала двигать мебель: я вынула все из ящиков того письменного стола и заполнила их всякой другой всячиной, которую в принципе никогда бы туда не положила: косметика, картины, моды и т. д., и только тогда смогла за него сесть и глядеть на все тех же ворон, которые слетаются на закате к резиновому заводу на другой стороне речки. И вся квартира сейчас совершенно не похожа на ту, где ты появлялся, разве что моя комната — собирательный образ прошлого, но все совершенно не так и не в том порядке, как было у тебя.

Так вот, появился твой бывший собутыльник, естественно, с бутылкой водки и, как всегда, с шумными поцелуями, объятиями и изъяснениями преданности. О какой преданности может быть речь, если я его видела раза четыре в жизни, когда ты являлся в его сопровождении в пьяном состоянии, и при этом я его толком не успевала разглядеть, так как жарила вам яичницу с колбасой и шла спать. Ну, неважно. Он, как всегда, откуда-то вернулся с кучей денег. То ли из Сибири, то ли из Казахстана, или Дагестана, и непрерывно рассказывал кучу историй, которые я тебе, так и быть, перескажу в следующем письме. Я несколько была в шоке от его прихода, потому что собиралась закончить переклейку обоев и покраску до отъезда на дачу, а мы, вместо этого, после каждого метра стены выпивали рюмку водки, и в результате нам, почему-то, не хватило краски. Потом он сбегал в соседний подмаг за еще одной бутылкой и явился с каким-то своим приятелем, которого звали прямо так непосредственно Ваня. В промежутках он читал твое первое измазанное

клубникой письмо. Действительно у вас в январе клубника? Сейчас, кстати, раздался звонок, и мне сообщили, что получили письмо от общих знакомых, в котором все про тебя написано: как ты сидишь в подушках в окружении девиц, которые ловят каждое твое слово. И что ты повесил мою фотографию в купальнике. Одна общая знакомая жена прокомментировала: повесил полуголую фотографию, чтобы она его возбуждала, когда он спит под ней со своими бабами. А меня возмутило: зачем ты повесил ЭТУ фотографию? Я там ужасно худая и страшная. Так что я тебя прошу: повесь какую-нибудь другую. И еще, что это за подушки из-за спины, что у тебя вообще со спиной, у меня такое впечатление, что ты загибаешься, а когда ты написал про кресло на колесиках, я сразу представила, как ты на инвалидной коляске перемещаешься от одной бумажки к другой.

Пока я разговаривала по телефону, твой бывший собутыльник спросил: «А министром инкарнации он кого называет?» Я сказала: «Ну, министра же и называет, это, понимаешь, не то, чтобы он был с ним знаком, а так, вроде поговорки, в том смысле, что в этом сам черт не разберется, только вместо черта он говорит министр инкарнации, это не значит, что он кого-то имеет в виду». Он, по-моему, ничего не понял. А Ваня стал читать стихи: «И вспомнились мне худенькие лица болезненных, задумчивых детей, лишенных, как в тюрьме, в твоих стенах, столица, цветов и воздуха полей». Ты не знаешь, чьи это строки? Потом, когда мы вернулись к заклеиванию «Америки», Иван куда-то исчез: где Иван? Нет Ивана. Никакого Ивана Ивановича. «Нина! Я, кажется, выпал», вдруг услышала я. Он, оказывается, мирно выпал с балкона, не нарушая ритма ремонта. Это был второй этаж, но мог быть и двенадцатый, если бы дело было на другой квартире. «Тебе нужно учиться у Вани великой скромности падения», сказала я ему. Он восседал в твоём кресле с рюмкой водки и нахально на меня пилился. И у меня началась с ним тяжба по поводу твоего кресла. Я ему в течение вечера дарила это кресло, потому что после ремонта оно абсолютно не смотрится и излишне напоминает. И он, наконец, милостиво согласился. Но мне было поставлено условие доставить кресло в его комнату. Но кресло до сих пор в моей комнате. Потому что в результате он сказал, с твоими интонациями, что терпеть не может женщин, поскольку они своими заботами о человечестве создают человечеству дополнительные заботы, и с какой стати он вообще будет заниматься этим креслом, если он давно не занимается человечеством. И пускай я все беру на себя: найду машину, доставлю кресло, подниму его по лестнице, и тогда, если он заглянет к себе

в комнату, он, может быть, немножко на нем посидит, но скорее всего нет, потому что мы его обязательно поставим не туда, куда следует, а передвигать он его не будет, потому что это вообще моя акция и пусть я на нем и сижу. И вообще, сказал он, у него была одна вера на свете, что только русские девки не способны на предательство, а теперь он совсем атеист, поскольку его Маша — ну, помнишь, девица с выжженными глазами, жена-не-жена, она, в общем, вышла за кого-то подходящего замуж и теперь собирается в вашем направлении. Может, она уже у вас? Но ты ничего не поешь, куда ты пропал? Где ты, милый, что с»

Четверган с детской надеждой перевернул на другую сторону исписанный шариковой авторучкой листок письма, но там еще раз засверлило в висок чужое участие в переклеивании стены. Он снова полез глазами вниз на другую сторону, и снова прочел: «Где ты, милый, что с», и от этого тоскливого незаконченного-го-го-го «что с», в котором даже на вопросительный знак не хватило места и которое так и застыло, как само собой разумеющийся безответный вздох, снова хотелось повернуть листок письма перед глазами. Тоскливая жизнь, как будто дошел до конца половины письма, переворачиваешь листок и набираешь дыхание, а на другой стороне та часть письма, которую минуту назад уже прочел. Такое было впечатление, что нет третьего листка письма: должен был бы быть еще третий листок, чтобы понять, кто там вернулся из Сибири и кто уехал в Казахстан, но этот листок выпал. И чья такая эта Маша с выжженными глазами, жена-не-жена, которая движется в нашем направлении? И кто налетел, как инкарнация или хамсин? Что это за хамсинкарнация там происходит? Он пытался вспомнить то, что упорно старался забыть.

## 5

Подобная мысль уже мелькнула вчера, накануне переселения в тамаевскую квартиру.

На двух парах колес ползли параллельно друг другу звук и изображение. Это называлось монтажным столом. На первой пленке крутилось изображение, отснятое Тамаевым, на другой — крутился дикторский текст, наговоренный в микрофон голосом Четвергана. Изображение надо было синхронизировать со звуком, и за дикторский текст и за синхронный монтаж обещали заплатить 300 лир. Этой синхронизацией за 300 лир и занимался



Четверган по случаю, сидя в пустой телевизионной студии поздним вечером, отмеченным датой отъезда Тамаева. В студии записи Четверган зачитал в микрофон дикторский текст, а теперь эту пленку надо синхронизировать с короткометражным фильмом по государственному заказу, посвященным приезду новоприбывающих в другой мир из-за железного занавеса. Надо было все время следить за тем, чтобы губы говорящего на экране лица двигались в соответствии с дикторским голосом в репродукторе. Если бы снимали человека синхронно со звуком его голоса, достаточно было бы подогнать начало звука под первое движение губ, а дальше все шло б само собой. Но тут был другой случай: Четверган пересказывал дикторским голосом все, что происходило на экране, и когда он цитировал слова героя фильма, то не всегда слова героя совпадали с тем, что говорил Четверган. Важно было в этом случае добиться хотя бы того, чтобы время движения губ совпадало с временем говорения в репродукторе. На монтажном столе был рычажок, похожий на стрелку спидометра, и поворачивая этот рычажок по кругу, можно было регулировать скорость перемотки, а с помощью еще одного переключателя можно было приостанавливать одну пару колес, пока другая крутится, то опережая, то догоняя звуком изображение. Для синхронизации надо было подрезать то изображение, то звук. Так как озвучивание делалось заранее и без пауз, иногда надо было останавливать изображение и вставлять чистую пленку в ленту со звуком, добываясь нужных пауз, пока губы на экране не начнут снова говорить. Эти паузы из чистой пленки надо было вставлять и в том случае, когда пленка со звуком уже кончилась, а изображение все еще двигалось, и тогда надо было сдвинуть весь звук к концу фильма. А иногда надо было, наоборот, выбросить изображение в мусорную корзину к обрезкам, которые извивались на полу кучей коричневых змей, потому что на эти картинки не было соответствующих слов в подготовленном тексте.

На экране мелькали большие чемоданы и радостные лица, а из репродуктора неслись большие слова и оптимистические интонации, когда среди кадров хроники вдруг мелькнуло знакомое лицо, запуганное лицо, кусающее губы от растерянности. Оно появилось из китового тела самолета, ослепленного прожекторами: косоглазое лицо в верблюжьем пальто с ветряной нахлобучкой на голове. Четверган глядел на самого себя и не узнавал. Он прокрутил изображение обратно. Его голос продолжал говорить уже за других лиц, в то время как его лицо снова стало возвращаться, ослепленное прожекторами. Он запускал самого себя еще и еще раз, сам себя не узнавая. И ему показалось, что он снова сидит в Москве и снова

с тошнотой представляет себе, как очутится в неизвестном городе, и будут бить прожекторы, ослепляя так, что не различишь и те немногие знакомые лица, которые тебя ждут. И снова стало сосать под ложечкой, и сколько он ни убеждал себя, что он уже здесь, а не там, страх перед неизвестностью, отпечатанный Москвой, был гораздо реальнее и долговечнее эффекта присутствия в Иерусалиме. И он снова оказался на московском перекрестке, где Иерусалим кажется неизвестным городом, который окажется не тот, и ты, его вестовой, в нем заплутаешься ребенком на чужой улице. Колеса бобин продолжали крутиться, протягивая за собой мелькание лица и чужие звуки, опережающие движения губ: получалось, что его голос говорит одно, а сам Четверган, сидящий рядом, думает совершенно другое. Как будто говорит не он, а совершенно посторонний человек, к которому он давно не имеет никакого отношения, но тот продолжает долбить в ухо навязший в зубах анекдот. Как будто сам он переместился в другое измерение, а говорит за него не он сам, а тот он, который остался за экраном, там, за железным занавесом, за фанерной перегородкой: и движется не он, а его изображение, не он сидит сейчас перед экранчиком, а его проекция плывет по экрану здешней жизни, вылетев из кинопроектора, запускающего киноленту из кинобудки с окошком в той стене, в которой нет калитки. Если не наоборот: он, здешний, лишь озвучивает по-новому его того, который остался там, и он, здесь ставший лишь магнитофонной записью, пытается подогнать самого себя под отстающее изображение. Четверган повернул рычажок, остановил все четыре колеса, вытянул кусок изображения самого себя и соответствующее озвучивание, и двумя взмахами бритвы вырезал эти части из фильма. Потом склеил концы и снова включил колеса: дальше фильм поехал без него, он из этого фильма выпал. Он выпал из этой четырехколесной телеги и, получив 300 лир, отправился в свое общежитие на улице Рабиновича 33, чтобы сложить архив в чемоданы и перенести его на улицу Таити. Даже этот переход вспоминался сейчас как событие.

Дома по краям улицы уходили первыми этажами вниз, в расселину, и поэтому шли к подъездам, как будто нависающие мосты. Ему казалось, что он шагает по невидимым крышам. Города тоже не было видно.

То есть было известно, было точно доказано и дано почувствовать, что город везде и нигде, что он подстерегает невидимыми контурами, как будто сейчас включится свет, и он прыгнет на тебя конницами домов из камня с пиками кипарисов, с булавами погасших фонарей. Ветер дул беспорядочно, сквозняками невидимых переулков, и Четверган, забрав-

шись с головой в пиджак, продвигался как-то боком, с затаенным страхом, как бы не свалиться, будто кромка тротуара была краем пропасти. Стукнула на ветру вывеска портного, отлетела и покатилась вниз по узкой каменной лестнице, спускающейся с холма в ночной котел тумана. Однажды он, с неутомым своим любопытством, попробовал спуститься по этой лестнице, поглядеть, куда она ведет, но прошагав минуты четыре, понял, что она спускается все дальше и дальше вниз, и не решившись углубляться, повернул обратно. Обогнув наискось на ларек, где в иные времена, в иные цивилизации, то есть днем, торговали булками с сосисками, он, чуть не споткнувшись о невидимые ступени, расплющил нос с ладошкой у стеклянной двери общежития. Как в стекле гигантского террариума, он увидел сквозь собственное отражение остатки каменных кресел, плывущий плафон единственной лампы, а дальше шли какие-то пещерные провалы. Он попробовал толкнуть дверь, но она оказалась, естественно, запертой. В пещерной темноте за стеклом он различил два сдвинутых кресла, и на них китовую тушу спящего охранника с расставленными плавниками-одеялами. Он тихонько постучал. Закрывать бы глаза и исчезнуть. Мир за пуленепробиваемым стеклом был вполне законченным и ненавистным: надо было хлопнуть в ладоши, и он исчезнет. Как и этот ларек, где по утрам на раскаленных стальных штыках разогревались черствые булки, как отрубленные головы, а рядом в прозрачной электрической печке варились длинные сосиски. Захотелось есть. Может, не стоит колотить в дверь, а пойти переночевать на улицу Таити, съесть что-нибудь. Он подергал дверь и тут увидел, что к стеклу приближается белое пятно. Седая голова повозилась с замком, и Четверган оказался в вестибюле. Снизу вверх на него поглядывала напудренная старушка в белой ночной рубашке. Храпел охранник, и на стойке черной лягушкой отсвечивал телефон.

«Я вас разбудил», не то спросил, извиняясь, не то подтвердил, уклоняясь от извинений, Четверган и двинулся к лестнице.

«И не надейтесь, я до утра не сплю», неожиданно враждебно сказала старушка в ночной рубашке. Она глядела на него снизу вверх, воинственно задрав напудренный носик, и он все время боялся, что сейчас упадет ее желтый парик, и выйдет неловкость. «Я до утра не сплю. Я сторожу охранника. Если что-нибудь случится, сразу его будить». И она закивала головой. Это была американка из номера напротив.

«Разве что-нибудь должно случиться?» Четверган зевнул.

«А почему вы спрашиваете? Вы догадываетесь?», подозрительно наставила нос старушка.

«Спокойной ночи», сказал Четверган и сделал шаг к лест-

нице. Американка неожиданно резко дернула его за рукав.

«Меня каждую ночь могут ограбить», сказала она и вдруг задрала ночную рубашку. «Вот поглядите». Под рубашкой были джинсы.

«Тут темно, я ничего не вижу», сказал Четверган.

«И не увидите. Они у меня в специальном нательном поясе», сказала старушка и тихонько захихикала.

«Кто — они?» Еще одна сумасшедшая. Спать хочется.

«А доллары. Тысяча долларов. Но они у меня в поясе защиты: никто не догадается, если, предположим, совершат грабительский налет». И она снова закачала головой.

«Зачем же вы первому встречному, то есть мне, это все рассказываете, этот оригинальный секрет?» Четверган начал злиться.

«В этом и состоит моя система. Я это каждому рассказываю, кто после двенадцати возвращается. И каждого запоминаю». Она сощурила глазки. «А если на меня совершат грабительский налет, я буду знать, кого подозревать. У вас глаза серые или зеленые? Мне надо приметы занести в записную книжку. Если ограбят, значит знали, где у меня деньги спрятаны! А кто знал? Те, кому я об этом рассказывала. Так у вас глаза какие?»

«Косые», хотел обрезать ее Четверган, но тут луч фар проезжающей машины скользнул по ее сухому локтю, торчащему из-под ночной рубашки, и он заметил выцветший концлагерный номер, ввевшийся в кожу.

«Вы не бойтесь», сказал он, «если что-нибудь случится, вы сразу кричите, я услышу, я в соседнем номере». Он стал подниматься по лестнице, оставив старуху стоять с раскрытым наготове блокнотом. Она вздохнула, и снова стала расхаживать вокруг охранника, покачивая головой. «Я вас равно запомнила», громким шепотом проговорила старуха вслед его спине.

Он стал подниматься к себе в номер, на третий этаж, понимая, что поднимается по этому вееру лестниц в последний раз, чтобы в последний раз спуститься уже с чемоданом, набитым папками с тесемочками. Каждый лестничный пролет встречал его самолетным жужжанием холодильников и пустыми кафельными коридорами с притушенным светом матовых плафонов. В конце этих гулких коридоров поднимались параллельные пролеты лестниц другого входа, и эхо его шагов по ступенькам, по которым поднимались его ноги, возвращалось, отраженное от ступенек, по которым его ноги не ступали: за все время пребывания в общежитии он ни разу не поднимался по лестницам с другого конца. И никогда больше не поднимется и не спустится. А ведь в тех, других

концах коридоров жили люди, которые никогда не поднимались по лестнице, по которой он сейчас шел. Через час он будет на улице Таити, и эти параллели перестанут для него существовать, потому что начнутся другие меридианы. В который раз. С какой бы улицы он ни начинал новую жизнь, он непременно выходил к тупику, и дойдя до него, уже чувствуя его на расстоянии, нужно было резко сворачивать, брать чемоданы в обе руки и начинать снова с другой улицы, уходить от Рабиновича 33 на улицу Таити, которая окружным путем вела к той же дачной калитке в железной стене.

Коридор встретил его длинным сквозняком тюремных ламп и свинцовых, крематорных дверок холодильников, вделанных в стену. Он пошарил вслепую рукой в глубине верхней ячейки: там должен быть большой такой пакет, в специальной коробочке, перетянутой прозрачной пленкой для сохранности. Он его вчера поставил в холодильник, специально для такого случая, когда холодно, но хочется пить, а чая пить не стоит, ввиду отсутствия соевых батончиков, и можно положить в рот клубничную ягоду, раздавить ее языком и почувствовать прохладу. Рука тыкалась в подернутую инеем железную стенку. Пакета не было. Исчез. Холодильник не запирается на замок, и все постепенно исчезает. Чтобы не испортилось. Надо было все-таки успокоить чем-то американку. Кому он говорил про клубнику? Кому-то он совсем недавно сообщал про клубнику, то есть был некто, кому он сообщил о том, что положил в холодильник пакет с клубникой. Рука наткнулась на что-то, и он вытащил круглую картонную банку, на которой справа налево было написано «сыр обезжиренный», что на самом деле означало просто-напросто «творог». Он стал открывать дверь, придерживая под мышкой картонную банку с творогом, и одновременно вытаскивая записку, торчащую в дверной щели. Он так и вошел в комнату, с запиской в зубах. В комнате пахло высохшей штукатуркой, потому что зимняя сырость была высушена сутки напролет включенным электрическим камином: в камине раскалялось под рыбьей ребристой поверхностью металла, похожей на стиральную доску, машинное масло и потом отдавало тепло. В холодную ночь он ставил расплюснутую тарелку камина рядом с кушеткой, и нога, по ночам вылезающая на прогулку из-под московского байкового одеяла, натывалась на металлическую стенку и, обожженная, дергалась, а ему снилось, что он ступает на новую неизвестную землю или переходит огненные рубиконы. На стенах, покрашенных белой извештой, оставались неровные почерневшие квадратики, следы наклесенных предыдущим жильцом картинок, из которых уцелела

только одна: Наполеон Бонапарт глядит в морской бинокль на растущий из тумана остров Святой Елены. В комнате стоял неистребимый запах временного жилья, запах общежития, то есть смесь присутствия разных побывавших здесь людей, потустороннего ушедшего и присутствующего необосновавшегося; смесь запаха клея, раскрытых четвергановских чемоданов, набитых газетами, открытками, почтовыми конвертами, с запахом коридора, пролетавшим через щели вентиляции над входной дверью и вылетавшим на улицу сквозь плохо подогнанные рамы. Входная дверь, тоже плохо подогнанная, хлопала от урагана сквозняка в коридоре: хлопала эхом на звук каждой открывающейся двери в общежитии. И уже двойным эхом хлопало окно. И это бесконечное эхо напоминало армейскую перекличку или тюремный перестук. Дверь была напротив ячеек холодильников, и ячейки жужжали, как пчелы, или как далекие авиационные моторы, как будто вдалеке летал разведывательный самолет. Особое восхищение вызывала у Четвергана ручка унитаза в уборной: он сначала не мог понять, почему его разбирает смех каждый раз, когда, оттягивая ее, он спускал воду, а потом догадался, что эта ручка была явно позаимствована из самолета. Или из посзда дальнего следования. Да и вся комната напоминала купе, и в ней был вечный уют несмотря ни на что, вечный уют места, где ты ничем не обязан ни одной вещи, потому что завтра они все исчезнут под крышкой чемодана, с которым ты выйдешь на очередной перрон. Глотая кусочки матерчатой творожной массы из картонной коробочки, Четверган развернул тамаевскую записку:

«Заскочи с утра. Надо срочно обговорить. У меня новая идея. Тамаев». От Тамаева можно ожидать чего угодно, но успеть раньше Четвергана в общежитие, чтобы оставить очередное «заскочи срочно», когда они только что расстались? Это уже жизнь, прокрученная с удвоенной скоростью: какое-то щебетание и мельканье лиц, рук, коней. Я бы не удивился, если бы узнал, что Тамаев летает, как ведьма в ступке, и его китайская косичка вместо метлы. Или не в ступке, а в кофейной машине. Повертев записку в руках, Четверган, наконец, догадался, что она торчала в двери еще со вчерашнего дня.

Дверь в очередной раз хлопнула, и он, нажав на ручку, заложил щель сложенной вчетверо запиской. И двери эти были как будто позаимствованы из советской жизни, точнее их ручки — круглые, пластмассовые. Или эта жизнь на секунду заскочила в тамошнюю. С новой идеей. Чтобы срочно нечто обговорить и бежать дальше. И вообще, эта комната была некоей машинописной копией комнаты в коммуналке Копьев-

ского переулка в Москве, такой же гамак, люлька, кабина космонавта на одинокой орбите; та же комната, но только слегка деформированная, сдвинутая, помятая путешествием в багажном вагоне. Как будто он увез свою комнату в чемодане. Потом раскрыл чемодан на новом месте и стал в нем жить. Поразительное свойство все носить с собой. Все оказывалось звеньями одной и той же цепи и обратной стороной той же медали: нечеловеческий порядок без оглядок. И несмотря на все сквозняки и перестрелку дверей, несмотря на плюющиеся краны и душ без горячей воды, несмотря на самолетное изматывающее жужжание холодильника, эта комната была копьевской империей, и Четверган, как только поселился здесь, моментально превратился в прежнего копьевского императора, полководца эпистолярных войск, которые он рассылал во все концы света, своих двойных агентов в треуголках конвертов, и только на марках вместо сибирских песцов стало мелькать Мертвое море и еще одно, Тверди-земное, которое надо было рассматривать в микроскоп. Напившись английского чаю с бедуинской халвой, он устраивался с листком аэрограммы у полочки на четырех ножках и начинал свое камлание. Вокруг этого клочка бумаги начинала вращаться вся комната, а с ней раскручивалась все быстрее земная ось. Проплывала фотография Нины, подсунутая под розетку электросети, потому что к стене не прикрепишь: она улыбалась, стоя в купальнике у дачного забора, и тень листвы шевелилась ветром на ее плечах. А прямо перед носом покачивался на сквозняке плакат, подаренный Тамаевым, который прикрывал черные пятна следов присутствия бывшего жильца: на плакате, на фоне черного звездного неба, висел земной шар, и почти весь земной шар занимал Иерусалим с золотой шапочкой Храмовой горы; и под этим земным шаром он приклеил фотографию Тамаева — так, что лысина его как раз касалась южного полюса: на фотографии Тамаев морщил лоб, раскрывал рот, чтобы что-то сказать, и почесывал макушку, и получалось, что он не понимает, как же быть с этой планетой, зацепившейся за его макушку. Уносился ветром Иерусалим за окном, за спиной покачивались друг на друге папки с тесемочками, похлопывали дверь и оконная рама, и на полочке выступал танковый строй жестяных банок из-под английского чая, от жасминового до обычного для завтрака, но там был не чай: там хранилась канцелярская роскошь, какая и не снилась в Москве. Позвякивали в них перья — от школьной «лягушки» до японской кисточки для туши; булькали синтетические клеи

в бутылках, горлышки которых были одновременно и кисточками для клея; шуршали пакетики, где хранились пропитанные специальным составом бумажки-промокашки для сведения на нет ошибочных слов: особое удовольствие вызывал «тайпэкс» — с помощью этого «экса», подложив его под рычаги пишущей машинки, можно было одним ударом экспроприировать орфографическую ошибку. Как он быстро обрастал многозначительной ерундой, годной лишь на то, чтобы развлекать бездельников на берегу Мертвого моря. Казалось бы, завязав в Москве четыре папки с веревочками, можно было поставить точку на всей этой четырехэтажной тавтологии. Но вот к этим четверем папкам стали прибавляться те детали, которые до них не долетали, и новые газетные вырезки, намекающие на то, что случилось тогда и упомянуто в письмах из Москвы только теперь. И вместо «Вечерней Москвы» пошла в ход газета «Наша странна» со всеми русоведами, сионистами и ортопедами.

Письма из Москвы упоминали то, что уже однажды случилось, но стало по-новому восприниматься с точки зрения того, что случилось потом. И чтобы понять, кто что сказал, надо было сравнивать четыре московских письма про одно и то же пожирание блинов с шампанским и выуживать оттуда, кто теперь заместитель на его кресло, и выудив это, послать этому заместителю его же собственные слова, которые, как тот считал, никогда не будут известны Четвергану. С какого-то момента он проходил путь каждого за пядью пядь с такой последовательностью, что в Москве пошел слух, что Четверган снова появляется в кафетерии при гостинице «Москва». И он действительно появлялся, этот Ветрогон, он действительно толпился в очереди у кофеварки и говорил те слова, которые он сказал через две недели после того, как прочел письмо, которое пришло через две недели после описываемых в нем событий. И он снова оказывался на улице Рабиновича 33, когда письмо обрывалось. И читая письмо как раз столько, сколько оно шло от Москвы до Иерусалима, он растягивал встречу в «Москве» на две недели. С этой планеты «Рабинович 33» он диктовал свои слова, которые, отразившись от московского четверга, возвращались к нему бумерангом. Сколько продолжалось это сумасшествие? До тех пор, пока мечтатели и полуночники не сменились пенсионерами и обскурантами, а четверг встал на колеса и поехал в своем направлении. С планеты «Рабинович 33» Четверган запускал спутники, а спутники пуляли из космического пространства, стараясь попасть в нужное почтовое отделение. Все напоминало комнату в Копьевском переулке: даже кушетка, с которой невозможно было подняться,



однажды на нее сев, потому что коленки задирались выше головы. Все напоминало. Но это напоминание стало напоминать саркофаг, гробницу. И снежка в окно никто не бросит. И снег бывает раз в году, и похож на прошлогодний. Отправитель и адресат слились в один образ самоотправителя. Заесть бы клубникой.

Четверган достал открытку и стал отстукивать двумя пальцами: «Сейчас за окном идет снег, а я сижу у себя на Рабиновича 33 и ем клубнику в январе. Вот если бы ты приехала, мы бы сейчас вместе ели клубнику. Было бы потрясающе. Зря вообще вы не приезжаете, потому что», и тут свободное для вранья место на открытке кончилось.

Он перевернул открытку. Там тоже не было свободного места. И вообще, что он себе думал насчет адреса: куда впихнуть все эти почтовые индексы и «юэсесеры»? На обратной стороне была глянцевая картинка со скульптурой «чудовища» на детской площадке, рядом с общежитием: гигантская голова, выкрашенная красной и черной краской, а из пасти — язык в виде детской горки. По вечерам, когда детей уводили домой, из этой пасти, с этой пластмассовой горки-языка скатывались новоприбывшие семейные репатрианты из общежития, не знающие, куда себя девать по вечерам: говорить друг с другом им давно было не о чем, а репатриантского языка они еще не выучили, или уже выучили до такой степени, что и на этом языке им тоже уже не о чем было говорить. Четверган повертел в руках открытку. Все наврал про клубнику. Он медленно порвал ее на мелкие кусочки. Перестал вращаться земной шар на плакате, тень листвы перестала шевелиться на голом плече Нины, Бонапарт Наполеон пристально вглядывался в бинокль на отпечаток пальца на пыльной иллюстрации. Он повернул ручку японского транзистора и проехался по рельсам шкалы через четыре столицы, и все не мог решить, где остановиться, и вдруг, когда пальцы уже бросили эту машину географического времени, когда в одних последних известиях сообщали, что сейчас полночь, а в других говорили на совершенно ином языке с добрым утром, вдруг из транзистора стали вылетать не слова, а пробивающие сердце знакомые стальные соловьи: «Говорит Москва», и дальше, длинными очередями: «Под руководством партии и правительства... сионистские агрессоры... добиваются высоких норм производительности труда». Потом железный голос сообщил, что в Пулковской обсерватории вступил в строй самый мощный в мире телескоп. Может быть, в него можно увидеть Четвергана. Родина слышит, родина знает, где в облаках ее сын пролетает, если весь мир давно превратился в сплошную наблюда-

ловку. Потом сообщили, что завтра американский астронавт и советский космонавт выйдут из своих космических спутников и пожмут друг другу руки в пустоте. Потом бодрый голос в сопровождении саксофона стал напевно излагать про какой-то БАМ: он признавался откровенно, что если вдуматься, то в сущности вся жизнь в этом БАМе, и спел припев: «любовь — это БАМ, судьба — это БАМ, доложу я, ребята, вам», но иронически предостерегал в следующем куплете: «чтобы по рельсам проехать, надо сначала по шпалам пройти», из чего следовало, что последнее М в этом БАМе скорее всего не метро, и не мужская уборная, а магистраль, за что, впрочем, уже ручаться было нельзя, сидя на планете Рабинович 33.

На эти три минуты время в двух метagalактиках совпало, они встретились, покачались рядом, пожали друг другу руки и уплыли в разных направлениях. Но этих трех минут московского голоса было достаточно, чтобы разобрал истерический смех: потому что после такого соседства на один поворот ручки транзистора вся лирическая болтовня про там и тут, и про Вавилон и Византию, и вообще про ветку Палестины, становится шарманочным мотивом. И подлость этой тоски по родине в той давно разоблаченной мороке, что она, тоска, существует только пока на эту родину тебя не пускают, то есть для этой тоски все то же транспортное, дорожное ямщицкое основание. Не всякому в руки даются муки. Стоит повернуть ручку транзистора, и ты понимаешь, что начались другие звуки.

Он не сразу порвал открытку про клубнику, которую на самом деле сперли из холодильника. Сначала он ее расщепил, содрал как апельсиновую шкурку картинку с чудовищем. Потом понял, что ему некуда ее наклеить, но все-таки отложил ее и засунул в очередную папку. Потом порвал на мелкие кусочки исписанный сзади текст и оттянув самолетную педаль, спустил клочки в унитаз. Потом подошел к полочке с чайными банками и стал трясти их одну за другой, но выяснилось, что во всех банках лишь канцелярские принадлежности. В пыльном углу, у самой стенки над газовой плиткой он обнаружил пакетик с остатками молотого кофе. Тоже полная деградация: молотый кофе. Разве, к примеру, он позволил бы себе выпить кофе с цикорием? А этот молотый кофе от кофе с цикорием, желудевого, или, к примеру, желудочного чая из липового цвета, ничем, по сути дела, не отличался. Не говоря уже о турочке. Турочку он так и не купил, считая, что вот-вот он с этого Рабиновича 33 съедет, а купить турочку, значит — обосноваться. Правда, пылилась в углу на полке американская кофеварка. Тамаевский подарок. Тамаев думал, что эта кофеварка послужит приятным напо-

минанием о днях с другой кофеваркой. Неправда. Все наоборот. И вообще прямые намеки скорее служат для того, чтобы забыть, а не для того, чтобы напомнить. Например, о кофеварке на Пушкинской улице напоминают скорее обычные спички, потому что сразу же вспоминаешь, что Четверган в свою домашнюю кофеварку вставлял спичку, в верхний клапан, чтобы увеличить давление пара, и, тем самым, выжать из кофе все, что можно. А у этой кофеварки был совершенно противоположный принцип. У нее был перкуляторный принцип. Это он узнал из инструкции, вложенной в коробку; инструкция была страшно подробная и включала в себя дикое количество английских технических терминов, из которых слово «абсорбция» казалось прямо каким-то семейно-интимным прозвищем, то есть, короче, инструкцию эту невозможно было прочесть без словаря. Дожили. Дожили до того, что без англо-русского словаря кофе не сварить. То есть получается, что слово кофеварка у тебя в уме не имеет никакого отношения к тому предмету, из которого здесь варят кофе. И не соединишь никак эти две вещи: слова, не имеющие отношения к жизни, которую ты ведешь, но не имеешь к ней никакого отношения. В нижнем сосуде кипела вода, пары поднимались в верхний шарообразный сосуд, проникали сквозь кофе и стекали каплями снова в нижний сосуд. И все это снова перекипало, проникало и стекало. В результате, когда Четверган в первый раз опробовал этот перекулятор, кофе вышел с отвратительным резиновым привкусом. Видимо, переходник надо прокипятить несколько раз, чтобы отбить привкус. Он взял осторожно нижний сосуд и стал открывать кран, чтобы наполнить сосуд водой из крана.

Именно так, поэтапно: не просто налил воды, а именно сначала медленно открыл кран. Потому что открывание крана в общежитии не означало автоматического появления водяной струи. Кран зашипел, один раз плюнул, потом потекла тонкая, утончающаяся струйка, как с губы взбешенного человека, а потом последняя капля звякнула о доньшко сосуда, кран скорбно насупился, скривив свой загнутый нос. И вдруг он услышал голос.

Четверган чуть не выронил сосуд. Голос был глуховатый, далекий, с польским акцентом, голос задыхающейся женщины, которая старается говорить нейтральным голосом, но как будто через подушку.

«Ну? Погляди! Если уж ты смотришь, то смотри прямо в глаза, чего ты отводишь взгляд?»

«Я не отвожу взгляд. Я могу смотреть, не моргая, хоть час», отозвался такой же сдавленный мужской голос,

как будто он находился на километровом расстоянии и усиливался в невидимых наушниках. Из крана начала медленно сочиться вода, и последних слов он не расслышал. Потом кран снова замолк, и тогда стало понятно, что именно из него раздавались голоса, а не из решетки вентиляции, не из коридора: нет, разговор шел из другой, возможно, очень далекой комнаты общежития, где тоже открыли кран и там тоже не текла вода. В открытый кран втекали голоса мужчины и женщины и вытекали вместо воды в стеклянный шар, который держал в руках Четверган.

«Ты напрасно думаешь, что окажешься виноватым. Ты тут не при чем. Это мне надо было раньше думать. Можешь считать, что это я тебя соблазнила», вздохнул женский голос. «Как у тебя расстегивается этот проклятый ремень? всю нашу совместную жизнь он занимался отгадыванием, что делается в голове у членов политбюро, а я должна была играть роль существа, которому на все наплевать. И сейчас он уверен, что у меня все продолжается в том же духе. Боже мой, ты можешь мне помочь снять с тебя трусы?»

«Мне щекотно. Просто у нас обоих одна и та же проблема: у тебя он, у меня она. А то, что мы были в одном и том же концентрационном лагере, лишь видимости близости. И нам просто хочется избавиться от чувства потери через подмену. Я сейчас кончу. Какие у тебя горячие руки».

«Мы просто боимся остаться одни. Дай мне чуть-чуть поднять ногу».

«Это просто невозможно. Одному остаться невозможно. Потому что невозможно не думать. Ты мне делаешь больно».

«Я вся взмокла».

Послышался далекий вздох, и тут кран, плюнув, вдруг стрельнул плотной струей желтоватой воды. Этот артиллерийский залп ударил прямым попаданием в изящный и нелепый баул перкулятора. Четверган держал его ослабевшими от подслушивания руками, и от удара водопроводной струи стеклянный шар вывернулся и вылетел из рук, и взлетел, и стукнул его по носу, и отскочил снова вверх. Нелепо, по-бабьи всплескивая руками, Четверган, подпрыгнув грузно, попытался схватить его на лету, но лишь нанес ему пощечину, как ребенок резиновому воздушному шару, и он снова взмыл в воздух, и началась игра в чехарду, и жуткий страх, что вот сейчас он приземлится на кафельный беспощадный пол, и конец кофейной машине, на которую были такие надежды, на ее перкуляторный принцип, на ее совершенно небывалую самогонную конструкцию. Был момент нелепой надежды: когда стеклянный сосуд, пролетев мимо земного

шара над макушкой лысого человека, мимо женщины в купальнике за рекой в тени деревьев, покатился по папкам с веревочками, по старым конвертам с марками, по телефонным книжкам и почтовым адресам, и Четверган, весь в пятнах от расплывавшейся водопроводной струи, стоял, сжимая и разжимая кулаки, с расширенными раскосыми глазами и пытался свести их в одну точку и загипнотизировать стеклянный шар кофеварки, остановить его на краю, или подвинуть слегка вон ту папку с веревочками, перевернуть ее острым углом вперед, чтобы остановить этот катящийся к концу символ старого разговора в новом варианте. Но шар, покачавшись на краю, свернулся на непробиваемый никаким гипнозом кафельный пол, и Четверган прикрыл глаза руками, как от вспышки света, когда раздался плотный, бутылочный звук. Когда он открыл глаза, то, что называлось секунду назад американской кофеваркой из двух шаров, функционирующей по перкуляторному принципу, превратилось в тающие на кафельном полу ледяные стеклышки-осколки. Потом, когда звон падения смолк в ушах, до него дошло урчание и шум как будто ливня за окном. Он повернулся и в два шага злостью усилием завернул и прикрыл водопад из раковины, где надрылся уже в полную силу конец диалога за четырьмя стенами общежития. Может быть, в эту ночь, перед отъездом Тамаева, когда вдребезги разлетелась перкуляторная кофеварка, после взорвавшегося желтоватой струей разговора из водопроводного крана, разговора, обратному тому, что происходило в его голове, но никак не доходило до шепота губ, может быть, с этого надо начинать летоисчисление начала нового конца в городе Ярмосоломине-Русалиме? Начало конца того письма, середина которого так и не была послана по почте. Не с этого ли дня он прекратил писать письма?

Намотав на деревянную палку старые трусы, он вытер слезящуюся под электрическим светом лужу воды вокруг раковины. Потом тряпкой сгреб в кучу осколки. Присев, как всегда безнадежно, попробовал приставить один осколок, явно от доньшка сосуда, к другому, и часть зубчатого края сходилась, но не хватало еще одной части, которая расплылась на мелкие стеклянные брызги; потом с легким испугом — как бы не порезать палец, схватил первый попавшийся плотный клочок бумаги, сгреб осколки, и высыпал их в помойное ведро. Теперь побыстрее забыть, зарыться с головой под одеяло и смотреть фильмы, которые, слава Богу, никогда не выйдут на широкий экран. Он хотел выбросить и плотный листик бумаги, который он использовал как совок, но, перевернув его, увидел, что это половинка кон-

верта с марками. Он встряхнул его хорошенько над помойным ведром, и сев на кушетку, стал разглаживать конверт на коленях. В углу было две марки: одна изображала «Последний день Помпеи» с картины Брюллова, а с другой глядел портрет Глинки. Могучая кучка. В этом сочетании двух марок должен быть тайный смысл. Разглядывать тайный смысл всего, что пришло по почте из Москвы, превратилось в болезненную привычку. Но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал. Кто там разделся перед тем, как шагнуть через границу Российской империи? А потом плюнул. Это Глинка плюнул, когда пароход отошел от русского порта и выплыл в открытое море. И тогда он плюнул в сторону берегов отчизны дальней. А Брюллов просто разделся догола, штаны снял и все с себя, а на другой стороне его уже ждали друзья со свежими подштанниками. Или это Брюллов плыл в Италию и плюнул, а Глинка пробирался через леса с Иваном Сусаниным и шел босиком по снегу. Нет, по снегу босиком шел Лев Николаевич Толстой. Совершенно в обратную сторону. Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь. Но смысла надписи зловещей на пограничном столбе никто из них не разгадал.

Вот так вот бормоча и разглаживая конверт с портретом Глинки, глядящего на последний день Помпеи, он вдруг увидел пятизначный номер с внутренней стороны. Он надорвал конверт, чтобы рассмотреть как следует. Он повернул внутреннюю сторону конверта к свету: пятизначный номер был выдавлен нагло. Правда, с внутренней стороны. Правда, кому в голову придет рассматривать конверт с внутренней стороны? Но, с другой стороны, пять цифр размером с хороший типографский штамп были выдавлены так, что их можно было заметить при определенном угле наклона к свету. В ту ночь он и стал один за другим раздирать конверты. Первое, что его поразило: номера не повторялись. Может быть, менялась печать с номером у одного цензора по месяцам? Сначала показалось, что есть тому подтверждение: некоторые конверты несли на себе, к примеру, номера от 51937 подряд до 51948, но потом все вдруг перескакивало и путалось. Может быть, менялись цензоры? Но сколько цензоров можно содержать в одном черном кабинете? Четыре? Сорок? Четыреста? Но не четыреста же тысяч?! Он сопоставлял, выписывал и сравнивал номера, он пытался обнаружить некоторую систему в этих номерах, но системы никакой не обнаруживалось. И тут пришла в голову другая мысль: а почему он так уверен, что это московский цензор? Все-таки слишком отчетливо и неприкрыто выдавлены номера. Может

быть, это здешняя, русалимская цензура? Тем более военное положение, война идет, враг не дремлет. Цензоров больше, чем эпистолянтов. Родина слышит, родина знает. Твои письма читаются. Ваши письма читаются. До нас все доходит. До вас все доходит. До вас дошло, где находится самый главный читатель ваших эпистолярных упражнений? Он ни здесь, ни там. Он сидит в черном кабинете, на самом центральном марсианском главпочтамте, и нумерует письма оттуда и отсюда: рядом с каждым номером выписывает цитаты, те, самые существенные, кто оттуда сюда кому что сказал, потом подшивает, все это укладывается в папки с веревочками, на веревочках ставится штамп «Дело № 1984»; и вообще непонятно, от кого мы здесь получаем письма? Где гарантия, что письма писала Нина, а не очередной графолог-психолог, который так подделывает почерк, интонации и контаминации, что нет никакой гарантии: а вдруг там уже давно никого нету? вдруг они там давно все исчезли? И этот странный разговор, через водопроводный кран: не подстроен ли он? Не подсаженные ли вокруг все лица, разговоры, поддельные письма? Чтобы спутать, сбить с толку? Где материальные свидетельства этой идеальной жизни? Где доказательство, что ты существуешь? Всплыл тамаевский бред про то, что здесь подставные лица, а у нас самих лица перемещенные, и теперь пойдешь разыскивать, как милость, кому бы рассказать, что ты когда-то был. Разыскивать, как милость, кому бы рассказать про ордена.

\* \* \*

Он складывал свои пожитки, готовясь отбыть на улицу Таити. И как всегда, в самый последний момент перед переходом в другую географическую жизнь, покидаемое насиженное место-гнездо, до этого момента столь часто и тяжело проклинаемое, вдруг показалось последним надежным прибежищем, впереди безлюдная дорога. И подлый вопрос «а может, плюнуть на все и остаться?» предательски кусал губы, пока руки, уже привычные к разлуке и расставанию, беспощадно сдирали тонкую незажившую шкуру еле выросшего домашнего тепла, сгребали похолодевшие вещички, свертывали, складывали и уминали под крышку чемоданного гроба. Будет похоронена еще одна несостоявшаяся жизнь. И в общем, неплохая жизнь. Четверган тщательно отобрал всю ту одежду, которая срослась с его телом еще в Москве: знаменитый пиджак, потершийся и не новый, брюки, суженные дудочкой по моде конца пятидесятых, протершаяся на воротнике рубаша, которая из-за своей полосатости и вытертости имела

тюремный вид — все это было сброшено в одну кучу и засунуто в большой полиэтиленовый мешок посреди комнаты. Только черный свитер с высоким горлом, который грел его ниниными руками еще в психбольнице, остался на нем, как удостоверение личности. Потом он аккуратно отодрал вместе с клейкой лентой плакат с земным шаром, с раздутым при помощи линзы Иерусалимом и фотографией Тамаева, за лысину которого этот земной шар зацепился, а тот на фотографии почесывал лысину, как будто спрашивая: «Что же с этим делать, а?» И на стене остался светлый квадрат с черным ободком пыли. Этот нетронутый квадрат присоединился к пустым траурным рамкам, оставшимся на стене от предыдущего жильца, хотя уже нельзя было сказать, кто тут был предыдущий, а кто последующий, поскольку последующий в конце концов изначально оказывался предыдущим, оставляя после себя траурные рамки прикрепленных на время фотографий жен, дочерей, друзей и родителей, которые всегда там, а не здесь. Сложив постельное белье, он присел на кушетку, задиравшую колени чуть ли не к голове, и огляделся. Оставалось уложить в отдельный чемодан папки с тесемочками, набитые письмами и, захлопнув крышку чемодана, идти дальше, душой бунтующей навеки присмирив. Это было настолько ясно, что в такой комнате с ключом, где бирка с номером на цепочке, никто не ждет, что это в конце концов стало восприниматься в качестве некоей избранности: ждешь только ты, а тебя уже никто на свете не ждет, потому что обратной дороги нет. Можно было вообще не выходить из этой гостиницы-самолета-общежития, если бы не налеты Тамаева. Оставалось писать письма и читать книжки. Четвергану нравилась эта окончательность, и он, привыкший к постоянной беготне вокруг него, находил особое удовольствие в этом полном круговороте гостиничной жизни на птичьих правах. Хорошо бы было заварить английский жасминового чаю и, усевшись писать письма, поглядывать вниз, на облака и крыши на холмах, делая вид, что они не настоящие, а те, о которых ты думал, сидя перед другим окном в Москве, как о зеленой до оскомины долине, устав от лжи и пудры. Внизу улыбалась неизвестно чему продавщица сосисок, раскаляющихся на железных штыках, и была она похожа на татарку Розу из продмага на Преображенке. Но даже если бы она не была ни на кого похожа, именно в этом ларьке он покупал сигареты «Нельсон-адмирал» без фильтра, похожие на болгарскую «Шипку», и всякий раз, когда он покупал очередные четыре пачки, владелица ларька говорила: «Что же вы так много курите? Вредно!» и все предлагала с фильтром,



но Четверган объяснял, что сигарета без фильтра хороша тем, что ей больше затягиваешься, а когда затягиваешься, то внешнее давление уравнивает внутреннее, и поэтому так полезно в здешнем климате курить, потому что здесь атмосферное давление подвержено резким изменениям. И каждый раз, глядя на портрет адмирала Нельсона на сигаретной коробке, где адмирал изображался с одной рукой и двумя глазами, продавщица спрашивала: «Всегда думала, что адмирал Нельсон одноглазый, как Моше Даян или Кутузов. А оказывается, он однорукий!» И Четверган отмечал, что, по его мнению, вроде тут вышла ошибка, поскольку адмирал Нельсон сначала потерял один глаз, а только потом руку, а здесь все наоборот, и лакировка действительности, в чем, впрочем, он не уверен; может, сначала он действительно стал однорукий, а уже потом одноглазый. Запасшись сигаретами, хорошо было спокойно сидеть, глядя на Наполеона, приближающегося к острову Св. Елены от предыдущего жилья, и писать письмо в Москву: «Ты не понимаешь, что пошли мои кирзовые, но только без меня. Неужели ты не понимаешь, что вы у меня все время перед глазами, и я не могу оторвать взгляда, и от этого пошевелиться не могу, а все гляжу в пространство. Так давайте ж успокоимся и разойдемся по домам. Но так больше нельзя жить с глазами, выращенными на затылке. Если ты не понимаешь, каково мне здесь, мне нечего тебе сказать. Если ты понимаешь, каково мне здесь, ты воплощение беспощадности, и мне снова нечего сказать. Вчера из холодильника украли коробку с клубникой. Не целую. Ты понимаешь?» Но они не понимали и правильно делали. Сейчас казалось, что это был самый счастливый период здешнего пребывания. Когда солнце переходило на его сторону и начинало бить в окно, он опускал шторы, набранные из белых металлических полосок, и ветер трепетал ими, как листвою, и полосатые тени сливались с тенями на плече Нины, стоявшей в купальнике у дачного забора. Заложив письмо в конверт, он шел вниз, в газетный ларек, чтобы купить марку, и всякий раз с прекрасно заведенной повторяемостью владелец ларька, торговавший одновременно жирными коричневыми тортами, делал вид, что не понимает вопроса, и вместо почтовых марок пытался всучить ему порнографический журнал «Марка», который, к счастью, выходил раз в месяц: продавец так грозно смотрел из-под очков, каждый раз убеждая Четвергана насчет «полезных советов для различного возраста», что Четверган уже привык рассматривать покупку «Марки» с дешевой порнографией как нагрузку к почтовым маркам. Зато владелец ларька разрешал ему приклеить марку прямо в лавке, а не на ветру у почтового

ящика, похожего на мусорную урну на марсианской одной ноге красного цвета; глядя, как Четверган, по-советски лизнув марку, прижимал ее кулаком к конверту, хозяин магазинчика всегда говорил: «А вам известно, что клей на марке делается из костей бродячих собак?» Четверган кивал головой, облизывая клапан конверта, и выйдя из магазинчика, кидал журнал «Марка» в почтовый ящик, а конверт с письмом откладывал до посещения главпочтамта.

\* \* \*

Он уже взялся за ручки чемодана, когда в дверь раздался стук. На пороге стояла старушка-американка, в руке у нее был пустой стакан:

«У меня воды в номере нет», сказала она. «Может, из вашего крана течет?»

«Из моего крана тоже не течет», сказал Четверган, выслушав ядовитое шипение воздуха из обезвоженного крана.

«Получается, нигде воды нет», сказала американка.

«Получается, что нигде», сказал Четверган.

«А вдруг во всем Иерусалиме нет воды?» И старуха испуганно прижала губы к краю стакана. «Я без воды боюсь остаться. Когда мы скрывались от нацистов, нас прятал поляк из Варшавы. В стенном шкафу. Стоишь за фанерной перегородкой и слышишь голоса, и ни чихнуть, ни кашлянуть. До водопроводного крана можно было добраться только раз в сутки: поляк стуком предупреждал. И тогда можно было выйти из стенного шкафа. А потом поляк сбежал от Красной армии. А я все стою в шкафу и жду, когда он постучит, чтобы выйти и воды напиться. Вторые сутки пошли, третьи, а стука все не слышно. Через четыре дня я из шкафа сама выпала в обмороке. Кругом пусто, все сбежали. И тогда мне показалось, что всех убили, всех до одного, и только я одна осталась на земле. Без воды. Но у вас ведь есть вода. Чего же вы говорите, что у вас воды нет?»

Четверган покрутил бесполезный крантик водопровода и развел руками. От этих разговоров у него в горле тоже пересохло. Американка покачала головой, и вдруг, по-девчачьи привстав на цыпочки, указала рукой за спину Четвергана:

«Чайник», сказала она. «Чайник с погнутым носиком». Он действительно забыл про чайник, хотя помнил, что уходя, вылил остатки воды в раковину. Четверган поглядел на американку подозрительно, потом взглянул на чайник и взял его легким движением, чтобы потрясти им, пустым сосудом

в воздухе. Из-под крышки плеснуло ручьем, и он облил себе штаны.

«Странно», сказал Четверган. «Если хотите, можете чайник взять себе. Я все равно отсюда сейчас удаляюсь. Я в Москве оставил замечательный фарфоровый чайник. С отбитым, правда, носиком, но, может, за этот отбитый носик я его и любил».

«А я думала, в России пьют чай только из самовара. А из чего вы пили чай в Варшаве? У этого поляка, который меня в шкафу держал, у него тоже был чайник с погнутым носиком».

«В Варшаве? Кто вам сказал, что я был в Варшаве? Ни в Варшаве, ни под Варшавой я никогда не был. Я, может, был над Варшавой: пролетал на советском самолете из Москвы, на том самолете, который обратно в Москву не возвращается. Ну, мне пора», сказал он и взялся за чемоданы.

«А потом тот поляк, который меня в шкафу держал, служил капо в Аушвице, куда я тоже попала. Бывают же совпадения!» Старуха стояла на пороге с чайником и чего-то выжидала.

«Утром включают воду, и вы этот чайник сможете выкинуть. Он не будет вам напоминать о неприятных совпадениях. Спокойной ночи», и Четверган закрыл дверь у нее перед носом.

В этом нелепом визите чувствовалась настойчивость и тайное желание докопаться, и кроме того, откуда в чайнике оказалась вода, если Четверган отчетливо помнил, как опустошил чайник до конца в последнюю заварку чая? Он взялся за ручки чемоданов, когда снова два голоса, уже ставшие старыми знакомыми, заговорили из водопроводного крана, как в испорченном телефоне, подключившемся к чужому разговору:

«Я жалею, что я тебе рассказала об этой встрече. Для меня он остался там, даже если он ходит под боком здесь. Пойми, мне важно было все это, когда я валялась на нарах разбитая и уничтоженная, и тогда разгадка казалась новой надеждой. Только там мне важно было: он ударил меня из ненависти ко мне или ради моего спасения. Я больше не могу играть роль этой идиотской старухи, и еще губы кривить этим исковерканным языком. Это настоящее унижение».

«Но ведь ты не сказала ни слова лжи о самой себе. А что касается парика и грима — ты профессиональная актриса. Отнесись к этому, как к театральной импровизации».

«А если это все-таки не он? И, получается, я издевалась над этим человеком, который бежал сюда, как и я, и ищет покоя, как и я. А я исподтишка кривляюсь перед ним

и копаюсь в его прошлом? И я почти уверена, что это не он. Я не могу объяснить, в чем тут дело, но у него глаза не те. Я забыла что-то и не могу вспомнить про его глаза». И тут снова струя желтой воды брызнула в лицо Четвергану. Мутная вода. Не дожидаясь еще одной возможности услышать эти два голоса, намекающие на то, о чем Четвергану не хотелось догадываться, он завинтил кран, взял чемодан и в последний раз закрыл дверь этой комнаты в общежитии.

В который раз он нес чемодан вниз по чужим лестницам. И вновь в чемодане были папки с тесемочками, набитые письмами с того света. И дорога эта началась не нами, и не нами кончится, и когда однажды зимней ранью он шел к посланнику иной державы, чтобы тот переслал эти папки с тесемочками по тайным каналам на имя турецкого султана от имени всех запорожских казаков, то чемодан вот так же бил по ногам, и ломило в плече, и трещали позвонки от тяжести, но надо было делать вид, что чемодан у тебя в руках случайно, что он пуст и невесом, чтобы милиционер, стоявший под аркой у подъезда посланника, не заподозрил, что чемодан набит подметными письмами. А почему «подметное»? Что такое «подметное» письмо? то, которое подметано под подкладку пиджака, или то, которое истоптано подметками чужого сапога? Или то, которое метнули, подметнули под дверь, под железный занавес, а сами остались? Когда он шел по кривому переулку к арке дома посланника с розовым от мороза милиционером, и вдруг повалил снег, и с каждым шагом чемодан становился все тяжелее и тяжелее, а он проходил сквозь хлопья снега до глаз завернутый в шарф, он, как в детстве, еще раз почувствовал свое сходство с человеком-невидимкой: когда тот с чемоданом, набитым бутылочками с разными химическими смесями, шел сквозь колючую метель в поисках ночлега, нахлобучив на глаза цилиндр и закутавшись шарфом до носа, но если бы в этот момент на него напали и сорвали бы его одежду, то под ней ничего бы не оказалось. И когда он нес чемодан посланнику, он уже превратился в невидимку, в сплошную видимость для милиционера и для остающейся позади жизни. Весь он сосредоточился в этом чемодане. И за десять шагов шла Нина, делая вид, что его не замечает: она двигалась позади на тот случай, если милиционер загородит проход, и чемодан попадет в руки к нему, а не к турецкому султану, и тогда надо будет звонить запорожским казакам и трубить тревогу. Нина двигалась за спиной, как свидетельница того, что человек-невидимка существует. Но милиционер тоже ничего не заметил, и папки с тесемочками перекочевали по тайной почте в неизвестном направлении. И до того, как он их получил обратно,

ему казалось, что он переправил себя самого по почте, что в Москве с этого момента его не стало, что ходил по улице пиджак, а под ним пустота. Сейчас, когда он снова тащил все тот же чемодан по темной лестнице с жужжащими холодильниками, стало ясно, что в этих папках давно записана вся его жизнь, оставшаяся позади, за спиной: папки улетели по дипломатической почте, но Нина, его шедевр и его жизнь, осталась за железной дверью. Он взял с собой комментарии и оставил за собой жизнь. И поэтому он снова был человеком-невидимкой, смысл жизни которого давно превратился в постоянную попытку скрыть, что он невидим. Снова впереди короткая перебежка из одной ночлежки в другую, снова надо будет скрывать, что тебя не существует, присоединяясь к очередной мести на пути к очередным неразумным хазарам. Мне отмщение и аз воздам, а воз и ныне там, и свобода нас встретит радостно у гробового входа, и храня гордое терпенье, гробовая змея будет слушать про минувшие дни и битвы, где вместе рубились они с самими собой, потому что незримый хранитель могучему дан. Могут чемодан?

Рядом с окошком администрации висело большое объявление по-русски: «Товарищи! Желаящие принять участие в поездке к Мертвому морю, впишите свою фамилию ниже». Слово «товарищи» было подчеркнуто кем-то, а сбоку авто-ручкой приписано: «Тамбовский волк тебе товарищ!».

## 6

«так и не поехала. Может из-за этого сегодня и произошел весьма неприятный инцидент, то есть ничего не произошло, вполне случайное совпадение, но на меня это неприятно подействовало и еще раз напомнило, что все может произойти и что наша встреча может перенестись в вечность, поскольку я в один прекрасный момент, как ты говоришь, могу отбыть в совершенно обратном по отношению к тебе направлении. Я сейчас немного поостыла, сижу в твоём кресле, которое я переставила прямо к окну, сварила себе кофе в турочке без ручки, пью его в одиночестве и гляжу на ворон, которые сейчас кружат над трубами резинового завода, и это значит, что солнце скоро закатится с другой стороны дома, потому что вороны слетаются на ночевку. Или галки. Никогда не знала, какая разница, то есть, как их отличить, галок от ворон, они вроде кричат по-разному, то есть вороны каркают,

а галки кричат. Вчера пробовала китайский жасминовый чай, который ты прислал, и большей дрянни я на свете никогда не глотала: настоящий разогретый одеколон, а столько было торжественности, и все твои друзья четверганисты соревновались в преданности ритуалу и обвиняли друг друга в том, что чайник перекипел, и что это уже не белый ключ, а настоящий заварной кипяток, и что в результате пойдут дубильные вещества, но кто-то сказал, что доводить кипение воды лишь до белого ключа — точка зрения, разоблаченная, как шарлатанская. Это Ваня сказал. На что ему было отвечено, что был бы здесь Четверган, он бы тебе ответил. А Четвергана нет. Но ты можешь быть спокоен: все твои десять чайных заповедей соблюдаются по крайней мере в том смысле, что если кто-то их нарушает, на него сразу набрасываются с проклятиями и грозят остракизмом. Кстати, можно ли у вас там достать колбасу? Тут ходят слухи, что у вас не бывает копченой колбасы, правда ли это? И вообще, написал бы ты нормальное бытовое письмо, а то я действительно перестаю понимать, что там с тобой происходит, а твои теперешние письма — это, конечно, шедевр эпистолярного жанра и предмет всеобщих дискуссий, но совершенно непонятно, на что ты живешь, где питаешься и спишь? Правда ли, что Тамаев получил три миллиона и триста тысяч на фильм, выписал из Америки знаменитую кинозвезду, и Бен-Гурион предоставил ему для съемок личный самолет? Но я этим слухам не верю, просто потому что вчера рассматривала на карте впервые в жизни твое новое государство и пришла к выводу, что при таких размерах нет никакой нужды в личном самолете, потому что от одного конца Москвы до другого можно и пешком пройти, если, конечно, поднатужиться. И почему ты не съезжаешь с этого общежития на этой улице Рабиновича? Я, правда, забыла, что ты не можешь жить в тишине и одиночестве: тебе обязательно должен кто-то мешать, кому можно противоречить, например, Тамаев.

Ладно, я не буду тебя мучить конкретными вопросами, тем более, что ты в своих последних письмах пишешь про меня приподнято в третьем лице, в смысле нас и вас и космоса, так что, может, тебе теперь не слишком важна моя конкретная жизнь, а мои конкретные вопросы тем более. И вообще, твои письма ко мне, это, скорее, письма ко всей Москве, что, впрочем, было и всегда. Хорошо бы еще и мне проникнуться этой идеей самоостранения. В результате чтения всех твоих писем я, по-моему, раздвоилась в глазах окружающих: я как я, с которой пьют, беседуют, исповедуются, поскольку считают меня заместителем тебя, и я, как некая Она, к которой просто эти письма адресованы. Но я в собственных

глазах воспринимаю себя вполне непосредственно, и этот ОНАнизм, прости за каламбур, меня не очень чтобы удовлетворяет. Хотя, чувствую, вы меня скоро все воспитаете. Тем более, некоторые сдвиги в этом направлении уже налицо: вчера за китайским чаем я продемонстрировала твои последние три письма двухмесячной давности, и пока их читали вслух, поймала себя на том, что в какой-то полной отключке слушаю про себя, как будто про кого-то еще, и смеялась вместе со всеми, забыв, что ведь это про меня. Я надеюсь, что у тебя изгладился мой плачущий образ, и учти, что я никогда не плачу, я настолько затабуировала все то, что вызывает у меня слезы, что, мне кажется, я начинаю забывать, как ты уезжал, и вообще, что тебя нет. Вот именно: я забываю, что тебя нет. То есть тебя нет сейчас, но через час ты позвонишь, я пожарю тебе колбасы и сварю кофе. И в результате я начинаю забывать, причем именно детали, мелочи, именно самое важное, те детали, без которых невозможно вспомнить самое важное, о чем я себе не позволяю вспоминать все это время, чтобы не заплакать, потому что если я позволю себе заплакать, то уже не смогу остановиться никогда. И меня вдруг охватывает страх, что, забывая эти мелочи, я забываю все окончательно, Бог мой, так можно все на свете забыть и никогда не вспомнить, как будто ничего и не было, и вспоминать я тоже не могу. Так что же делать? Конечно, я знаю твой ответ, но ты идеализируешь ситуацию. Ты прекрасно понимаешь, что отъезд — это твоя идея, а не моя, и мне с этой идеей делать совершенно нечего, и я готова была ради тебя на все, но только не на то, к чему я совершенно сбоку-с-припеку. Я опять, наверное, не то говорю. Но ты выдумал какое-то противопоставление из Москвы и Иерусалима, а жизнь, на самом деле, гораздо проще и невыносимее, и бессмысленнее, и скучнее, и беспощаднее.

Так вот, ты просил присылать всякую ерунду; то, что сегодня случилось, началось прямо с утра. То есть, все не так, и все раздражало. Вот тебе приятно там на Рабиновиче 33 воображать, что мы тут все вместе только и делаем, что пьем кофе в гостинице «Москва», и каждый день все четыре недели сплошные дни рождения; а ты не видел меня, когда я с утра, в набитом до отказа автобусе, когда еще темно на улице и изморозь жуткая, еду в лабораторию. И ты, наверное, уже забыл, представляя себе жизнь в сени российских пенатов и розовых закатов, каково мне видеть рожи моих сотрудников над колбами и пробирками: я вхожу, а они на меня смотрят. И не думай, что смотрят, как на врага народа, нет, они на меня смотрят, как будто я у них что-то украла, как будто это у них должен быть бывший лю-

бровник за границей и присылать им эти джинсы и джерси. Впрочем, джерси теперь уже не модно, но джинсы все еще хорошо идут, и вот я в джинсах, а они в москвошвеевских юбках, и они мне простить этого не могут. Впрочем, чего я тебе все это излагаю, ты это сам прекрасно знаешь, но ты никогда в жизни не отсиживал ежедневно часы в учреждении, у тебя всегда было свободное расписание. Я специально для тебя переписала, какие они ведут разговоры, может, ты вставишь куда, ты же большой специалист вставлять что куда, в нужное место и всегда некстати. Только, пожалуйста, не вздумай пересылать это письмо обратно в Москву, потому что ты имеешь обыкновение делать из меня дуру, а там ведь не поймут, что это я застенографировала разговор своих сотрудниц. У нас сейчас на этаже делают ремонт, и в результате всех переместили в одну большую комнату, духота страшная, толкучка, на этой неделе кто-то опрокинул бутылку с серной кислотой на бухгалтерскую ведомость, теперь неизвестно, что будет с зарплатой. А бухгалтерша, Фауста Моисеевна, и в ус не дует, так что мне теперь придется, наверное, сдавать в ломбард бабушкины часы, если ты, конечно, чего-нибудь не пришлешь. Так вот, начинается все обычно с того, что кто-то возвращается из буфета:

«Чего это вы ватрушку жуеете? Неужто у нас сегодня в буфете ватрушки дают?» спрашивает кадровичка Владлена Лениновна. «И луком от вас, Фауста Моисеевна, что-то несет. Неужто в нашем буфетике сегодня дают зеленый салатик?»

«А мне, Фауста Моисеевна, врач запретил всякую химию. Вот морковь, или свеклу там — три и ешь, три себе и ешь на здоровье. С морковкой, правда, временный дефицит. Мы, женщины, от быта однако не освобождены».

«А я, когда захочу, тогда и ем: чего себя насиловать. Если у меня организм крахмалу требует — значит организм такой, я его и ем, крахмал. И насчет бытовой загруженности, еще такое замечание: пожарьте себе быстренько котлетки — и глядите телевизор. Ну, конечно, мясо проверить. Так ведь это же зарядка. Врачи теперь рекомендуют трусцу».

«А я себе трусы в «Детском мире» покупаю. Это и дешево, и мужчине нравится».

«Это потому что вы на особой диете, вот вам и можно в «Детский мир» за трусами шастать. А я в питании себе не отказываю, если организм требует. Вчера углядела себе на платьице — такая сирень, такая сирень, знаете, ну прямо как ваше летнее».

«У нас, конечно, нет таких заграничностей, как у некото-



рых», сказала Владлена Лениновна и поглядела на меня. И все они повернулись и уставились своими рожками в шестимесячной завивке. У меня из рук выпала колба с сероводородом для эксперимента. В результате вонь была страшная, но они все сидят, как ни в чем не бывало, только дышат через рот. Только эта Фауста вдруг спрашивает Владлену Лениновну:

«Сколько, Владленочка Лениновна, до конца?»

«Счастливые бухгалтеры часов не наблюдают, как сказал Пушкин», отрезала Владленочка. Господи, я уже на шестой странице и все никак не кончу. То есть все никак не доберусь до сути дела, как будто я все тебе пересказываю на кухне за кофе. Не стоит ли тебе послать кофе, потому что здесь все утверждают, что, в отличие от чая, кофе на Западе стоит бешеных денег, правда ли это, что, впрочем, не важно, я просто хочу вытянуть из тебя побольше бытовых подробностей. А все эти разговоры на работе пересказываю, чтобы тебе стало понятно, в какой обстановке я там нахожусь, я сегодня не нашла даже уголка, чтобы приткнуться и прочесть твое письмо, которое вытащила из ящика, когда выходила из дома.

Я вообще себе места не находила весь день. Вышла с работы, солнышко, и снег уже весь растаял, а на мне было зимнее пальто, знаешь, старое, черное с башлыком, я его и так ненавижу, а тут еще солнышко припекает, и я чувствовала себя, как колхозник в тулупе в Москве за продуктами в середине лета, короче, я чувствовала себя жутко потерянной, и конверт с твоим письмом измялся, пока я его то и дело вынимала из сумочки, всякий раз, когда мне казалось, что вот тут присяду и прочту, и все появлялись какие-то типы, а мне хотелось это письмо прочесть в нормальном состоянии, а не когда кто-то толкает тебя под локоть. В результате все маршруты перепутала и вместо того, чтобы выпить кофе в «Москве», в кафетерии, а потом сесть в метро, поплелась почему-то на Неглинную. Потом стала есть жареные пирожки с мясом на углу, рядом с «Дружбой». Сначала один съела, потом поняла, что жутко голодная, и взяла еще один, потому что они там, как всегда, горячие и хрустящие, и хотя с моей печенью, ты знаешь, решила, как Владлена Лениновна, «если у меня организм крахмалу требует, я его и ем, крахмал». В результате я съела четыре пирожка и, естественно, вспомнила твои указания про то, что «жареный пирожок, он предназначен служить стимулом, чтоб его, после съедания, запить соком». Я ведь все твои пищевые табу помню наизусть, как будто твоя память раздвоилась, и один экземпляр засунули мне в черепную коробку. Я все помню с нашей первой встречи, а все, что было до тебя, и

все, что случилось в ночь твоего отъезда, все время ускользает. Но все, что я помню за все наши с тобой семь лет, все это, когда вспомнишь, какое-то прекрасное нагромождение несусветной ерунды. Мы же в городе в первый раз и встретились на этом углу рядом с «Дружбой», и я, как дура, сказала, что я голодная, и еще, как дура, упомянула насчет того, что можно зайти в шашлычную и съесть купаты. И тогда ты и закатил монолог насчет пищевых табу, сказав, что купаты это отвратительнее, чем селедка, и что ты никогда их есть не будешь, потому что ты не ешь ничего, чего однажды уже не попробовал. Потом ты припелл ни к селу, ни к городу холодец, который ты упорно называл студнем, и сказал, что эти дрожащие тела символизируют собой партийное руководство, и так же глупы, как ношение перчаток: курить в них нельзя, а чтобы газету развернуть, их нужно стягивать, путаясь, как цирковой клоун. Когда же я робко предложила остановиться на сосисках, ты заявил, что это исключено, поскольку в столовых дают вареные сосиски, а правильный человек вареную сосиску в рот не возьмет, сосиску надо есть сырой, и брать ее руками, а не вилкой, и вообще регулярно есть вредно, потому что растягивается желудок и трудно перекинуться обратно на нормальный голодный режим, и что правильный человек, он схватит по паре пирожков с мясом, а потом рванет стакан соку, поскольку «жареный пирожок, он предназначен служить стимулом, чтоб его, после съедения, запивали соком». Я тогда в первый раз была напугана твоей категоричностью, мне это все показалось странным и даже несколько раздражающим, но потом я поняла, что при такой беспорядочной жизни, которую ты ведешь, тебе обязательно нужно выдумать некие сакраментальные табу и тотемы, чтобы вообще не разлететься на поворотах. Где ты, кстати, стираешь белье, и кто тебе штопает носки? Впрочем, ты ведь за цельность и всегда провозглашал, что если душа в дырах, нечего штопать носки. Хотя я забыла, что у вас все одноразового пользования: поносят и выкидывают. Или это не так? Чтобы «рвануть чего-нибудь запить» я направилась на другую сторону в «Соки — воды», но там было закрыто на ремонт: наверху, в редакции журнала «Недра» произошло наводнение и залило все «Соки — воды» сверху донизу, и директор закрыл магазин, чтобы под это дело списать побольше консервных банок. Зато я заглянула в магазин географических карт, и там, на витрине, из карты мира следует, что Иерусалим прямо перпендикулярно под Москвой, как наша дача. Чего я тебе все это пишу? Ты, конечно, волен наказывать меня презреньем, но только, пожалуйста, не цитируй это письмо в своих почтовых

отправлениях в Москву, ты имеешь такую привычку. Ты же не знаешь, как я перед тобой дрожала, и каждое слово мне казалось сакраментальным, все, что ты нес про сосиски и перчатки. И только потом, когда я уже перестала воспринимать это как экзотику, до меня дошло, что в этих тотемах и табу есть высокий смысл, потому что без них почему-то нет никакого разговора, а только сплошная толкучка в автобусе и тетки в химических колбах. Ты вообще все как-то умеешь объяснять, а я ничего объяснить не могу, и мне с тобой было все понятно, а без тебя мне ничего не понятно, и я не могу утром подняться с постели, просто потому что не могу пить кофе, я ведь привыкла, что утром за кофе ты объяснишь всю ерунду, что произошла вчера, так, что это будет не ерунда, а как будто загадочная история. У меня вообще сейчас, когда я сижу в твоём кресле, такое впечатление, что у тебя всегда сначала была идея, а потом ты под нее подбирал факты, и вообще сначала придумывал слова, а потом действовал так, чтобы это не входило в противоречие. И, по-моему, все было в порядке с таким образом жизни, когда ты был здесь, а там, наверное, так нельзя жить, или это не так? Но я сейчас ничем не могу тебе помочь, потому что единственное, что я могла делать, это уметь смотреть тебе в глаза, чтобы помочь тебе найти в моих глазах отражение ответа на тот вопрос, который ты задал сам себе.

У меня даже горло пересохло, но «Соки — воды» были закрыты, и я решила зайти в «Дружбу», но даже не только потому, что «Соки — воды» были закрыты, а потому что однажды ты про это заведение рассказывал и назвал его «трактиром с грязнотцой», и если раньше я просто проходила мимо этого заведения, то после этого мне стало казаться, что в этом заведении есть нечто увлекательно-сермяжное и Достоевское, а на самом деле просто освященное твоим касанием, не говоря уже о том, что, кажется, здесь тебе разбили голову при загадочных обстоятельствах? Почему ты мне об этом никогда не рассказывал, у тебя был жуткий вид тогда, волосы слиплись от крови, что там произошло? Для меня это заведение, видно, так и останется заколдованным местом, потому что и сегодня вовнутрь я так и не проникла. Это все в ходе невезения в этот день. Только я толкнула эту стеклянную дверь, я эти двери ненавижу, потому что всегда непонятно, то ли ты ее толкнешь, то ли она тебя трахнет сзади по затылку, только я толкнула ее плечом, на меня с двух ступенек свалился жуткий тип, рожа как будто кипятком обварена и в куцавейке. Или, может, родимое пятно через все лицо, или это с войны, но даже глаз не видно, невозможно разобрать, слепой или просто глазки под кожей.

И прямо на меня наступает. Я влево, и он влево. Я вправо, и он вправо. Я хотела его обойти, но он мне вход загородил и сказал: «Дай гривенник». Я стала рыться в сумочке, но гривенника у меня не оказалось, и я дала ему двадцать копеек. Он двугривенный взял, я хотела пройти, но он снова загородил дорогу, и сказал: «Я же гривенник просил, дай гривенник». Я сказала, что у меня нет гривенника, а он говорит: «Двугривенный дала, а гривенника жалко?» Я сказала, что не понимаю, что ему от меня надо, и хотела пройти, но он все время загораживал дорогу, и, как назло, никто больше не входил в это заведение, как будто я одна туда стремилась попасть, а вокруг никого нет, хотя толпы народа идут мимо, а обратиться не к кому, не буду же я звать милиционера, и мне ничего не оставалось, как просто повернуться и тащиться дальше с пересохшим горлом,»

\* \* \*

Четверган снова подъехал к окну и с нелепой надеждой поднял жалюзи, надеясь увидеть четыре ступеньки заведения «Дружба». Пейзаж за окном, если и напоминал Москву, то исключительно своим сходством с жареным пирожком. Каждый сам выбирает себе окно, из которого он глядит. Более того, каждый сам выбирает себе то, что он видит, чего ищет глазами и где становится слепым. За окном сияла тишина: за то время, пока, сидя в кухне напротив кошачьей физиономии, он вспоминал детективную киножизнь на Рабиновича 33, небо за окном дома на улице Таити еще больше побелело, раздутое зноем. Как будто стерли ластиком и в некоторых местах жесткая стирающая резинка прорвала бумагу. Как будто раньше на ней было сырое небо в тучах, и вороны с галками кричали на закате, кружа над трубами резинового завода напротив через речку, где, если перейти через Кузнецкий мост, где вечные французы, откуда моды к нам, и авторы, и музы — губители карманов и сердец, то можно подойти к заведению «Дружба», а на углу продаются жареные пирожки, которые нечем запить. Картина была, а потом стерли ластиком. Остались рваные очертания, проступил фон — контуры мечети в ослепшем от солнца воздухе, жесть скалы; все можно было угадать лишь по контурам, которые становились видимыми лишь при мгновенном перемещении воздуха, когда луч искажался пыльной взвесью и на мгновение обозначал тенью контур плоского предмета. Все молчало теперь за окном, молчал муэдзин, и спираль звука больше не вонзалась в ухо, и когда Четверган чуть высунулся и заглянул вниз, он увидел, что слепой сосед,

профессиональный нищий и скандалист, тоже замолк. Он сидел внизу, склонив голову с черной нашлепкой ермолки на выбритом шаре головы, покрытый пылью, похожий на груды щебня. Все, что осталось от только что прочитанной московской картинки. Каждое поколение рисует свою картинку на этом выжженном листе ватмана, а потом стирает ее собственными руками, продирая бумагу, чтобы потом снова чертить и драть острым пером. И все-таки что-то менялось и наслаивалось, и расщеплялось, и приклеивалось, но с опозданием, и предметы здесь появлялись на твоём горизонте, и люди тоже появлялись, как будто закинутые вместе с письмом, с разговором о них там, появлялись с опозданием на время дохождения письма из Москвы в Иерусалим. И этот слепой нищий — лишь выпавший из московского письма урод со ступенек «Дружбы», но только испещренный почтовыми штампами. Тонкие вихри песка стали куриться вокруг сидящей груды мяса и костей, и эти маленькие вихри указывали на начало ветра, направление которого пока оставалось неизвестным. Но небо по краям надулось. Возможно, что все наоборот, что это лишь переводная картинка, нет, пленка с картинкой, сквозь нее что-то просвечивает, она наклеена давно, уголки стали отставать, надо потянуть за уголок, и под ней окажется другая страна, улица, город и век. Он стал читать дальше старое письмо:

«и только отошла, вдруг слышу за спиной опять: «дай гривенник». Я оглянулась и вижу, что этот, не то слепой, не то просто побродяжка все стоит на ступеньках и говорит в пустоту «дай гривенник», то есть ни у кого не просит, или одновременно у всех, или как будто к невидимому прохожему обращается. Это значит, что он вовсе не у меня просил гривенник, а вообще. И это я сама как бы напросилась ответить на его попрошайничество в никуда, просто так случилось, что посчитала, что это он ко мне обращается, а на самом деле, он, может, у самого себя гривенник просит. Мне в тот момент показалось, что я уже с этим однажды сталкивалась и, когда я проходила мимо твоего переулка, обогнув аполлонову четверку на крыше Большого театра, до меня дошло, что ты всегда вел себя очень сходно с этим побродяжкой на ступеньках «Дружбы». У тебя всегда была некая идеологическая мания, ни к кому не привязанная, но страдал от этого каждый, кто привязывался к тебе, потому что у него было впечатление, что ты именно к нему обращаешься, а ты в воздух обращался. Ты всегда смотрел на меня как будто сбоку, я всегда глядела на тебя чуть снизу вверх. И мне всегда было жутко трудно преодолеть эту невидимую оболочку, какое-то сопротивление воздуха, как будто кругом ураган, стена вихря, а ты внутри, и даже

волосы у тебя на голове не шевелятся. Ты всегда был для меня как любимый иностранный язык: я все твои слова должна была всегда сверять по словарю, потому что никогда не была уверена в их значении. Ты для меня всегда был любимой другой страной, и вот сейчас, когда действительно переехал в другую страну, откуда не возвращаются, откуда нет гостей, я как будто спокойнее могу все это тебе объяснить, потому что теперь понимаю, на каком я свете, а раньше я просто не понимала, какое у меня гражданство, и где я прописана. А сейчас нас как будто уравнили в гражданских правах. И сегодня я проходила мимо бывшего посольства твоей державы. Обогнула аполлонову четверку и вошла в Копьевский переулок, с дрожью в коленках — во двор под арку.

Ты знаешь, по улицам тоже не оченьходишь, потому что все время оказываюсь на улицах, где мы с тобой все время проходили, и снова получается так, что я живу не своей жизнью, а какой-то половинчатой, то есть наполовину воспоминаниями, которые не здесь; ведь вторая половина, то есть ты, находится вне. Вот я проходила по Камергерскому переулку, когда шла к телеграфу-почтамту, черт меня дернул задрать голову, я поглядела снова на барельеф пловца над входом в Художественный и вспомнила, как мы в первую нашу встречу проходили здесь, и ты мне показал этого каменного пловца и сказал: «Куда ж нам плыть?» Почему я всю жизнь без тебя проходила здесь сорок тысяч раз и ни разу не обратила внимания? А у тебя сразу все на улице играло одновременно: ты еще показал на театральную афишу с «На дне» Горького и сказал: «Дядя без племянников — не дядя. В отличие от других мыслей, эта мысль Горького мне кажется своевременной». До меня только когда ты получил вызов из Иерусалима, по которому выходило — что ты племянник, все это дошло: и про пловца, и про дядю, но даже когда я не понимала, на что ты намекаешь, все казалось страшно значительным, а сейчас я в эту болную весеннюю погоду вспоминала все это, как звон рюмок на поминках: и слышать невозможно, и чокнуться нельзя отказаться. В тот раз, когда мы проходили по этому переулку, и ты мне рассказывал про то, что в этом доме в прошлом веке собиралось «общество Любомудров» по четвергам под предводительством Одоевского, а его комната была набита склянками, банками, книгами, рукописями, ступками, ретортами, и еще к тому же скелет настоящий с голым черепом и надписью «осмеливайся познавать», и ты сказал, что если бы не декабристы, которые в конце концов разбудили сионистов, то не было бы никакого отъезда, Любомудры остались бы на своем месте и продол-

жали бы осмеливаться познавать, а не бежать сломя голову, правильно я все пересказываю? и когда я потом вошла впервые в твою комнату, у меня и мелькнула мысль, что ты живешь на самом деле цитатами из чужой жизни или чужих книг, все время забывая о себе; вот ты не понял, почему я тогда заплакала, в тот раз: а мне вдруг стало очень жалко, но как всегда не тебя, а себя, потому что я вдруг поняла, что никогда моя жизнь не станет для тебя цитатой, по которой ты живешь. Зато моя жизнь превратилась в цитату из твоих писем, которые я таскаю в сумочке.

А погода была все та же, как и много лет назад, и снег тоже по краешкам ступенек, такой хрупкий, с весенней корочкой, но все-таки можно слепить снежок, только нет окна, куда его можно запулить, чтобы предупредить тебя, что я стою внизу. Вот ты, наверное, не помнишь, как я однажды ворвалась к тебе ночью, это было четыре года назад, когда ты лежал почти в обмороке. Так как ты всегда настаиваешь на том, что у тебя обмороков не бывает, ты должен помнить, что у тебя тогда брюки разъехались по шву, ты в полубреду раза четыре объяснял, что ты нагнулся в метро за упавшим пятаком, а голова у тебя кружилась, и поэтому ты не нагнулся, а присел на корточки, и у тебя брюки разъехались сзади. Понимаешь, это, может быть, было в первый и последний раз, когда я почувствовала, что ты без меня не можешь обойтись, что ты мой, целиком, безоружный, что вовсе не значит, что ты сдался, но ты был совершенно свой и ничей, не такой как обычно, когда у тебя в голове идея, как будто пропеллер, который несет тебя над всеми и мимо всех, то есть мимо меня в первую очередь; или же когда ты выпендриваешься и изгиляешься (господи, от кого я поднабралась таких слов? от тебя же!), чтобы завоевать взгляд очередного собеседника. Кстати, в ту ночь у тебя в логовище сидел твой главный лучший враг, я уж не знаю, каким прозвищем называть Тутова в письмах, пусть читают, ведь он теперь там; он, как всегда, сидел и скорбно вздыхал, вместо того, чтобы позвонить мне, еще кому-нибудь, в скорую помощь, наконец, самому принести лекарства, которые ты правда в рот не берешь, но хотя бы еды принести. Как он там? все считает свои звезды, мучаясь от того, что все они не у него на лацкане пиджака заместо орденов? Все так же ли Тутов ходит за тобой с козлиным свитком и записывает все, чего ты не говорил? Я, конечно, желчная женщина, скажешь ты, но не могу я вынести воспоминания о его бесконечных жалобах на то, что он не может никого по-настоящему полюбить, потому что всякая любовь на свете кончается, а тогда чего начинать

вообще, и если он никого не любит, почему его никто не полюбит, бескорыстно, то есть, когда сам он никого на свете не любит. Но, видимо, тебя он все-таки любит, если ты предпочел меня ему, ну хорошо, не предпочел; но в результате, ты с ним, а я без тебя. И только в ту ночь ты был со мной, может быть, просто потому, что у тебя уже не было сил охмурять его, как ты обычно делаешь, сразу же забывая обо мне, и откуда у тебя берется остроумие, если за четыре минуты до этого, когда мы были одни, ты хмуро расхаживал по комнате и клеил свои бумажки. Может, это просто женская ревность, ради бога не вчитывайся особенно во всю чушь, которую я сейчас несу, вооружившись шариковой авторучкой, я просто очень давно тебе не писала, а письма — наши единственные постельные отношения. И потом он сейчас, наверное, единственный человек, который может тебе физически помогать, если Тамаев действительно уедет в свою Америку, хотя от него всегда было мало проку с его кино. Только, пожалуйста, не показывай это письмо им обоим, ты же знаешь, как я выгляжу в их глазах, они из меня сделали легенду, а тут выяснится, что я базарная женщина. Но ведь это я в этой эпистолярной склоке стала такая откровенная; ты же знаешь, что я всегда была лишь твоя слушательница, вовсе даже не собеседница. И если мы когда-нибудь снова встретимся, ты увидишь, что, несмотря на все мое эпистолярное нахальство, я тут же превращусь в ту, кем я всегда была: в дисциплинированную слушательницу твоих лекций.

Я ведь тебя по-настоящему впервые увидела на кафедре, когда ты стал меня затаскивать на свои лекции, а я сидела в первом ряду, и еще мне приходилось задирать подбородок, потому что стулья первого ряда были слишком близко придвинуты, а так как ты говорил своей нутряной скороговоркой, а я сидела жутко близко, мне казалось, что ты это мне все объясняешь; и в результате, потом, уже через сколько там лет, все равно, когда ты начинал свои монологи, у меня подбородок вверх тянулся, всегда я слушала тебя снизу вверх. И ты был такой непонятный, и еще этот обтрепанный пиджак, разве таким может быть профессор по смеховой культуре древней Руси? просто общипанный журавль, или наоборот воробей, у которого вытянули шею. Я же тебя таким и увидела в первый раз: мороз, а ты в этом кургузом пиджаке и вешалка торчит из-за воротника. Понимаешь, у меня было такое чувство, что если тебе не помочь — весь мир рухнет. И нес ты нечто несусветное, так что аудитория сидела раскрыв рот и хлопала ушами, там была одновременно мешанина из рассуждений про язык хеттов, и вавилонские



таблички, и ты Вавилон стал сравнивать с почтовыми марками, потом перескочил на восстание декабристов, и у меня было такое впечатление, что это только я понимаю, на что ты намекаешь, когда ты вдруг сказал, что если бы было обнаружено письмо русского монарха к юродивому Никите Пустосвяту, это бы перевернуло наши представления об отношениях Иеремии с Навуходоносором, причем ты так и произнес: на-В-ухо-донос-ор, и я вдруг захохотала, как идиотка. Ведь в тот год все письма подписывали в высшие инстанции в защиту идеи амбивалентности. Что такое, кстати, палимпсест? и еще: розетский камень? И ты вдруг остановился и поглядел на меня, причем, естественно, невозможно понять при твоём полупораглазом взгляде, на кого ты смотришь, но ты в этот момент совершенно точно на меня поглядел, потому что вдруг подмигнул одним глазом, и мне показалось, что на меня уставилась вся аудитория, и мне пришлось выйти. На следующий день я, как дура, сидя у себя в лаборатории над химическими колбами, сварганила то, первое, к тебе письмо, и во время четвертой лекции, когда передавали записки с вопросами, я передала с задних рядов это письмо и я помню, как ты открыл конверт, стал читать, потом сдвинул очки на лоб, покраснел, и, пожалуйста не отрицай, я видела, как ты покраснел, потом стал искать своим близоруким косоглазым взглядом меня, и пока твои глаза блуждали по аудитории, твои руки рвали мое письмо на мелкие кусочки. Я в тот момент тебя ненавидела, особенно когда ты потянул меня за локоть, завел за колонну, и уставившись на меня с твоей ироничной нахальной улыбкой, вдруг зашептал: «Я порвал твое письмо, потому что оно слишком откровенное: души доверчивой признание. И так как с этого дня я начинаю выстраивать легенду о тебе в чужих глазах, я не заинтересован в свидетельствах, эту легенду опровергающих. Если ты хочешь стать тем, кем я тебя хочу сделать, ты прежде всего должна избавиться от впечатления, что все мужчины, с которыми ты знакома, должны всю жизнь либо вздыхать у твоих ног, либо награждать тебя синяками, а если ни то, ни другое, ты чувствуешь себя заброшенной». Мне это показалось тогда грубостью с твоей стороны, но главное, претенциозностью, если бы не интонация, с которой ты это произнес: как чужую цитату. Ты все время выгораживал себя, точнее, увиливал, или, лучше сказать, скрывал собственную беспомощность за чужими словами и цитатами: то есть, если кто-нибудь осмеливался усомниться в качестве твоих изречений, ты всегда мог с ироничной ухмылкой заметить походя, что это, собственно, не твои слова, а очередного Никиты Пустосвята. И как бы мы с тобой ни были

близки, всякий раз, когда ты что-нибудь говорил, я не в твои слова вслушивалась, а все время пыталась отгадать, откуда очередная цитата, которая у тебя на языке, а если даже цитата была заезженная и мне наизусть знакомая, все равно, я не в тебя вслушивалась, а в то, что тебе пришло в голову в связи с тем, что произошло, когда ты вспомнил эту цитату, которая к происходящему между нами отношения не имеет, а имеет в виду нечто, что ты вспомнил в связи с нашим разговором. То есть, ты никогда не отвечал мне: ты отвечал тому, кого ты вспомнил, когда я обратилась к тебе. И в результате я до самого последнего времени вовсе не с тобой разговаривала, а с твоим невидимым конкурентом в споре.

Ты не представляешь, а сейчас, сидя там, грустя о сумрачной России под небом Африки своей, тем более не можешь себе вообразить, какая это была пытка для меня, для женщины, все время чувствовать, что в постели я не одна с тобой: как будто рядом, над подушкой, уселся третий, твой двойник, и подглядывает за нами, подглядывает за мной и как будто иронично и подло улыбается, как будто хочет сказать, что у меня с тобой ничего не получится. Ты вот не помнишь, как мне стало плохо, когда мы в первый раз легли в постель, то есть какое там легли — бухнулись в нее, я ведь все, в отличие от тебя, помню, и черт с ним, пусть эти цензоры на главпочтамте все это читают, как ты никак не мог снять с меня платье, а я никак не могла расстегнуть твои штаны, а ты продолжал нести про то, что буква в арабской письменности меняет свою форму в зависимости от места в слове, и ты никак не мог найти сам понимаешь что, а я была страшно напряжена, я никак не могла расслабиться, у нас ничего не получалось, ты делал одно движение, а я делала совершенно противоположное, при этом я не понимала, что ты имеешь в виду, как будто ты от меня скрываешь самое важное, специально, чтобы продлить эту пытку, пока я не поняла, что должна все сделать сама, как будто осталось на свете только то, что я держала в руках, и то, где это через секунду исчезнет, и мне хотелось, чтобы никогда больше не появилось снова, чтобы осталось во мне, потому что в тот момент только я владею им, и все о нем знаю, и кроме меня об этом никто в этот момент не знает, но мне было жутко больно, как будто ты лишал меня невинности, и я не видела твоего лица, и не чувствовала собственных ног, а ты бормотал про то, какие у меня острые прекрасные коленки, я все ведь помню наизусть про арабский алфавит и коленки, как будто меня во сне гипнотизируют, и голос диктует слова, и я слышу собственный крик, и он растет совершенно безостановочно внутри меня, ты же не женщина, если бы

хоть раз это ощутил, ты бы не уехал, как будто другое тело внутри тебя, и ты становишься этим другим существом, которое тебя заполняет целиком, и ты хочешь его от себя отделить и не можешь, ты хочешь оторвать его с корнем, и никак не достаешь, оно доходит до горла, и ты не можешь уже дышать, и не можешь остановиться, чтобы не отдавать его обратно, и вдруг как будто лопнуло все от горла до живота, и я подумала, что умираю, и я приоткрыла глаза, и тут увидела, что ты на меня смотришь пристально и косоглазо, и на губах у тебя эта улыбка, как будто ножички выдвинулись из уголков губ, такая наглая и изучающая ухмылка, и я так испугалась, потому что не узнала тебя, мне показалось, что это кто-то третий наклонился надо мной и следит, как я дрожу под тобой. И мне вдруг стало плохо, меня стало тошнить, ты еще дернулся за мной, но я заперлась в уборной, и меня рвало. Ты понимаешь, это третье лицо у меня все время было перед глазами, и я к нему привыкла, и меня стала даже возбуждать эта любовь втроем. Эта нахальная ухмылка со стороны вела меня на новые подвиги, когда вдруг в середине наших упражнений я вдруг видела ее как будто из окна. Может быть, ты меня возненавидишь после этого письма, но если уж я начала, я кончу: у меня появилась с того первого раза настоящая мания следить за тем, как будет вести себя это третье лицо, этот второй человек, или я не знаю кто, который внутри тебя всегда глядит со стороны, и спрашивать про себя: а вот такое как тебе нравится? И тебе нравилось. Тебе вообще нравилось, когда другие совершали нечто непозволительное, в том смысле, что самому себе ты не мог позволить такие наглые выходы, но подначивал на них свое окружение, чтобы потом за это кастить и осуждать, и иронизировать. Только мне ты все прощал, и именно с этим я не могу смириться: почему ты мне никогда не сказал ни слова, а все как будто выжидал, что я сделаю дальше? И только в ту ночь, когда ты валялся в полуобморочном состоянии у себя в Копьевском, как в подземелье, не мог поднять голову с подушки и бредил про чай и про соевые батончики, как ребенок, и жаловался на почки и на сердце, и дырку в брюках; и все как будто стало неважно, вдруг исчезло в твоих глазах это третье наблюдающее за мной лицо, у меня стали дрожать губы, когда я увидела, как у тебя трясутся руки, и я показала себе тогда такой ничтожной ищейкой, как будто выискивала доказательства твоей неверности.

Это ты научил меня так запутанно мыслить, я ведь просто хотела сказать, что вот я вошла в комнату, а там дым висел топором, я сначала подумала, что пожар, и все эти

пирамиды газет, банок из-под чая, все это в дыму, как будто валилось набок, я бросилась к твоей тахте, потому что увидела белое пятно твоего лица под яркой лампочкой, и просто хотела взвалить тебя на плечи, и только и думала: как же я тебя донесу до парадного? И тут вижу, напротив тебя, в уголке, примостился с бутылкой пива кто-то и улыбается твоей улыбкой сквозь дым. И мне действительно стало страшно: я решила, что ты своего добился, и твоя кинжальная улыбка в самый неподходящий момент материализовалась. Я настолько испугалась, что просто отвернулась, открыла окно и высунулась, и когда дым рассеялся, я вижу, это Тутов сидит. Сидит и улыбается, как будто ему все это очень нравится. Вот опять соврала: он улыбался извинительно, но его улыбка была копией твоей, когда непонятно, ты издеваешься или сочувствуешь. Хотя это была не первая копия, а скорее вторая, даже не вторая, нет, четвертая копия, а как ты утверждаешь, четвертая копия не идентифицируется. И поэтому я не могу сказать, что это была твоя улыбка. Это была слепая копия твоей улыбки, ничего в ней не прочтешь, и, ты знаешь, я его боюсь, ты это ему не сообщай, но я его всегда побаивалась, потому что он вовсе не из твоих четверганистов, и на самом деле, единственный, кого ты слушал серьезно. Мне сейчас кажется: если б не он, ты бы никуда не уехал. Главное, его безысходный тон, с которым он все это говорит, и из-за этой безысходности нечего возразить, он не оставляет ни одной уловки, в смысле — ни капли надежды. И получается, что если на что-то надеешься, выходишь наивной дурочкой. Мне так хотелось схватить тебя и убежать от его прожженных глаз. И только тогда я поняла, что если кто-то может тебя спасти, то только я. И я знаю, что именно поэтому ты и уехал: у тебя не было другого способа избавиться от моего спасения. Может, это звучит высокопарно, но мне, как женщине необразованной, это извинительно, должен же был кто-нибудь тебе это сказать. Уж во всяком случае не Тутов: он тебя или боится, или осуждает.

Ведь в ту ночь, когда ты пришел немного в себя и пошел умываться, он спросил или просто проговорил в воздух: «Что же с ним делать?» И это прозвучало на самом деле лишь вздохом: «Ничего не поделаешь». И это был твой вздох, когда ты умеешь этим вздохом отделять себя от несчастья: от чужого несчастья твоих близких; это было, точнее, эхо твоего вздоха, пародия твоего вздоха, и удивительно, как твои последователи, оруженосцы и эпигоны с такой быстротой передразнивают твои недостатки, не догадываясь о твоих достоинствах. Ведь когда ты отбояриваешься от чужих забот, ты цинично отворачиваешься, чтобы скрыть собственное бессилие чем-

нибудь помочь, а твои соратники, оруженосцы и эпигоны возводят безразличие в принцип. Ты скажешь, что я просто ревную тебя к твоим друзьям, и это верно, но вот когда-нибудь наступит такой день, когда у тебя больше не будет слов, чтобы охмурять очередные слушающие глаза, и вот тогда они пойдут своим путем, цвета и здоровья телом, а ты будешь катиться дальше вниз. Ты же до сих пор не понял, что единственное, чем ты их всех привязал — это твои закрученные слова, которые ты расшвыривал и от которых у них кружилась голова. И когда у тебя кончатся слова, а как им не кончиться, если ты от них ушел, вот тогда веревочка перетрется, и ты покатишься. Как ты не понимаешь, что хотя сейчас я и повторяю твои собственные сентенции, и хотя ты и научил меня трепаться по каждому поводу, но ведь только я, а не Тутов, и не все твои из-под пятницы четверги, любили тебя не за твои слова, а за то, я не знаю за что, что, возможно, и делало тебя ловцом душ. И в ту ночь ты был бессловесный, ты понимаешь? Именно такого я тебя увидела в первый раз, именно такого искала всю жизнь; и я еще путалась в этих бесконечных коридорах, ты же сам говорил, что твоя коммуналка в Копьевском — это бывшая ночлежка, но когда бросаешь снежок в окно, кажется, все в порядке, а потом, когда я шагнула в комнату, там было все занавешено, и тишина такая, как на дне: было так дымно, и так трудно дышать, и тени качались, и ты клеишь бессмысленно и бесконечно свои открытки, которые потом выбросят со старыми бумажками, и мне захотелось в ноженьки склониться, чтобы поверить в очарованность свою, как будто я дом перепутала, улицу, город и век. Кто ты такой и откуда ты? Я — смешная женщина, задаю идиотские вопросы; может, сейчас ты обсуждаешь меня с Тамаевым с такой же легкостью и беспечностью, с какой Тутов тогда рассуждал о тебе, как-то глубоко-мысленно и фпривольно: «Понимаете, Нина, он же старушку убил», сказал он со своей печальной категоричностью. Это звучало так нелепо, что меня прежде всего удивило, почему он ко мне обращается на Вы, удивило в который раз, он иногда переходил на ты, но у него ничего не получалось, не ясно почему. Неважно: главное, я даже не смогла ничего ответить на эту его «старушку». А он сидел и развивал свою мысль: «Видите ли, Нина, у него же проблемы преступления и наказания. Я имею в виду старушку не в прямом смысле, а старуху-процентщицу как судьбу. В смысле: заплатишь ты судьбе, Нина, у него все в голове, он всегда жил головой, и на него часто находит». Я очень хорошо помню эти его «понимаете, Нина, на него находит». И чем

дальше он говорил, тем больше на него находило, и тем меньше у меня было уверенности, что говорит он о тебе. «Понимаете, Нина, он запутался в собственном прошлом, он слишком закрутил все и во всем слишком закрутился, и он теперь чувствует себя соучастником всего, что произошло в России» опять Россия! «и так как он жил всегда головой, а вся Россия на крови, то значит и он на крови, а так как он всегда жил головой, для него не существует разницы между мыслью и действием, и если Россия на крови, а он — Россия, то чтобы не было лицемерия, он должен совершить преступление: убить старушку-процентщицу. Но эта старушка — его судьба, он должен, следовательно, убить свою судьбу, иначе лицемерие, иначе есть разница между тем, что есть, и тем, что должно быть. Чтобы все было, как есть на самом деле. Только для него убить свою судьбу — значит покончить самоубийством или уехать. Или вот так вот лежать без движения, понимаете, Нина?» Я ничего не понимала, а глядела мимо его глаз, на твой столик, за которым ты клеишь открытки, там стояла тарелка, в тарелке лежала пивная пробка и отражалось его лицо, и получалось так, что пивная пробка приходилась как раз на отражение его губ, как будто во рту у него встала поперек пивная пробка, и я думала: когда он заткнется и даст мне увезти тебя из этого капкана? Чего я ему тогда ответила, я не помню, почему я не помню собственных слов? и только завернула тебе на шее шарф, ты был как будто прозрачный.

И в такси ты держал меня за руку, ты никогда до этого не осмеливался на такие неприятные проявления близости. Ты же никогда не разрешал мне взять тебя под руку на улице. Ты придумывал бог знает какие объяснения: что у нас разная походка, и поэтому, когда идешь под руку, это затрудняет совместное движение, потом выдумал что-то про то, что ты все время перекладываешь сигарету из левой руки в правую, когда куришь, а если идти под руку, это будет стеснять твою свободу перекладывания сигареты из руки в руку. Но тогда, в такси, ты же взял мою руку в свою, и даже дал мне засунуть руку в твой карман, и ты положил мне голову на плечо. И еще один раз, в кино, когда мы смотрели «Андрея Рублева», в тот момент, когда там поднимаются на воздушном шаре, ты тоже не шевельнулся, когда я добралась до твоего кармана, и я чувствовала, что ты меня чувствуешь, и ты сам засунул руку в карман моего пальто, и дело дошло до того, что кроме этой сцены запускания воздушного шара, я ничего не помню. Почему в кино можно, а при белом свете ты не давал взять себя под руку? Это лицемерие. Если ты стесняешься прохожих, то ведь они вообще не знают, женаты

мы или нет, а женатые люди всегда ходят под руку в качестве супругов. Если ты боишься встретить знакомых, то откуда они знают: может, мы идем в театр? В прошлом веке вообще брали друг друга под руку, если не ехали в карете, а сейчас, если идут в театр, то даже, например, совсем полужнакомые мужчина и женщина берут друг друга под руку, это просто правило вежливости. Но у нас всегда все так выходило, что я как будто делаю что-то неприличное, а чего тут неприличного? Именно на людях мне хочется тебя держать под руку, чтобы все видели, что я иду с тобой, а не просто оказалась случайно рядом. Но у тебя какое-то извращенное представление о приличиях. И вообще, тебе ничего нельзя было сказать прямо, а обязательно через какие-то экивоки. Целоваться с тобой — сплошное мучение. Вот когда мы целовались в первый раз в автомате, ты не дал поцеловать тебя в губы, но я губами добралась до уха, ты же не будешь отрицать, что позволил поцеловать себя в ухо в телефоне-автомате, а поцелуй в ухо можно считать гораздо более неприличным поступком, чем просто взять под руку, почему же ты вырываешь свою руку из моей, когда мы идем по улице, как будто я целую тебя в ухо? У тебя всегда была уваливающая непоследовательность в голове с задними мыслями: если можно взяться за одно место, почему нельзя целовать в другое? На самом деле, это и закончилось твоей непобедимой логикой отъезда: «даже если я не прав, она не имеет права придерживаться своей правоты, потому что если бы она меня любила, я был бы прав в любом случае, потому что всему, что она знает о правоте, она научилась от меня». Как будто дело в правоте, как будто дело в преданности. Ведь ты всегда проверял меня на преданность. Как будто есть на свете еще что-то, что мне неизвестно и к чему я должна готовиться, а если не выдержи экзамен на преданность, то никогда этого не узнаю. Ты все время относился ко мне, как к некоему увлекательному эксперименту, и все время поглядывал со стороны: удалась я или не удалась? Ты все время ставил самого себя в тупик, чтобы начать биться головой об стенку, чтобы я услышала этот стук, чтобы от этого несчастья проснулась, а мне ведь достаточно было лишь этой вот жизни с тобой, мне ведь некуда было стучаться, кроме как в твое сердце, мне некуда было взлетать, чтобы проверять, что, взлетев, ударишься головой о потолок. Во мне все начала и концы, и я знала, что ты не можешь быть другим, но ты заверчен своими счетами, и единственное, на что ты был не способен, это просто взять меня за руку, и согласиться, что нет выхода из безвыходного положения. Почему у меня из головы не

выходит эта нервотрепка? Потому что сейчас именно такая ситуация и продолжается, только в новом виде и на другом расстоянии.

Я всегда пыталась преодолеть это расстояние. Сейчас так получается, что я тебя всегда соблазняла, соблазнила, а потом предала, и теперь ты как будто в ссылке, а я к тебе отказываюсь приехать на свидание. Но ведь ты же хочешь увидеть на самом деле не меня, какой я стала, и какая я есть, и какой на самом деле была; ты хочешь увидеть ту, которую ты видел со своей точки зрения, ту, которую ты хотел видеть, и именно это не давало мне успокоиться ни на секунду, именно поэтому я всегда пыталась добраться до крайней точки и все время пыталась снять с тебя очередное твое второе лицо, с ироничной экзаменаторской ухмылкой. Именно этот второй ты и выискивал во мне подтверждения и гарантии моей преданности, а вовсе не ты настоящий, которого, может быть, больше не существует. Я все время подозревала, что ты подозреваешь, что я подозреваю. Застегнутых пуговиц оставалось все меньше, вопросов все больше. Ты понимаешь? Ты помнишь, что это я тебя всегда раздевала, а не ты меня, ты всегда делал вид, что ничего не происходит? Почему, ты думаешь, мне стало плохо тогда, в первый раз, почему у нас ничего не получалось? У меня была одна мысль: если дают расстегнуть верхнюю пуговицу и не дают расстегнуть нижнюю, значит мне не доверяют без предоставления гарантий. Естественно, у меня выходила в результате сплошная глупость, мельтешение и непоследовательность. И вот тогда я и написала это дурацкое письмо и передала его на лекции, и ты, конечно, как всегда, поступая в своем духе, порвал его на мелкие кусочки. Ты ужасный тиран, ты все выворачиваешь так, что я выхожу виноватой, и сейчас происходит то же самое: ты не даешь о себе забыть, зная, что это ты должен приехать, ты должен вернуться, я не боюсь это сказать; после того как ты всех бросил, ты понимаешь, что мой приезд бессмысленен, что все у нас начнется сначала, а это невозможно, но именно этого ты хочешь: с начала и каждый раз с конца повторять невозможное. Ведь только однажды, когда в ту ночь я везла тебя в такси к себе домой, на Преображенку, ты был тем, кем ты всегда боялся быть: в тот раз ты не отгораживался от меня собственными идеями о том, кем мы должны быть, и где и когда, причем эти твои «кем, где и когда» не имели никогда никакого отношения к нам. И, может быть, из-за того, что я помню ту ночь, и тебя в ту ночь, и твое светлое лицо, и совсем не прищуренный взгляд, из-за этого я не могу уснуть по ночам, не могу успокоиться и все время требую твоего



возвращения. Узнаю ли я того тебя сейчас? Когда наши тени качались на потолке, без всякого небесного знаменья, и ты целовал мои обветренные руки, и я так хотела от тебя ребенка в ту ночь. Ты знаешь, что, наверное, только ребенок бы нас примирил: он был бы и твой и мой, и мы бы перестали думать и терзать друг друга тем, кто кого должен спасать. Ты в ту ночь сказал, что все, что не произошло, не произошло потому, что мы недостаточно хотим этого, и что если по-настоящему желать чего-нибудь, то всегда найдется некто здесь или там, кто сделает такой подарок, потому что ведь некому на самом деле дарить подарки, потому что никто по-настоящему ничего не хочет. Нельзя как-нибудь устроить мне ребенка по почте?

У меня от тебя ничего скоро не останется, кроме писем, в один прекрасный момент я и этого лишусь. Ты знаешь. Но ты уже забыл, как видно, так вот я тебе напому это ощущение. Собственно говоря, я из-за этого и стала писать тебе письмо. Постояв перед твоим бывшим окном, так и не решилась кинуть в него снежок, вышла из арки и свернула к Центральному телеграфу, хоть открытку тебе отправить «нарочным-экспресс», хотя в ней ничего срочного нет, но чтобы со смыслом закончить день. Понимаешь, мне на самом деле некуда деться, потому что когда я возвращаюсь домой и вижу твое кресло, я сразу начинаю вспоминать то, что вспоминать нельзя, иначе жить невозможно, и вот я после работы все время таскаюсь по улицам и даже открытки стала писать чаще, чтобы чаще попадать на Центральный телеграф или на Главпочтамт, я их всегда путаю, такой ритуал: в окошечко отдавать открытку, и они там сами приклеивают «нарочным-экспресс». Когда я присела у газетных стендов напротив ступенек телеграфа, я и решила в конце концов прочесть письмо, которое с утра носила в сумочке. Письмо все измялось, а твоя стандартная марка с Мертвым морем вообще отодралась. Я сразу поняла, что это веселое письмо, и было так странно сидеть на улице Горького напротив кафе-мороженого «Космос» и «Российских вин» и читать твои белые листочки про то, как вы ругались с Тамаевым на Мертвом море, и тут вдруг к письму через плечо протянулась рука. Ты можешь себе представить, что со мной было, когда у меня за спиной пророкотало: «Можно поинтересоваться?» Мне и так все время кажется, что за мной следят, что с работы хотят выгнать, и вот, когда я услышала этот ласковый басок, я решила, что все, теперь припишут пропаганду и распространение, и вообще ты больше не получишь моих писем, а твои письма не дойдут туда, где сосна до звезды достает, а письма не

доходят. Я, не поворачиваясь, сжала письмо в кулак и, сама себя не слыша, сказала: «Это мое личное письмо». Я сказала, наверное, таким тоном, что рука сразу убралась. Я повернулась, чтобы показать конверт в доказательство, правда, без марки, но марку я бы смогла отыскать в сумочке для доказательства. Поворачиваюсь, и кого бы ты думал, я вижу? Когда он сказал, что просто устроился работать на телеграфе, письма сортировать, и поэтому случайно столкнулся здесь со мной, когда выходил с работы, я несколько успокоилась, но когда я повернулась с конвертом в руках, бледная от страха и вдруг увидела — кого бы ты ду—»

Как всегда, на самом интересном месте концы в воду. Там недаром установили самый мощный в мире телескоп. Я всегда говорил, что родина слышит, родина знает, где в облаках Четверган пролетает. И я помню, чья рука протянулась через нинино плечо к четвергановскому письму. А он ничего не помнил. Строчить строчи, да знай где ключи. Четверган проехал в кресле на колесиках к окну, поближе к свету, и заглянул внутрь конверта, чтобы разглядеть, есть ли там цензурный номер или нет, как на остальных московских конвертах. Вот что его интересовало во всем этом нагромождении из любви, слез и ненависти: есть цензурный номер или нет. Но внутри конверта не просматривались выдвленные магические цифры. Более того, на конверте не было даже марки. На конверте стоял герб посольства. Посольства в Вене. Он мне показывал тогда это письмо, его провезла одна француженка по особому каналу под юбкой через границу, а потом отправила через посольство в Вене. Я помню, как Четверган с гордостью продемонстрировал мне это письмо с посольским гербом вместо марки: какие у нас, мол, дипломатические связи. «Не у нас, а у тебя», сказал тогда я ему. Я оказывался замешанным в выяснении чужих счетов. Был бы не я, она обвинила бы кого-нибудь еще, но обязательно надо было конкретно ткнуть пальцем. Когда он мне пару месяцев назад показал это письмо, сказав, что вот, мол, какие письма надо получать, вот, мол, какую эпистолярную жизнь надо вести, когда я прочел, я сразу и сказал: «Научил на свою голову».

Я же помню, как все мы отошли на задний план, и только с ней он говорил, и только ей все объяснял, только с ней в конце концов встречался, и даже перестал появляться в кафетерии при гостинице «Москва». В тот период, когда я, однажды возвращаясь из обсерватории, заглянул туда, вижу, они все стоят, точнее кружат под колоннами гостиницы, каждый вытягивает шею, а мороз под тридцать, пар идет из-под копыт, из каждого горла, как из паровоза. И каждый друг у друга спрашивает: «Я сюда

случайно забежал: Четверган не появлялся?» И я к этому ожиданию не имел никогда никакого отношения, и то, что она сказала про мою как будто вьедливую улыбку, вовсе несправедливо. Это же ясно, сразу становилось ясно, если бы она видела, как меня все обступили тогда, когда в тот период я появился в «Москве». Обступили так, как будто каждый из них оказался рядом со мной, и когда каждый, как бы невзначай, проговорил как бы небрежным тоном, набрав воздуха: «Кстати, мне Четверган ничего не передавал?» — этот вопрос вышел хором, как по команде приветствие командиру, когда командира не оказалось, и, гаркнув хором в пустоту, они все смутились, и, переглянувшись, отвернулись. И я к этому хору не имел отношения, я даже кофе тогда пить не стал, а пошел обратно на службу. Но в этой войне всепрощения во имя Четвергана не простят никому, кто был между Ниной и Четверганом. Я знаю, за что она меня невзлюбила, но я не сказал этого Четвергану ни тогда, когда он мне показал письмо, не скажу и сейчас. Я тогда сказал ему: «Научил на свою голову». И в ту ночь, про которую она писала в письме, когда мы трое очутились у него в комнате в Копьевском переулке, и он лежал в полуобморочном состоянии, я вовсе не говорил про преступление и наказание, про Россию и старушку-процентщицу. Это было совсем в другой раз, и Четверган при этом разговоре не присутствовал. Я тогда лишь сказал, что просто у него умерла внутри одна идея движения, а другая идея другого направления еще не возникла, и поэтому он и лежит без движения, и что же теперь с ним будет, спросил я. И если кто-то и виновен в его отъезде, то никак не я. Они оба не понимали, что у них закончился роман, и больше ничего. И они разъехались в разные стороны. И Четверган до сих воображает себя в Вене, на перепутье, и они оба нагромождают собственный архив на голову друг другу. Каждый из своего кресла. Только у Четвергана теперь чужое кресло на колесиках, а в его бывшем устойчивом кресле теперь сидит Нина. Ей хорошо вспоминать и нагромождать обвинения, а ему нужно разъезжать от одного клочка к другому; но вовсе не потому, что ему важно было найти ответ на нинину дипломатическую ноту четверганки. Он всегда уходил от ответа в некое конкретное гробокопательство. Заглянула бы эта преображенная комета на его небосклон, поглядела бы на его небритое побелевшее лицо, когда, прищурившись, он подносил к свету, бившему из окна, голубенький конверт, чтобы высмотреть изнутри выданные цензурные номера. Эта бы комета осталась без хвоста.

Словами любви можно оживить каменную статую, но есть

и другая история: когда человек от слов каменеет. Небо стало как будто пепельным, и вокруг холма с мечетью на вершине возникло желтоватое облако, размывавшее края и холма, и мечети, и слепого внизу, как будто размывая очертания своим присутствием, и солнце уже не било вертикально, но просачивалось мутным сиянием сквозь отяжелевший воздух. Четверган опустил жалюзи и подъехал к листочкам, приклепленным к стене: распиная на кнопках обрывки московской жизни, он надеялся, что она возродится во крови и во плоти. А листочки обвисли, как белые флаги капитуляции, и он стал пробегать по ним побежденными глазами. Если повернуться к окну, будет слепое неговорящее небо, но за спиной будут стук и голоса, и различные пугающие передвижения в тылу, а ты наедине с неговорящим небом. Если закрыть жалюзи и повернуть кресло на колесиках, ты оказываешься наедине с повисшими на кнопках словами, среди которых надо снова отыскивать свое место, которое давно занято, на фоне стука и голосов и передвижений по лестнице, на улице Таити, где негр Титти Митти, и кто еще там с ним жил, никак не вспомнить. Четверган не понимал, с какого боку присоединить только что прочитанное письмо Нины к уже вывешенным листочкам. «18 июня прибыл также Шведский король под именем графа Готландского». Кто же все-таки протянул руку через плечо, когда она сидела рядом с газетными стендами у ступенек Центрального телеграфа, а мимо все шло и ехало? Когда он мне все это пересказывал, это жуткое сидение в кресле, я сразу вспомнил, я сразу назвал фамилию, но у него в тот момент именно фамилия графа Готландского и вылетела из головы. Единственное, что его интересовало в нинином письме, как это письмо прикрепить к линии между космонавтом и креслом. «Предупредителем отпускаю тебя. Предупреди людей, иначе возьму тебя от них. Скажи им, что еще много у вас дел на планете. Опять забылись вы, а сколько страдали». Нет. Не то. «И пускай я все возьму на себя: найду машину, доставлю кресло, подниму его по лестнице, и тогда, если он заглянет к себе в комнату, он на нем немножко посидит, но скорее всего нет, потому что мы обязательно поставим его не туда, куда следует». Четверган думает, что, соединяя кнопками листочки, можно соединить жизнь, которая соединению не поддается. Что из слов появится она. А она из слов не появляется. Или слова не те, или же она другая. Вот рука из-за спины появляется и чертит надпись на стене, которая ничего хорошего не сулит пирующим на этих поминках. Но однажды, взявшись за эту кучу слов, перепутанных котом, ты начинаешь о них думать, а потом говорить

вслух, а потом дальше искать то, что вслух высказано. Только вслух мы давно говорим сами с собой. Он вернулся в кресле на колесиках к разворошенным папкам и сейчас держал открытку, на которой собственным почерком было написано: «Тамаеву, улица Таити». На открытке была намалевана толстыми буквами цитата на фоне открыточной троицы ангелов, но Четвергану бросился в глаза снова почерк Нины шариковой авторучкой:

«Посылаю тебе открытку, которую ты в ту ночь с обмороком собирался отправить Тамаеву, но так и не отправил. Я сейчас ее нашла в ящике, ты теперь ее можешь передать ему из рук в руки. Я тебя коснуться не могу. Сажу в твоём кресле и считаю ворон». Дальше шла цитата, выписанная уже столько лет назад Четверганом для Тамаева:

**«КТО ПРИХОДИТ В ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ ОТШЕЛЬНИЧЕСКОЕ БРАТСТВО КАК ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ, ЖЕЛАЮЩИЙ ПЕРЕНЕСТЬ СЮДА ВЫГОДЫ И УДОБСТВА ПРЕЖНЕГО ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ИХ ДРУГИМИ, А НЕ КАК БЕГЛЕЦ, БРОСИВШИЙ ВСЕ, ЧТОБЫ ТОЛЬКО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО БЫЛО ПРИЧИНОЮ БЕГСТВА — ТОТ НЕ ВПОЛНЕ ОТШЕЛЬНИК, НЕ В СОВЕРШЕНСТВЕ ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ».** Сбоку, более мелким почерком было приписано: «Эти слова Филарета, митрополита Московского, с которым вечно сводил счеты (неразборчиво), я выписал из Практического учебника русской грамматики Петрова как пример **Относительного периода**. Логическая сторона этого периода состоит в указании совместности или несовместности. Найди способ, не нарушая стиля, подтвердить получение открыток, особенно медленных, четырехкопеечных, память о которых стирается быстрее, чем они доходят». И даже было приклеено две марки: с бегущим сайгаком и каспийским осетром. Сверху опять крупными буквами было приписано: **«НЕ АВИА: если дойдет, то и так дойдет».** Все это просматривалось через нинину шариковую авторучку: «Может, я и порчу открытку злостно, но мне так и не удалось перевезти вещи на дачу: заказала машину, обошлось мне это в двадцать рублей, потому что когда грузовик приехал, вещи были не собраны, и пришлось водителю заплатить 20 рублей просто так, а теперь, когда вещи вроде успею собрать, не на что заказать машину, потому что пропили все деньги в четверг с твоими четверганистами.

Логическая сторона этой жизни и состоит в совместности и несовместности».

\* \* \*

А я помню один замечательный переезд Четвергана на дачу в направлении Нового Иерусалима. Но там проблема была не с чемоданами, а где достать грузовик. Переездом распоряжался, как всегда, Налитухин — не то четверганова тень, не то телохранитель. Он, главное, всегда распоряжался, когда дело пахло выпивкой. А какие переезды не пахнут выпивкой? Он считал себя большим докой по части добычания левых машин. И Налитухин, как ни странно, на этот раз не надул. Пока они шатались по соседним улицам, махая рукой вслед проносившимся машинам с кузовом, Налитухин выбегает из-за угла мебельного магазина на Петровке и машет рукой призывно. Стоит действительно фургон. Водитель, белообрый такой, похожий на мальчика с чубчиком, говорит:

«Мы вот только подбросим тут одного старика с тахтой на Дзержинку и с удовольствием на вашу дачу за десятку махну».

Подкатали фургон к парадному, быстро загрузили чемоданы и семью, Налитухин, конечно, забрался в кабину к водителю — руководить маршрутом. Когда Четверган влез в фургон, водитель, стоя в проеме задней дверцы, сказал:

«Будет слегка душновато, но открыть, к сожалению, ничего не могу для воздуха. Свет могу зажечь — для уюта».

И захлопнул за ним дверцу. И оказались они в душноватой полутьме. Потом вспыхнула лампочка, и фургон тронулся. Напротив оказался действительно попутчик с тахтой из мебельного магазина, которого надо было выбросить на Дзержинке. Такая смолистая борода лет под пятьдесят без единого седого волоска, в зимней шапке, несмотря на весну-лето. Он действительно сидит на своей тахте из мебельного магазина, обтянутой зеленым шелком, и думает свою думу, как будто не в фургоне, а в купеческой избе. И вообще похож на недорезанного из фильма о раскулачивании. В фургоне действительно душновато, и Четвергану это стало нечто напоминать. Седоки одинаково отклоняются на поворотах, а потом снова возвращаются в прежнее положение. Глаза Нины тревожно блестят в темноте. И лампочка так посамиздатски тускло светится зарешеченная, чтоб нельзя было разбить кулаком. А зачем ее, собственно, разбивать кулаком? Сосед-раскулаченный улыбается купцом первой гильдии на зеленой экспроприированной тахте и покуривает. Машину покачивает. Потом резкий тормоз. Купец первой гильдии выгурил свою тахту, и на секунду в открытую дверь Четверган увидел родные московские залитые нейтральным солнцем улицы, и ему показалось, что он больше не увидит ни эти улицы, ни это нейтральное солнце. Фургон, значит, наня-

ли на Петровке, а этот, псевдокупец, высаживается на Дзержинке. Белобрысый водитель, захлопывая еще раз дверцу этого фургона, дверцу железную, пробурчал:

«Только чтоб на даче побыстрее сгружались. Мне тут по радио передали, чтоб я к четверем, как штык, был. А у нас с дисциплиной — в секунду вышвырнут».

И Четверган не выдержал:

«Так вы «капитан» или просто из милиции?»

«Капитан не капитан», белобрысый расставил пальцы в воздухе. «Воронок это, не видишь, что ли? Из органов я шофер. Так что, будь другом, на даче побыстрее разгружайся, мне в четыре, как штык, заключенных в Лефортово перевозить».

И он захлопнул дверцу. И машину снова качнуло. И лампочка под зарешеченным колпачком снова тускло засветила. Нина испуганно поглядела на него и взяла его за руку. Они качались в воронке и гадали: это все такое совпадение, или это так задумано? И в какие ворота они в конце концов въедут: в дачные или в лубянские? С их точки зрения, изнутри, воронок мчался в неизвестном направлении.

\* \* \*

Прощай, лазурь Преображенской площади!

Кто отказался взять его кресло, на котором он заседал каждый божий день, распоряжаясь заваркой чая? Четвергана беспокоила мысль о том, что Нина пыталась избавиться от этого символа его присутствия, но не менее оскорбительно, что некто, о ком он и думать забыл, не пожелал занять его место в этом кресле. Он пытался представить себе все лица, сгрудившиеся вокруг четвергового стола, лишенные цветов и воздуха полей в твоих стенах, столица, лица, которым нет заместителя, хотя мир до нас был тысячи лет и после нас будет, и если сегодня барс унес козу, то, может быть, завтра медведь унесет быка. Получалось так, что он кого-то упустил в своем отъезде. Получалось, что был человек, слов которого он не запоминал. Получалось, что был некто, с кем он выпил не один чайник чаю и не одну бутылку водки, которого Нина кормила яичницей, а потом шла спать, а они продолжали в том же духе, и все-таки он не остался у Четвергана в памяти своими слезами, словами ревности и разлуки, он как будто выпадал из списка. Как будто те часы жизни, которые он с ним провел, не относились к той жизни, которую он покинул, и поэтому он его не помнил. Он как будто был из другой жизни.

Из той, которую встретило Императорское Величество, когда соизволило предпринять путешествие во Фридрихсгам, но по дороге крылатое существо предупредительно подняло указательный палец, и сигналы из космоса перестали передаваться, и теперь никто не хочет сесть в его кресло. Чучмек в войлочной нахлобучке издевательски ухмылялся с марки на маршруте ПИОНЕРСТРОЙ. Все письма казались в нагрудном кармане, и вдруг пропало человеческое лицо. Переместилось: то ли в Дагестан, то ли в Казахстан. Такое же неудобное ощущение, как будто vybrили затылок, и никак нельзя углядеть, сколько ни выворачивай глаза, глядя в зеркало, никак нельзя углядеть этот выбритый затылок. Разве что отрастить на затылке еще одну пару глаз.

Он подъехал к тамаевскому столу и стал шарить в пустых ящиках письменного стола вслепую, как это всегда делают в глубоких ящиках, чтобы отыскать клейкую ленту. Надо заново скреплять эти листочки. Наконец он обнаружил колечко клейкой ленты в пластмассовой плетенке для мусора. Потом подъехал к стене, раскрашенной квадратами солнца на выцветших обоях, и взяв выпавшие из кучи обрывки одной рукой, попытался другой рукой приклеить их липкой лентой к стене. Он прижимал почтовую единицу тыльной стороной левой руки, и, сжав моток клейкой ленты в кулаке правой, пытался большим и указательным пальцами отодрать от мотка полоску клейкой ленты. Но на то она и клейкая, что, отделившись от мотка, она приклеивалась намертво к большому пальцу, а когда он отдирает зубами полоску клейкой ленты от большого пальца, она прилипала к губам, и уже отплевываясь, он, забыв про почтовое отправление, отдирает от губы клейкую ленту левой рукой, и письмо, спланировав, опускалось в ту же грудку писем, и ему приходилось снова отыскивать то, что он с таким трудом сопоставил. Наконец несколько заново обследованных почтовых единиц закачались на стене, повиснув на клейкой ленте. Покрасневшими от напряжения глазами, напрягая близорукое косоглазие без очков, он скользил по листочкам на стене. «В конце сего месяца известный Васгинтон сложил с себя правление Американскими войсками, чтобы последние дни жизни препроводить в своих местностях в тишине и покое. Я хотел взять у него осла. Мой осел ушел вчера, а мне нужно идти в город. Хасан дал мне своего осла. Хороший человек Хасан. У Сталина, как известно, было шесть пальцев, а у Гитлера было одно яйцо. Предупредителем отпускаю тебя. Предупреди людей, иначе возмю тебя от них. Скажи им, что еще много дел у вас на планете. Сначала убрали все ларьки и, казалось бы, все ужасно. Но, с другой стороны,



куда бы мы ни приехали, так вот, даже в лесу густом, выходишь на полянку и вдруг — грузовик с пивом. Правда, везде в бутылках. И вспомнились мне худенькие лица болезненных, задумчивых детей, лишенных, как в тюрьме, в стенах твоих, столица, цветов и воздуха полей. Они своими заботами о человечестве создают человечеству дополнительные заботы, и с какой стати вообще он будет заниматься этим креслом, если он давно не занимается человечеством. Он, оказывается, мирно выпал с балкона, не нарушая ритма ремонта». В результате получалось, что с балкона выпал мирно сложивший с себя правление Хасан Васгинтон. Хороший человек Васгинтон. И, как будто притянутые пристальным взглядом Четвергана, листки отделились от стены и один за другим спланировали на пол. Не держит клейкая лента. Она моментально отсыхает и отпадает от обоев. И почтовые отправления одно за другим выпадают из этой фиктивной линии от Гагарина до кресла на колесиках. Нина, он выпал! Он выпал из той жизни. А теперь пытается склеить два неба одной клейкой лентой, а она отклеивается от обоев.

Четверган снова подъехал к столу и отыскал коробку с кнопками. Потом снова вернулся с листочками к стене. Напрягая руку в локте, он стал закреплять листки на стене кнопками. Кнопка сначала входила легко, потом натыкалась на что-то непреодолимое, ее острая ножка сгибалась, и кнопка падала на пол, как сплюснутый комар. Другая выворачивалась под большим пальцем и жалила согнутой ножкой. Белая овца пришла домой первой, а черный бык пришел вторым. Как ты мог продолжать делать вид, что ничего страшного не происходит. Это чадра Лейлы. Кнопка ломалась. Это волосы Али. Щека Лейлы еще раз. Мой осел ушел вчера, а мне нужно идти в город. Кнопка выскальзывала. Вуаль Фатимы здесь. Четверган тихо взвыл и стал высасывать кровь из большого пальца.

Он стал вдавливать кнопку только до твердого слоя штукатурки, и листочки закрепились. Только на них оставались отпечатки большого пальца, когда он их придавливал к стене, и эти отпечатки были кровавыми. Все время раздражало: надо было вырезать и выписывать, заклеивать конверты, наклеивать марки, опускать в почтовый ящик; ни на первое, ни на второе, ни на третье, ни на четвертое не хватало времени. А потом выяснилось, что в этом и состояла жизнь. Перед отъездом ему стал сниться один сон, как он уже выбегает с чемоданами к такси, чтобы ехать на аэродром, и вдруг понимает, что он без ботинок. Он вернулся, вбежал в квартиру, чтобы ботинки надеть, и вдруг видит: в квартире стоит человек с очень знакомым лицом и натягивает ботинки.

И он спрашивает у незнакомца: «Кто ты?» А тот улыбнулся и говорит: «Я тот, кто всегда впереди тебя». Потому что всегда найдется еще одна мысль, которая меняет уже решенное в противоположном направлении. Не надо было отшивать прежнюю. А теперь она уже не придет. Куда делся тот вольный гребень исторического процесса, который всегда выносил твой утлый челн на берег? Теперь этот процесс загнал его в тамаевскую квартиру. Он посмотрел на четыре листочка, закрепленные на стене, и ему захотелось прикрепить себя четырьмя кнопками и стать плоским, и положить себя в конверт и отправить по почте в неизвестном направлении. Но этот конверт не будет доставлен за отсутствием адресата на место преступления и вернется согласно адресу отправителя: Иерусалим, ул. Таити, Тамаеву для Четвергана. Тамаева нет, он выбыл по другому адресу, он предпринял вторичную инкарнацию, он теперь движется в направлении «там», а где Четверган?

Четверган ни там, ни тут. Он сидит в кресле на колесиках на улице Таити и видит себя сидящим в кресле на Пугачевской улице, который представляет себя сидящим в кресле на колесиках на улице Таити. Он читает на улице Таити письма про то, как он сидит в Москве и читает письма про то, как он сидит на улице Таити. Улица Таити начиналась в самолете, проходила через Преображенку и кончалась сама на себе. На улице Таити жил негр Титти Митти. Откуда в Иерусалиме улица Таити? И что случилось на Таити с негром Титти Митти? Он совершенно не уверен, звали ли негра Титти Митти, или это такой припев в детской песенке: жил негр, титти-митти, на острове Таити. И где находится Таити? В бананово-лимонном Сингапуре? Или Сингапур на Таити? Ты б сдох, как пес, от ностальгии в любом кокосовом раю. Я б жил, как бог, без ностальгии в любом бананово-лимонном Сингапуре. Ты б сдох, как бог, я б жил, как пес. Или кот. На улице Таити. Но с негром Титти Митти жил не пес, не кот и не бог, с ним жило некое четвертое существо, и Четверган, в отупении повторяя в голове детскую песенку про негра на Таити, никак не мог вспомнить, кто же там еще жил? Чтобы делать вид, что продолжение продолжается, что прошлое не пройдет, а будущее будет, надо было все время сопоставлять то, что происходит сегодня, с тем что произошло вчера. Но он уже плохо понимал, где находится его вчера, и где будет его завтра, потому что вчера — это «там», а сегодня — это «здесь», а он уже давно перестал понимать, на каком свете находится. Он упорно старался придумать или вспомнить начало «там» для сегодняшнего продолжения «здесь». Сопоставления не выходило. Надо было

каким-то образом сосредоточиться не на здесь, не на там, а на тут. В бананово-лимонном Сингапуре. Можно сидеть в бананово-лимонном Сингапуре и при этом с тоской и ностальгией гнусавить себе под нос «в бананово-лимонном Сингапуре, в небесно-ослепительной лазури», потому что важен тебе не сам Сингапур и его лазурь, а то, как ты сидел в трещащей от мороза Москве и напевал под нос про бананы и лазурь. Можно испытывать ностальгию по городу, в который вернулся, потому что память о ностальгии гораздо сильнее самой ностальгии, и стоит распечатать московское письмо с вопросом «где ты милый, что с» и сразу ощутить такой страх перед неизвестностью, что надо непрерывно взнуздывать себя и закручивать, щипать и кусать, чтобы избавиться от ощущения того, что это не сон в оболочке сна, внутри которой снилось на полчаса продлить сновидение. И отчего только трубы грохочут? Или это надрывается нищий за окном? Или арабская молитва заливается бесконечностью? Ты отошла, и я в пустыне к песку горячему приник. Но имя гордое отныне не смеет вымолвить язык.

Четверган подскочил в кресле на колесиках, хлопнув с размаху себя по щеке. Он встряхнул головой и проснулся. Комариное нашествие. Это грохотали не трубы, и пели не самолеты: это был звук комара. Подлость здешних комаров состояла в том, что они не предупреждали звуком на расстоянии. Они были молчаливы и действовали в атмосфере партизанской разведки. Вдруг чувствуешь жжение с болью. И только когда, напившись крови, комар отделялся от тела, он издавал победный звук. Четверган отмахнулся рукой спросонья еще раз и сказал самому себе:

«Я чувствую себя уверенно только во сне, но когда я обнаруживаю, что я не во сне, то есть когда я начинаю испытывать настоящий страх, это возвращает меня в Москву, потому что всякое настоящее ощущение, например, страх, связано у меня с Москвой. Но чувствовать себя в Москве, сидя в Иерусалиме, это тоже состояние сновидения».

Потом испугался собственного незнакомого голоса и того, что начал говорить сам с собой вслух. Он проехал по коридору в кухню, чтобы напиться воды, потому что распух язык от всех невывговоренных слов. Он уже оттолкнулся ногами, чтобы вкатиться в комнату и продолжить реконструкцию генеральной линии потери негра Титти Митти на улице Таити, когда знакомый уху скрежет заставил его застыть и прислушаться. Он тайно надеялся, что это кто-то пытается отыскать кнопку у входной двери. Он прислушался, но потом резко развернулся к балконной двери и содрогнулся. Сморщенная негритянская голова со вздыбленными пуками

черных волос глядела на него круглыми немигающими желтыми глазами сквозь стекло запертой балконной двери. Четверган впился в подлокотники кресла и, стараясь не шелохнуться, напряг близорукий взгляд.

«Что вам надо?» спросил он почему-то по-английски осипшим голосом. Сморщенная наглая головка не отвечала. Нос, прилипший к стеклу, расплющился, и глаза глядели расширенно, не мигая и со злобным любопытством. Четверган осторожно стал подталкивать кресло к раковине, где заметил огромный кухонный нож, и когда он выбросил руку, схватив нож с притолоки, голова за стеклом раскрыла рот, и с нутряным гнусным воем подпрыгнула за стекло и перевернулась. И, мелькнув хвостом, оказалась головой кота Собачина. Кот, видимо забравшись на картонные ящики с пустыми бутылками, царапался в балконное стекло. Четверган, оттерев лоб тыльной стороной руки, отбросил нож обратно в раковину. Так можно получить инфаркт: надо заказать новые очки. Этот кот хочет его уморить. Он подло воспользовался тем, что Четверган без очков и, кроме того, забыл, что собственными руками запер его на балконе. Он специально поджидал, когда Четверган появится в кухне, чтобы высунуться в стекло и напугать. Разве обычный кот может так глядеть через стекло? Разве обычный кот может с такой систематичностью развязать все папки с веревочками, перерыть все до последней бумажки? Это был явный обыск. Кот за ним следит. И пока Четверган провожал Тамаева, кот устроил обыск. Все совершенно ясно. Все перерыл и специально перепутал, чтобы сбить с толку, чтобы выбить почву из-под ног, чтобы оставить без корней, чтобы можно было взять голыми руками, то есть не руками, а лапами. С когтями. Сначала все сам обнюхал, перечитал, а потом все перепутал. То есть это уже слишком. Это чушь собачья, кот не мог все это читать. Это кошачья чушь. Новый кошачий порядок. Вдруг это не хаос, а некий непонятный человеку кошачий порядок? Кот развязал папки с веревочками, а потом переложил все бумажки в своем кошачьем порядке. То есть у него была своя линия отъезда Четвергана. У него была своя кошачья точка зрения. Кто есмь аз на такую высоту дерзати?

«Куда ты дел мою советскую выездную визу?» спрашивал Тамаев, стоя перед котом Собачиным на коленях и заглядывая

ему в глаза. Собачин, сидя в кресле на колесиках, поводил ухом и неодобрительно отворачивался. Это было в последнюю ночь перед отъездом, когда Четверган пришел на улицу Таити с чемоданом, набитым папками с тесемочками. Тамаев же, как всегда в состоянии панической решительности, складывал чемоданы. Точнее, один-единственный гигантский чемодан на колесиках. Он возил его из угла в угол, набивая его подряд всем тем, что попадалось под руку. Попадались, главным образом, книги и мемуары про Сталина и Гитлера. Про однойцевость и шестипальность. В какой-то момент обнаружилось, что потерялась советская выездная виза, розовая бумажка с фотографией, удостоверявшая, что и Тамаев был в свое время советским гражданином.

«Ты понимаешь, что без этой подтирки меня в Америку могут не пустить?» спрашивал Тамаев кота. Но тот молчал и желтыми глазами оглядывал круглый живот Тамаева, нависающий над синими советскими трусами, вспотевшую лысину и волосы, подобранные назад и перетянутые аптечной резинкой так, что Тамаев становился похожим на растолстевшего китайца с косичкой. Тамаев снова выгребал из чемодана сталинскую шестипальность и гитлеровскую однойцевость (или наоборот?), надеясь, что розовая бумажка окажется между ними. Но на дне чемодана оказывалась зубная щетка и пара нестиранных носков. «Он специально засунул визу куда подальше, потому что не хочет, чтобы я уезжал в Америку», сделал грустный вывод Тамаев, и кот прыгнул ему на грудь и лизнул его в лицо, потом устроился у него на груди и, подставив ухо, замурлыкал.

«Он хочет, чтобы всем было так же плохо, как и ему», говорил Четверган, выкладывая папки с тесемочками из своего чемодана. «Он считает, что если ему плохо, то плохо должно быть и всей вселенной. Он за справедливость. А когда он видит, что все идет своим ходом, независимо от него, он начинает все портить и везде пачкать. Сейчас он украл у тебя визу, завтра перегрызет все твои книги. Он это делает для того, чтобы доказать, что разрушением кончается всякая деятельность живого существа: от еды остается дерьмо, от сна грязные простыни, и вообще, от человека червивый труп. Или же это бунт против того, что случилось. Он не может смириться с тем, что он не в Москве. Он не может смириться с тем, что вот вместо снега песок, а все идет так, как будто ничего не случилось. Он отказывается заниматься только утверждением из существующего».

«О ком ты говоришь?» занервничал Тамаев, сидя на чемодане с колесиками, как на детской доске-качалке.

«О тебе. Или о Собачине. Вы ведь два сапога пара:

вам обоим не сидится на месте. Только у тебя есть возможность купить билет в Америку, а у него нет. Но вам обоим претит состояние, когда дальше ехать некуда».

«Да, наша нация живет сама по себе и гуляет, где захочет, по крышам. По крышам человечества, я имею в виду. Конечно, мы можем поселиться в квартире. Но нам, как и котам, эта квартира всегда будет казаться чужой. А мы будем чужды этой квартире. Мы — как пассажиры поезда: как только кто-то из нас сходил на станции, он исчезал как пассажир, он переставал быть пассажиром. Если ты хочешь оставаться пассажиром вечно, ты не должен сходить с поезда, надеясь всегда только на машиниста. Я верю в переселение душ», сказал Тамаев и, сбросив кота, стал расхаживать по комнате. «Не съест ли нам чего?» Когда он был возбужден, у него всегда пробуждался аппетит.

«Я замечаю пока только переселение тел из одной страны в другую. А душа при этом теряется в багажном вагоне. Или в чемодане, украденном на таможне».

«Тебе хорошо о душе говорить. Тебе, кроме слов для почтовых открыток, ничего и не надо. А мне нужно найти звезду».

«Какая езда, такая и звезда. Чем плоха вифлеемская?»

«Я имею в виду кинозвезду. На женскую роль. С мужскими ролями тут проблемы нет. Главного героя можно быстро устранить в начале фильма вместе с началом очередной войны Судного дня или отправить его в Америку в эмиграцию. А что делать с женской ролью? Для великого фильма в наше время нужна заграничная звезда. А какая заграничная кинозвезда продаст свой талант за здешнюю лиру? Валюта ведь неконвертируема. Никто лирами не возьмет!» Тамаев расхаживал по кухне от холодильника к плите в сопровождении кота, выкладывая финансовые сметы, приравнивая лиры к таланту, таланты к туману, а туманы к конвертируемой валюте.

«Я, конечно, специалист исключительно по пятиконечным звездам, в отличие от тебя, который специалист по звездам шестиконечным, но зато мне известна одна кинозвезда, которая прославилась своим умением создавать шумиху вокруг своего имени. Она, к примеру, заночевала на каком-то дачном острове, ее там комары заели, а уже все газеты трубят заголовками о ее неожиданном исчезновении, мистическом побеге в неизвестность. А когда ее спросили, как она умудряется устраивать свою жизнь так, что о ней непрерывно говорит весь мир, она сказала: «Нет ничего проще. Надо лишь правильно отвечать на вопросы корреспондентов. Например, вчера меня спросили: кто написал «Преступление

и наказание»? Я взяла и ответила: «Преступление и наказание» написал Наполеон. Или Мао-цзе-дун». И газеты тут же раструбили мой безграмотный ответ. А если б я ответила правильно, то есть, что «Преступление и наказание» написал Солженицын — меня бы никто и слушать не стал». Вот о ней все и говорят. А ты будешь в Америке картошку сажать, а потом даже если на Марс улетишь, все равно об этом никто, кроме меня, не узнает, заметить. Потому что ты всегда за справедливость, правду и истину, а всех интересует как раз наглая ложь и вопиющая несправедливость». Четверган глядел, как Тамаев, повозившись с дуршлаком у раковины, выставил на стол глубокую тарелку с равиолями. Они дрожали, как живые, своим прозрачным тестом напоминая улиток, с которых стащили раковины. Потом он вытащил из холодильника бутылку со странной наклейкой: зубр на фоне семисвечника.

«А как ее зовут?» спросил Тамаев, разливая по рюмкам.

«Кого?»

«Ну эту знаменитую кинозвезду? О которой все говорят?»

«Я не помню, поскольку это ее забота и работа, чтоб я помнил ее имя. И поскольку это ее забота, я ее имени помнить не собираюсь. Хватит с меня других забот».

«Я думал, что ты намекаешь на Нину. Если бы здесь была Нина, я бы ее сделал кинозвездой, и не надо было бы искать звезду в Америке». Тамаев задержал дыхание перед глотком, потом проглотил, зажмурился, сощурился, и лицо его перекосилось, поехало, сместилось, сдвинулось, переместилось, снова в обратном направлении двинулось и встало на место, но с некоторым сдвигом. Он зацепил вилкой равиолину на тарелке, понес ее ко рту, но равиолина слетела с вилки. Тамаев, несмотря на внешнюю неуклюжесть, ловко подпрыгнул со стула, подхватил ее на лету в самый момент приземления и одним движением направил в рот. Собачин сидел в буддийской позе на третьем стуле и облизывался, вожделея равиоли. А, может, и зубровку? Два дурака сидели рядом.

«Зубровка кошерная из настоящих рогов зубра Беловежской пуши кооператива «Гагада шель песах» имени пророка Иеремии. Что за бред? Гагада шель песах? Кто куда шел?» Четверган разглядывал наклейку на бутылке.

«Ради миллиона я б и не в такую гагаду пошел», вздохнул Тамаев.

«Вот и неправда. За эту именно неправду я тебя и люблю. Тебе же ведь хочется именно звонкой жизни, а не звонкой монеты, тебе сейчас надо что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше всего Иерусалима, пронестись громо-

вой тучей, оставить всех в страхе и восхищении, а самому скрыться в Соединенные Штаты со своей звездой под звездным флагом. Ты мне напоминаешь моего дядюшку. Ты же знаешь, я у дядюшки воспитывался. И однажды, засыпая, я вдруг слышу за стеной, как дядюшка спорит со своими друзьями. Спор был довольно странный: проглотит ли дядюшка сразу сорок порошков для газировки. А дядюшка жутко любил газированную воду. В те годы еще продавались порошки для газировки: высыпашь в стакан с водой и размешивашь, получаются пузырьки. И вот дядюшка поспорил со своим другом, что может выпить зараз сорок порошков. Потом я слышал, как дядюшка прошел на кухню. Потом вернулся, тихо вдруг стало за стеной. И вдруг раздался взрыв. В доме напротив вылетели окна. Я вбежал вместе с тетушкой в комнату дяди. Там никого нет, а в потолке и в крыше огромная дыра. Мы жили на последнем этаже. Огромная черная дыра с ровными краями, и звезды светят. И друг тоже исчез. Конечно, друг был единственным свидетелем и, наверное, знал, куда делся дядюшка. Но он никому не рассказывал, что дядюшка проглотил сорок порошков, а потом запил одним стаканом воды, и, конечно, взорвался. Или улетел за границу. Возможно, даже на Марс. И осталась только дыра в потолке. Но поскольку в доме давно ходили слухи о враждебных и чуждых взглядах дядюшки в отношении советской власти, и даже поговаривали, что у него есть родственники за границей, то друг решил разумно умолчать, поскольку не без оснований предполагал, что его могут посчитать за сообщника дядюшкиного побега. Он и решил смолчать. Ведь про газировку все равно никто не поверит. Когда я рассказал о споре, который я слышал через стену, тетка тоже не поверила и была уверена, что дядюшка бросил ее в Москве, а сам смылся за границу на летательном аппарате, который он от нее скрывал. Тетушка всю жизнь продолжала верить, что дядюшка когда-нибудь раскается и вернется на родину, то есть к ней, к тетушке. Она продолжала штопать дядюшкины носки и, сидя по вечерам у лампы, напевала: «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». И слезы ее падали сквозь дырки носков, и она их, дырки, штопала. И поэтому я с детства, единственный, кто знал правду, пытался попасть за границу, чтобы доказать, что дядюшки там нет и успокоить тетушку. Впрочем, эта программа потеряла свою актуальность, поскольку тетушка уже давно отбыла в марсианском направлении. А сейчас ты отбываешь в Америку. Делая вид, что у тебя особая киссия, то есть, прости, миссия. Когда, на самом-то деле, все дело в газировке».



«Ты мне напомнил про советскую визу. Такая розовая бумажка. Я ведь помню, как работница министерства внутренних дел взяла у меня паспорт, а в обмен дала эту розовую бумажку. А потом взяла и порвала на четыре части мой советский паспорт. Я еще хотел крикнуть: что же вы делаете? А она порвала и в корзину выбросила». Собачин услышал про визу, прыгнул со стула и, виляя хвостом, удалился в коридор. «Я чувствую себя потерянной личностью», крикнул Тамаев вслед удаляющемуся коту.

«Для меня твой отъезд из Москвы важен совершенно из других соображений. Если ты помнишь, ты там оставил не только советский паспорт, ты оставил мне свое старинное кресло. Интересно, кто теперь на нем сидит? Я помню, как приехал с дачи к тебе на проводы, а потом нес это кресло с кем-то по улице, как будто невидимый кто-то сидел на кресле, а мы его несли. А сейчас ты уезжаешь в Америку и оставляешь мне кресло на колесиках. Меня занимает это совпадение. И ты похож на моего дядюшку. Меня занимают повторы и совпадения. Так что я отчасти даже заинтересован в твоём отъезде в Америку. Вокруг меня вообще заваривается какая-то каша из совпадений. Сегодня вечером я слышал голоса за стеной, которые говорили про меня».

«Если у меня мания бродяжничества, то у тебя здесь развивается мания преследования. Какие еще голоса?» Тамаев разлил снова, и они выпили, опять перемещая на сторону лица.

«Но мания преследования лучше, чем мания бродяжничества. Потому что требует меньших затрат. Если бы у тебя была мания преследования, ты никуда бы не выходил из дома, не ездил бы на такси в поисках миллиона и тем самым сэкономил бы деньги на великий фильм. Кстати, в общежитии на Рабиновиче проживает одна старушка-миллионерша: она всем рассказывает, что у нее в поясе зашит миллион на тот случай, чтоб знать, кого подозревать, если ее ограбят. Ты же — должен был бы всем рассказывать, что у тебя нет миллиона, перед этим хорошенько застраховавшись, и тогда тебя точно ограбили бы, а ты получил бы страховку в миллион. Но ведь у вас нет терпения ждать, пока из слов произойдут события. Вы все время ищите второй выход, вы несетесь в Америку, вы ищите новое «там», чтобы сравнивать его с прежним «там», и не понимаете, что надо дожидаться, когда новое «здесь» станет прежним. А для этого надо в аллеях городского сада пить молча кислое вино, не верить, что близка награда, и ждать того, что суждено. И соглашаться, рядом сидя, и ласково в глаза смотреть: не для того, чтоб не обидеть, а для того, чтоб уцелеть».

«Ты до сих пор продолжаешь считать, что мы попали в кафе. А мы попали в государство, где нас прописали. И приписали к историческому процессу, к которому я, например, никогда не имел никакого отношения. Я сюда приехал к моему дедушке. Точнее, к его памяти. Я всю жизнь вспоминал моего дедушку: он был аптекарем, он приготавливал мне упоительные смеси из разных сиропов и даже спирту туда подбавлял, и называл он эти напитки: микстум-пикстум-комполитум. Он мне рассказывал разные притчи. Например, про портного, который украл одежду царского наследника и думал, что будет царем, и царем он стал, но только одного он не знал: что этому наследнику, кроме царского престола, уготовлена смерть от собственного визиря. Когда надевают на себя чужую судьбу, забывают, что с этой судьбой связаны не только трон и скипетр. Дедушку моего здесь никто не помнит. А я не хочу, чтобы мою жизнь превращали в микстум-пикстум-комполитум».

«Ну конечно: у тебя Иерусалим на небе, и поэтому тебе нужна определенность судьбы на земле. Мой же Иерусалим здесь, на земле, поэтому мне совершенно наплевать, кем я стану на небе, мне важно стать никем, исчезнуть, превратиться в микстум-пикстум-комполитум. Потому что здесь все, что ни говорится, говорится всегда на мой счет, и я составляюсь из слов, которые говорят как будто не обо мне, а на самом деле про меня. Вот когда эти слова и голоса перестанут звучать, тогда и можно будет сказать, какая у меня получилась судьба. Я сегодня вечером, когда собирал свой архив, чтобы перенести его в твою квартиру, слышал голоса из водопроводного крана. Когда воды нет, через пустые трубы слышен разговор в другой комнате. Может быть, это и мания преследования, но у меня было такое чувство, что говорят они обо мне, что меня пытаются разгадать, на самом деле сочиняя за меня мою судьбу. Я слышал мужской и женский голоса, и говорили они друг с другом так, как я говорил бы с Ниной, если бы мы поменялись местами. И если вокруг постоянное эхо из реминисценций, рекреаций и контаминаций, значит скоро что-то произойдет, значит надо просто ждать, когда из чужих слов сочинится твоя судьба».

«И тебе придется доказывать, что ты не осел».

«А в Америке тебе придется доказывать, что ты не кот Собачин. У Америки в этом смысле большая традиция: ее открыл Колумб, а названа она по имени Америго Веспуччи. Интересно, можно ли сделать из нее клей?»

«Что ты имеешь в виду? Кости американских граждан?»

«Я имею в виду эту зубровку. У меня в Копьевском

переулке в свое время стояла бутылка портвейна под названием «Солнцедар». Бутылка стояла на подоконнике около года, и это такой портвейн оказался, что когда он начал распадаться на ингредиенты, то из него получился замечательный клей. Вот я и думаю, не получится ли то же самое из этой настойки на костях зубров Беловежской пуши. Кстати, откуда здесь Беловежская пуша?»

«Нет здесь никакой пуши. Все враки. Какая здесь может быть пуша, если здесь деревья сажают в камень, как в цветочный горшок. Выроют яму, засыплют землею и дерево втыкают. Как могила. Для саженцев. Новые саженцы, новая нация. Небольшой ураганчик, и все деревья взлетят к небу, потому что корням не за что зацепиться. И тогда готовы свежие могилки для новоприбывших». Тамаев хихикнул, его лицо на секунду постарело, и обозначились предательские складки у щек, по-стариковски вдруг обвисших. «Не то это место. И в голове у меня все время не то. У меня в голове другой Иерусалим был. И его из моей головы здесь упорно выбивают. Вывески эти на странном языке, все время голову наоборот вертеть, я этот язык и не узнаю никогда, лица не те, не такие, как у моего дедушки; и получается, что тот Иерусалим, который у меня в голове был, постепенно вытряхивается, выбивается, а этот новый я и знать не хочу. Не хочу!» Он стукнул рюмкой зубровки по столу. Кот вспрыгнул на стол и обнюхал рюмку. Потом сощуренно поглядел в глаза Тамаеву и мягко спрыгнул на пол.

«А кто тебя заставляет считать это место своим? Кто тебе обещал, что оно будет таким, каким оно было у тебя в голове? Зачем вам нужны постоянные материальные доказательства собственного идеализма?»

Тамаев вдруг перегнулся через стол так, что бутылка зубровки качнулась: «Ты вот пытался меня в Москве этому языку обучать. Мене, текел, фарес, и все такое. Неужели ты не чувствуешь, что здесь другой язык? Не тот, которому ты меня обучал. Не тот язык. Лица не те. Похоже все, жутко похоже, но не то. Я тебе скажу: у меня иногда подозрение», он приблизил лицо совсем близко к лицу Четвергана, и тот увидел, как в тамаевских глазах зажегся кошачий огонек, «у меня иногда возникает подозрение, что тут всех подменили, ты понимаешь, что я имею в виду?» Он откинулся на спинку стула, положил ладони перед собой, как на суде, и поглядел победно и устрашающе. «Всемирный заговор или марсианское нашествие, понимаешь? Мне это не сразу в голову пришло. Но потом я обратил внимание, что как-то слишком они похожи на то, что я уже когда-то знал. Как будто специально. Картавят, каждый третий по-русски понимает,

слишком похоже, чтобы быть истинным, это твое выражение. Понимаешь? Подменили! То есть вначале такие и были, а потом невидимый газ, однажды ночью, в наше время и не такое делают с целыми континентами, да, так вот в одно прекрасное утро вместо целого народа сплошные агенты марсианской цивилизации! Или просто советские, из-за железного занавеса просочились постепенно, и теперь комар носа не подточит. А? Каково? А репатрианты все прибывают, прибывают, их здесь быстро пристраивают куда надо. Ты заметил, здесь в воздухе периодически что-то носится? Говорят, хамсин. Слово придумали. Но известно, что раньше хамсины не летали так часто. Это еще надо все проверить. Если моя гипотеза верна, становится понятным, почему мне не дают денег на фильм. Потому что мой фильм будет разоблачающим. Если камерой снимать, то все выяснится, у меня глаз работает. Они нас переделать хотят. Ты еще не почувствовал. Но ты почувствуешь».

Рука Тамаева с вилкой, на которой зацеплена была равиолина, пророчески застыла в воздухе, и Четверган завороченно глядел, как кот, незаметно для Тамаева в бесшумном прыжке, сопровождаемом лишь звяканьем колокольчиков на ошейнике, слизнул равиолинку с вилки, и когда Тамаев, наконец ставя точку, засунул вилку с исчезнувшей равиолиной в рот, зубы со всей решительностью лягнули о металл.

«Собачин!» визгливо крикнул Тамаев, но кот уже был под столом и шмыгнул в коридор.

«Это занимательно. Нет, правда, это впечатляюще», сказал Четверган. «В сущности, отсюда один шаг до последнего и окончательного вывода: тебя тоже подменили. Тебя подменили, меня подменили: подсадная судьба. А тогда чего тебе беспокоиться? Тогда сиди и помалкивай. И если тебя подменили, никакая Америка тебе не поможет. Но тебе, чтобы с чистой совестью избавиться от прежней идеи и мотануть в Америку, почему-то надо доказать, что здесь марсианское нашествие, всемирный гипноз, и Гог и де Магог, и вообще конец света».

«Вот и нечестно это было с твоей стороны так говорить. Ты ведь бьешь по самым болезненным местам. Именно по тем местам, которые у тебя самого самые слабые, и поэтому ты так хорошо осведомлен, куда надо бить близкого человека. Под его «я», которое и есть твое. Ты же сам нагромоздил черт знает чего, чтобы уехать из Москвы, ведь так, ведь так? А сейчас громоздишь еще одно нагромождение, чтобы остаться. А я здесь не останусь, потому что здесь возникает каждый раз дискуссия, почему я хочу уехать. Надо уезжать отовсюду, где возникает вопрос об отъезде. Тут все вооружились каждый своим

Иерусалимом и глядят на каждого, кто этому оружию не присягает, как на предателя. А я жить хочу, а не присягать куче ржавых шпаг, которые нагромодили на моем пути и мешают мне пройти».

«Ничего я не нагромодил!» Четверган вдруг сдвинул зрачки, и его косоглазие моментально исчезло. «Моя жизнь это одна сплошная цитата, и чтобы отыскать источник этой цитаты, я и пустился в эти туры на колесах, и пока эту ссылку не отыщу, я никуда не сдвинусь. А когда отыщу, будет уже поздно двигаться. Я свою жизнь знаю наизусть. А вы идите, читайте новые книги, дедушек своих изучайте, судьбу свою ищите, сдавайте свою душу в багажное отделение, вылезайте из собственной шкуры».

И тут откуда-то изнутри тамаевского тела раздался пронзительный звоночек. Звенел миниатюрный будильничек-часы, точнее один из будильничков, рассованных по карманам, и каждый будильничек звенел в положенный ему срок так, что вся жизнь Тамаева была расписана от звонка до звонка. Звоночек был похож на крематорный, перед тем, как опускается гроб. Звени будильник, он твой светильник! Обожавший точность, он все время был в движении, и пустота состояния присутствия обнаруживалась коротким звонком, и собеседник вздрагивал: несмотря на суматошливость и неуклонность, и большие размеры, Тамаев исчезал в атмосфере, и только звоночек возвращал его к самому себе, только для того, чтобы снова бежать и глядеть очередной фильм. В такие моменты собственное присутствие было неожиданностью для него самого. Куда себя девать он никогда не знал, и разными хитроумными уловками терпел себя самого: гасил и снова зажигал свет, включал и выключал радио, открывал и закрывал жалюзи и, пытаясь обнаружить себя самого с помощью другого, создавал такую напряженную атмосферу, как будто вот-вот должно что-то случиться. В этот момент и звенел очередной будильник, и можно было с облегчением нестись глядеть другое кино. Он сам превращался из человека в кинофильм. Для того, чтобы фильм существовал, лента должна непрерывно крутиться с одной катушки на другую. Из Москвы казалось, что отъезд в Иерусалим — это и есть кино. Но по приезде Иерусалим превратился в действительность. И поэтому надо было двигаться дальше: Америка с точки зрения Иерусалима и была на этот раз истинным кино. Из Америки надо было держать направление, видимо, на Марс. И оттуда снимать кино про шар земной. Юпитер будет выполнять роль прожектора. Цена на билет почему-то не учитывалась, хотя именно билет стоил тех самых лир, которые, как турецкие таланты, покрыты персидскими тумана-

ми. Ты спроси об этом у менялы.

«Бежим!» вскочил Тамаев с места при звоне будильника.

«Куда? в Америку?»

«Ночной сеанс в кинотеатре «Иерусалим». Это будет мой последний фильм, увиденный здесь».

«Для тебя здесь — это всегда фильм, который показывают там. Ты же для меня фильм, который показывают здесь. И этот фильм показывают в последний раз. И мне неохота с этого фильма уходить».

Тамаев сказал, что вот прошляпили кино, но Четверган возразил, что нет такой вещи на свете, которую можно прошляпить: сначала кажется, что вот опоздал, что уже все невозвратно унеслось, а потом выясняется, что можно было еще часок подремать, потому что хоть одна электричка и ушла, зато еще одна дополнительная стоит в расписании. Но недостаток кинотеатра «Иерусалим» состоял в том, что он был расположен слишком близко к улице Таити, чтобы ехать туда на транспорте, однако слишком далеко, чтобы, идя пешком, туда не опоздать. Но сколько Четверган ни уклонялся от компании, говоря, что с ним начинает происходить в жизни все то, что он прочел или увидел в кино, а он заинтересован как раз в обратном, он все-таки не хотел оставаться в этой атмосфере зубровки и кошачьих оскалов и, сжавшись, втянув голову в воротник старого московского пиджака, он вышел вслед за тамаевской спиной в черноту подъезда. Они задержались под столбами, подпирающими дом бетонными ходулями, и приготовились к шагу во тьму, окружавшую дом черной рекой; казалось, что дом тоже должен шагнуть на этих ходулях и потом поплыть, как еще один ковчег, где каждой твари по паре. Четыре столба слева были отделены крашеной фанерной перегородкой, с невидимой прорезью дверцы, про которую можно было догадаться по белеющей в темноте квадратной размашистой надписи. Четверган вспомнил, что вот когда-то он в Москве так же стоял на Кузнецком мосту, у магазина «Соки — воды», не в состоянии решить, то ли ему прыгнуть под ливень и бежать к автобусной остановке, то ли переждать; и за спиной была витрина с такой размашистой надписью, какую любят намазывать маляры на стеклах, перед тем, как красить стены; он помнил, что, одним глазом следя за ливнем с градинами, другим глазом машинально перечитывал надпись на стекле, которая, как всегда снаружи, читалась наоборот: **тномер** — ремонт, и снова ленивый мозг переводил «тномер» в «ремонт» и обратно букву за буквой. Сейчас он провел глазами справа налево и машинально перевел в мозгу слева направо: «Ворота раскаяния». Можно,

конечно, перевести как «Ворота возвращения», или «ответа», или «отклика». За фанерной перегородкой пожилое население дома незаконно устроило синагогу: столбы запрещалось отгораживать, но что же делать, если негде поблизости помолиться? Каждую субботу из-за перегородки неслись нутряные субботние завывания, соревнуясь с муэдзином на холме в порабощении тишины, вопреки протестам соседних окон, но сейчас дверь казалась как будто забитой, и дотягивающаяся снаружи сетка тьмы пыталась слизнуть надпись «Ворота раскаяния». Или ответа, или отклика. Или преображения? Преображение будет, пожалуй, самый точный перевод. Прощай, лазурь Преображенки, Нина, Нинон, Ниневия!

Куда их несет в такую погоду, где тьма раздувалась песчаной бурей? Широкий ветер вдруг задул со всех сторон и понес их, поддувая парусом сзади и пытаясь взмыть вверх. Они вышли на шоссе, уходящую вверх и влево, и она двинулась вместе с ними по краю глубокой впадины, откуда, как из чаши, из глубокого низа, поднимались и передвигались чайные туманы, и в них плавали светляки города, и вместе с ветром наверху, по верхам, начинали плыть. Что-то в этом черном провале происходило, передвигалось, менялось, кружилась чья-то беда или чужая удача. Где-то хлопнуло со звоном стекло, и отдалось в виске улюлюканье полицейской сирены. Потом и она уплыла куда-то вбок вместе со светляками города, и город исчез, и вместе с ним уплывал и привкус зубровки во рту, и обиды вольный разговор, и следы жестоко сощуренной иронии в глазах, и следы кинжальной улыбки в уголках губ, и в этой лечашей, раздвинутой ветром темноте глаза распрямились. И лицо Тамаева, плывущее рядом с ним, с по-мальчишески вздернутым профилем, с открытым лбом, чистым пятном светившимся в темноте, вдруг не показалось шутовским; волосы, уходящие с ветром и продолженные темнотой, потяряли свое сходство с китайской косичкой. Это лицо то показывалось где-то сбоку, когда он опережал спутника на шаг, то исчезало при отставании, и было напоминанием постоянной потери, забытого слова, которое вот-вот вспомнилось, и снова ушло. Потом, когда они свернули на боковую тропинку, еле видимую под ногами, чтобы сократить путь, и оставили последние редкие фонари, их окружила подвижная, наполненная многими и многими струями черного мерцающего воздуха тьма, как будто нежный провал, провал во времени, и город как будто исчез, не стало этих шляп, косичек, пишущих машинок и газетной справедливости, распятых истиной губ и вопящих глаз — осталась устойчивая ладья, покачивающаяся на ветру, и ничего уже не надо

было вспоминать, чтобы сказать, и не нужно было говорить, потому что не надо было напоминать: каждый помнил все, и все забыл, потому что каждый все знал. Может, это и есть то, ради чего? Твоя от твоих тебе приносяще о всех и за вся. Он узнал нечто, что известно только ему самому, и что существует только тогда, когда он об этом думает, и неповторимость, которая существует только для двоих, потому что только двое об этом знают. Четверган поглядел вверх, высматривая невидимую вершину косогора, еще шаг, и вдруг она высветилась кругом света наверху.

Это были фонари кинотеатра, бывшие пучками по всему навесу полукруглой крыши. И чем ближе они приближались, тем сильнее нарастал ветер, тем сильнее раскачивалась гигантская крона одинокого дерева, нависающего над балаганом. В пучках искусственного света ниспадающая зимняя листва дробилась на серебряные монетки, звеневшие при каждом налете ветра, раскачиваясь огромным денежным мешком, и вдруг ветер менял направление, и листва снова становилась потемневшими почтовыми марками, которые вот-вот разлетятся. Еще один поворот, и — знакомое детское чувство, как будто запахло цирковыми опилками, мороженым, и вообще тем предвкушением тайны и праздника, когда мальчишкой, выставив билет в потной ладони, как пропуск в другой мир, он стоял перед нишами циркового подъезда и билетер, в ливрее и в фуражке, похожий одновременно и на милиционера, и на короля, поглядывал на него строго и вдруг подмигивал. Они одолели последний подъем и оказались на залитой нестерпимо ярким желтым светом площадке перед кассой кинотеатра.

\* \* \*

## ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ

Слова, составленные из электрических лампочек, нависали аркой, ведущей в черный провал кинотеатра. В пролитый желтый воск фонарей, качающихся на крыше, врезалось никелированное сияние турникета, который вел к окошку кассы: такой глазок в темноте, с черным зрачком — головой кассира. Ни единого человека не было перед входом, и шумело дерево монетным звоном жестких, вечных листьев. Тамаев, с лицом без носа, белым от прямого электрического света, потянул его мимо окошка кассы. Окошко заполняла голова: как у фотографа, где можно просунуть голову в дырку, и выйдешь на коне или стоящим над пропастью, или



в космической ракете. У головы были закрыты глаза, она казалась мертвой. «Спит», сказал Тамаев и, взяв под руку Четвергана, шагнул к шторке, прикрывающей двери. Он потянул за ручку, и на них упал труп в зеленой хламиде. Его остановила афишная тумба. От яркого света только что проснувшийся охранник казался как будто с накрашенными губами, а глаза были подведены синяками бессонницы. Он ласковым, умелым, быстрым движением ощупал каждого с головы до ног, слегка похлопывая по выпуклым местам, намекающим на скрытую бомбу, а потом, чуть поклонившись, подтолкнул их в черную яму кинозала, откуда неслись голоса из другого экранного мира. По лунной дорожке между дверью и экраном, на котором что-то металось и кричало, они пробежкой добрались до первых рядов, пригибаясь, как будто во время перестрелки, и шумно уселись: Тамаев считал своим профессиональным долгом сидеть лицом к лицу с изображением. «Переводи!» со свистящим шепотом толкнул он локтем Четвергана. Но переводить было бесполезно, потому что Тамаев не слушал, а пристально всматриваясь в очередную смену кадров, прищурился в темноте, и его побледневшие губы произносили «четыре тысячи долларов», злобно и четко называя стоимость очередного эпизода:

«Ты мне пересказываешь то, что глазами видно, а я сам вижу, сколько это стоит: ты знаешь, сколько стоит одно ночное небо в кино? Миллионы! Потому что надо жечь кучу света».

«Я тебе пересказываю все подряд, потому что я без очков. Если я не пересказываю все подряд, не бормочу все подряд, я запутываюсь. Вот если бы ты мне пересказывал изображение, я бы переводил одни слова».

На экране по песчаным голым холмам пробирался джип, крутя на месте колесами, и от песка отплевывался водитель: это великий репортер Уолтер Митти, обвешанный магнитофонами и кинокамерами. Наконец на пыльном горизонте показывается выжженный солнцем известковый город. Уолтер Митти пытается разузнать дорогу к командному пункту освободительного движения дядялюков, но безмолвные жители, завернутые в белые простыни, не снимая черных обезьяньих очков, протягивают руку за сигаретой, а потом бесчеловечно отворачиваются. Дойдя до постоянного двора в окружении чахлах пыльных пальм, он снимает комнату: по проводке ползают тараканы толщиной в палец, но Уолтер Митти нелепо чувствует, что это верное место. В соседнем номере лежит труп белого человека, скончавшегося от инфаркта, жары и одиночества. Поглядев на себя в зеркало и установив полное сходство собственной внешности с трупом,

Уолтер Митти подменяет документы и меняется собственной личностью с типом, скончавшимся от инфаркта. Восхитительная идея: к черту читателя с утренней газетой, к черту фото-кино-магнитофоны, к черту дюны, саксаулы, аулы, аксакалов: лучше стать раз и навсегда тихим англосаксом. Газеты сообщают о скоростижной смерти нашего корреспондента в Африке. А он сидит в тихой квартирке под чужим именем. Вдруг телефонный звонок. И еще один. И еще одна загадочная встреча. В одной из заброшенных церковей черный человек в белом костюме вручает ему миллион по возвращении в западную цивилизацию. Это за дружбу, оказанную черному движению. Проницательный Уолтер Митти понимает: он обменялся биографиями с подпольным поставщиком подпольного оружия подпольным освободительным движением. Теперь его разыскивают представители папалюков по записной книжке. И от жены тоже не удалось избавиться: зная характер Уолтера Митти, она подозревает, что он поменялся с кем-то паспортом. Она пытается встретиться с новоявленным контрабандистом, но Уолтер Митти уклоняется. И вот, когда она обнаружила его местожительство в удаленной от цивилизации гостинице и уже открывает дверь, представитель движения тетялюков, склонившийся над спящим Уолтером Митти, взмахивает длинным широким ножом — потому что, оказывается, двойник Уолтера Митти предал тетялюков мамалюкам, и поэтому тетялюки обязаны его зарезать. Он же не знал, что делал его двойник: кого предавал, от кого скрывался? «Черт возьми, опасно обмениваться биографиями!» говорит Уолтер Митти, направляя нож, который был приставлен к его горлу, в горло тетялюку. «Ты не той стороной держишь нож!» кричит жена Уолтера Митти. «Сколько раз я тебя учила: когда чистишь картошку, надо нож двигать к себе, а не картошку от себя!»

«Почему ты пересказываешь?» толкнул Тамаев локтем в бок. «Я не могу ухватить идею из-за этих перескоков!»

«Это не я пересказываю, а мозги Уолтера Митти. В этом и состоит тайная жизнь Уолтера Митти. Когда он идет по тропинке к дачной калитке, ему начинает казаться, что он летит по направлению к Марсу, марсиане нападают, происходит утечка кислорода, он пытается открыть люк, дверь в железной стене, и тут слышит голос жены: «Щеколду надо отодвигать вверх, а не в сторону». И он возвращается к дачной действительности. Собственно, весь фильм — это поездка Уолтера Митти с женой на дачу и завтрак на террасе. Жена его держит в ежовых рукавицах, а он маленький человек и герой в мечтах, а не на деле, и поэтому как только жена оставляет

его на минуту в покое, он сразу же пускается в авантюры — исключительно в мыслях».

«Вам не стоит сегодня появляться в вашем номере», говорит Уолтеру ночной портье венской гостиницы. «Вам лучше уносить поскорее отсюда ноги, господин штурмбанфюрер», говорит Уолтер Митти и скашивает глаза на молодую женщину в манти. Штурмбанфюрер вешает ключ обратно на крючок: «Заключенная номер 1610727?» бормочет недовольно штурмбанфюрер и, нахлобучив на лоб модную шляпу послевоенных времен, выходит, не оглядываясь, под венский моросящий дождь. Уолтер Митти, ночной портье, гасит сигарету и пристально всматривается в лицо молодой женщины. Сегодня ему придется уклониться от обязанностей ночного портье, и американская старуха-миллионерша останется в эту ночь без любовника. Уолтер Митти, с медальным лицом, шрамом на щеке и седой прядью на лоб встречается с большими нервными глазами женщины в манти, и происходит наплыв в прошлое, в концентрационный лагерь, где Уолтер Митти служил лагерным врачом. Она, ее тогда звали Нета, была девочкой в лагерной форме с номером на руке 1610727, и он, опытный мужчина, вызывает в кабинет номер 1610727, расстегивает ширинку, и номер 1610727 встает на колени — короче, под его руководством она прошла высокую школу маркиза де Сада и шевалье Захер Мазоха. И вот жертва встретилась с палачом. Через пятнадцать минут ночной портье Уолтер Митти увольняется с работы. Они запираются в его комнате, и начинают заниматься садомазохизмом на протяжении часа, повторяя все эротические позиции и кульминации, которые имели место между ними в концлагере. Жертву тянет к палачу, потому что у жертвы чувство вины, что именно она, жертва, провоцирует палача на преступление, говорят они друг другу. Они с тщательностью и педантичностью повторяют все обстоятельства действия, заводят ту же пластинку с немецкими маршами, он одевается в нацистскую форму, она в лагерную пижаму, и даже обои в комнате напоминают кирпичную лагерную стену с колючей проволокой-бордюром. И вообще мы понимаем, что у них основная идея не постель и не садомазохизм, а возврат в прошлое в поисках утраченного времени, и ему хочется понять, зачем он ее мучил, а ей хочется еще раз почувствовать, какое удовольствие она получала, давая себя мучить. Но они окружены: его коллеги по концлагерю, укрывающиеся под маской местных жителей, должны ее уничтожить, как единственную свидетельницу, и поэтому дом в тайной осаде этими молодчиками, во главе с бывшим штурмбанфюрером и за продуктами не выйдешь, и на фоне

мирной венской жизни они подышают с голоду: в полицию тоже ведь нельзя звонить, все раскроется. И они дерутся из-за банки с повидлом, а потом размазывают его по всему телу, а потом слизывают. А потом не выдерживают, он надевает свой нацистский мундир, она лагерную форму девочки, и выходят, шатаясь, на мост, взявшись за руки, и тут их подстреливает из бесшумного пистолета бывший штурмбанфюрер. Жертва, таким образом, совершает казнь над палачом. «Сколько ты кладешь варенья на хлеб? У тебя же будет диабет!» вскрикивает жена Уолтера Митти.

«Почему ты не напишешь Нине, чтобы она к тебе приехала?» неожиданно спросил Тамаев.

«А кто тебе сказал, что я хочу, чтобы она приехала?» покосился Четверган.

На экране происходили случайные сопоставления, но случались они с маниакальной закономерностью. Уолтер Митти возвращался в свои сны наяву с постоянством, где конец одного сна приклеивался к началу другого, и поэтому к концу фильма уже невозможно было сказать: что реальнее — жизнь на даче или авантюрный сон? При этом причины путались со следствием, следствие с приговором судьбы, а судебное наказание с уголовным приговором. Так как они пропустили начало, то весь фильм становился похожим на детективный роман, который читаешь без словаря, и поэтому надо угадывать значения слов и истолковывать поступки самому, не дожидаясь автора, и это истолкование часто не имеет никакого отношения к книге, и лишь к концу, когда книга почти прочитана, то самое главное ключевое слово, которое неизбежно повторялось на протяжении всего романа, а ты, не зная его истинного значения, все время примысливал его, — это слово вдруг получает жестокое словарное значение, переворачивая все твои мнимые гипотезы, с которыми ты уже так сжился, что они стали дороже детективной истины. У Четвергана болели глаза от мелькания эпизодов на экране, и хотелось спать. Он глядел на деревянные, обточенные чужими спинами ряды кресел, поблескивающие в сумерках редких ламп, на багровые светящиеся надписи у выходов: «не курить, семечки не грызть». Не грызть семечки. Очень, наоборот, необходимо грызть семечки в таком климате. Потому что это жевательный процесс, а здесь давление, а когда жевательный процесс, это более быстрый обмен воздуха, и таким образом уравнивает внутреннее и внешнее давление. Как, к примеру, в самолете, во время взлета и посадки, надо сосать конфету. Хорошо бы сейчас соевых батончиков к чаю. Вчера купил какие-то «Мокко», надеялся, что их коричневость заменит соевость.

Все есть, а вот обычных соевых «Ротфронт» не найдешь. Он бы пошел даже на компромисс с «Походными», несмотря на то, что их приторность никаким чаем не сведешь. На «Походные» нужно дикое количество чая: два чайника заварки, или даже три. А от этого болит не то сердце, не то печень, или все сразу вместе. Нина будет ругаться, что за собой не следишь, относишься наплевательски к собственному здоровью. Правда, теперь это уже из области эпистолярного жанра. Впрочем, можно прямо с всемирной делегацией филателистов, например, прибыть в Москву, сесть на электричку и открыть калитку. Вот только от зубровки разморило: тяжело идти от станции, и он долго не мог сообразить, как открывается щеколда. И еще в руках тяжелый альбом с пустыми конвертами, прямо с марками, оттягивает плечо. Наконец калитка высокого забора раскрылась, и он шагнул на дорожку дачного участка. Среди совершенно уже невозможных, но прекрасных зарослей стояли отдельно двери, рамы окон, в траве лежало крыльцо. Одна стена полулежала на яблоне. А в воздухе стоял густой запах малины, или разросшейся крапивы, потому что после дождя жарило солнце и поднимался пар. Он остановился—лицом к этой прекрасной неразберихе, но знал, что за спиной кто-то есть, и надо только дожидаться, когда его позовут. И тогда можно будет отбросить в траву этот проклятый альбом с почтовыми марками и распрямиться.

«Где ты, милый, что с?» услышал он голос Нины. Он обернулся и увидел, что Нина стоит на лавочке, и подобрав юбку, поводит ногой, как будто пробует воду в речке, боясь в нее войти. «У нас сейчас сплошные грозы. Сегодня ночью молния ударила в дерево напротив моего окна. Расщепила сук. Видишь, какая тяжелая ветка нависает?» Он задрал голову и посмотрел на черную тяжелую ветвь: она не падала, но раскачивалась, грозя отщепиться вот-вот. «И мебель всю разметало. После твоего отъезда я никак не могу вставить двери в петли».

«Но почему ты не хочешь прыгнуть с лавочки?»

«Это опасно: ветвь может отщепиться от малейшего сотрясения».

«Давай я тебе помогу, вот моя рука».

«Нет, я должна сама прыгнуть, иначе не считается».

«Но ведь я уже здесь, какие могут быть счеты?»

«Покажи паспорт», говорит она и подозрительно улыбается. Он начинает хлопать себя по карманам, задирает полу пиджака, чтобы залезть в карман брюк, но альбом мешает, а положить его на траву нельзя, приходится перекладывать его из одной руки в другую. Зачем он потащил с собой этот альбом?

Ведь если он уже приехал, зачем все эти почтовые конверты? Надо вот только паспорт найти, свой бывший, советский. И тогда вообще никаких проблем: никто не догадается, что он жил не здесь, а там, никому и в голову не придет спрашивать, ведь он же по-русски говорит, а не как-нибудь по-бусурмански. Прямо подойти к окошку и сказать, что паспорт потерял. И выдадут новый. Только справки ни одной невозможно обеспечить. Если б хоть одна справка, или, например, трамвайный билет, лучше прямо проездной, месячный, там фотография, и год стоит, тот год, когда он был еще здесь, и следовательно, все доказано: фотография его, и год подходящий. Но в ящиках только клочки, пуговица, часы без стеклышка, телефоны на пустых сигаретных коробках, перевязанная аптечной резинкой коробочка. Там прядь волос, когда он был еще младенцем, и это тоже можно представить в качестве доказательства; но лучше прямо месячный проездной, с фотографией и датой. Постучаться в окошко и сказать: потерял паспорт. В окошке женщина со сморщенными губами поставила печать на заявлении и вдруг выхватила из рук папку с конвертами.

«Вы в нашем учреждении, и мы обязаны проверять все входные и выходные бумаги», сказала она по-английски. И если она сказала это по-английски, значит все, конец, он разоблачен. Он с ужасом смотрел, как чужие руки листали папку-альбом, просматривали каждый конверт и быстро фотографировали: теперь они будут знать имена, адреса, телефоны, обратные телефоны, обратные адреса, обратные имена. И тут паспортистка, пошелестев бумажками, как денежными знаками бухгалтер, поплеывая на пальцы, вытащила письмо и стала его внимательно читать. Он увидел знакомый почерк шариковой авторучки. Женщина в погонах помусолила чернильный карандаш о свои сморщенные губы. Мелькнул раздвоенный змеиный язычок. И она стала быстро переписывать письмо на бланк, похожий на бухгалтерскую квитанцию. Тут он и увидел, что письмо начиналось со слов «что с», и понял, что вот оно где, это письмо, вот оно, а он его искал не в том месте. И тут тетка в погонах взяла его двумя пальцами, встряхнула, как мокрую простыню, и стала рвать на мелкие кусочки. «Что же вы делаете», закричал Четверган. «Как же я восстановлю свою жизнь без этого письма?» Но женщина выбросила клочки в корзину, подышала на печать, прижала ее к квитанции, и сказала: «Распишитесь». И протянула чернильный карандаш на железной цепочке. Четверган заглянул в квитанцию и спросил: где? Женщина ткнула пальцем в нижнюю часть листка, и Четверган прочел: **Подпись расстрелянного.**

«Дурак, какой дурак, как ты мог поверить, что они поверят», с обидой мелькнуло в голове. Чтобы всех предупредить, он по ступенькам вбежал в кафетерий при гостинице «Москва». Там стояла полутьма, желтоватым блеском сияли приглашенные плафоны, блестела никелированным боком кофейная машина, и на ней раскачивалась вывеска: «закрыто на ремонт». Опоздал. Обеденный перерыв, а самолет отлетает. Он не успеет на самолет. Как жалко: как раз четверг, можно было бы всех сразу и предупредить. Но если ему один раз удалось проникнуть, значит можно будет еще раз. Только надо денег набрать на билет. Перед выходом он увидел свое отражение в мутном большом зеркале и не узнал. На него глядел иссохший человек в пальто из папирусов. Или из почтовых конвертов, и на конвертах старым знакомым почерком было написано столько, что он подумал: «И это все надо будет снова читать?» С другой стороны, ему, значит, удалось все-таки обмануть тетку в окошке и заполучить все обратно. Это была хорошая идея сшить из всех писем пальто: на таможне никто не догадается, и можно будет все спокойно пронести через загородку. Только зачем все это было тащить туда и обратно? Он снова отодвинул щеколду и распахнул тяжелую калитку. Двери и окна, и стены поставили на свое место, но Нина все еще стояла на лавочке.

«Осторожно, ветка упадет!» крикнул Четверган. «Прыгай, не бойся, я спешу!»

«Не протягивай мне руки. Я это должна сделать сама. Но я тебе все равно не прошу, что ты меня оставил на лавочке, чтоб я сама решала, прыгать или нет. Просто удивительно, как за такой короткий срок тебе удалось взлететь над всеми нами. Я рада за тебя, что ты продолжаешь все так же весело крутиться вокруг оси, которую ты там себе создал».

«Неужели ты не понимаешь, продолжение любого разговора означает, что ты будешь продолжать вот так вот стоять». И вдруг он услышал, как налетел порыв ветра, и ветка над головой страшно треснула и заскрипела.

«Поберегись!» крикнул Четверган и потянул Нину за нос. И вдруг лицо сползло, как чулок, и под этим сползшим чулком оказалось лицо женщины с погонами из окошка. Она пожевала губами и сказала: «Вы что же бегаєте? Я же вам сказала: у вас ответ положительный, почему не расписались на протоколе?»

И он побежал в другую сторону по Софийской набережной. Мелькали купола только что отстроенных церквей. «Надо шапку снять», подумал он и вдруг почувствовал, что она горит. Горит на голове шапка, а снять невозможно,

потому что это ермолка, она на булавке, чтобы за волосы держалась, а булавка от огня раскалилась, плавится, никак не расстегивается. И тогда он бросился вниз с Большого Каменного моста. И плывет, и вот уже берег Мертвого моря. Тамаев ходит в купальных трусиках. Он бросается к Тамаеву: «Я сейчас в Москве был, но надо было спасаться». А Тамаев спрашивает: «Где же доказательства, что ты в Москве был?» И действительно, нет никаких доказательств.

Когда кино кончилось, и Тамаев растолкал спящего Четвергана, тот понял, что видимо говорил во сне, потому что Тамаев стал обсуждать фильм, приплетая дачу, и принимая сонный бред Четвергана за слова перевода. Двигаясь к выходу, Четверган заметил, что в зале они были все-таки не одни: одинокий зритель с палочкой, затянутый в галстук, проводил их долгим взглядом, достал что-то из бумажника, поглядел на Четвергана и снова на квадратик из бумажника, потом тоже поднялся и двинулся вслед. Четверган пытался вспомнить, почему лицо этого наблюдающего зрителя ему знакомо, и даже решил, что это сосед по подмосковной даче. Но через секунду вспомнил, что этот же человек сидел неподалеку от них, рядом с железным источником, на берегу Мертвого моря, когда едкая вода брызнула в глаз Четвергану, и он долго мог глядеть только одним глазом, гагада шель песах.

## 8

Несчастный Тамаев! Ведь он мчится в поисках «эврики» по дорогам Америки, потому что у него нет своих слов для этой закинутости и заброшенности, а Четверган, всегда отыскав тупик в качестве выхода, за словом в карман не полезет, чтобы прижать к стенке. Ты ему про Фому, а он про Ерему. Или ударит еще одной пословицей и поговоркой очередного Захара Баязитова А. А.: «Раньше дулись все, а теперь на стульях все!» Все эти анекдоты рассказывались для того, чтобы скрыть тот неприятный разговор, без которого ни один из анекдотов не поймешь. Что ведь кончилась одна любовь, а второй больше не будет.

На дачу надо было уезжать, чтобы потом снова возвратиться в Москву. Надо было так далеко уехать, чтобы получить, наконец, признание в пораженьи. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Когда такое расстояние между пораженьем и победой, непонятно, то ли звучит эхо от



удара литавр, то ли шум в ушах от удара по голове. Нам не дано предугадать, где наше слово отзовется. Раньше подсчитывались удары, теперь сопоставляется эхо от бывших затычин. И мотивы эти начались у кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади:

«Вы его бросите, и сделаете большую ошибку. Но я почти наверняка знаю, что вы его бросите», сказал я тогда Нине. Она естественно вскинула подбородок:

«Но почему, с какой стати такая уверенность?» С ее стороны, со стороны ее метнувшихся глаз от неожиданно заостренного на ней разговора, это был не вопрос «почему?» а, скорее, реплика для продолжения разговора.

«Потому что», начал я и, поглядев, как она, по-четвергановски прищурившись, косит глазом, выпалил: «Потому что вы выучили все его ужимки, все его словечки, если не все его мысли, и он вам теперь только мешает: вам хочется оказаться одной на свете и раскрутить его в себе без его присутствия. Вам не терпится. Вы, можно сказать, заново родились, и вам не терпится начать жить самостоятельно».

«Может, это и верно, что у меня те же ужимки и те же словечки. Но ведь я не могу ничего сказать, пока не представлю себе его на моем месте, и что бы он в этот момент сказал, и как бы посмотрел. И только тогда я могу говорить как будто за него отсутствующего».

«Вот именно, отсутствующего. Он уже вам стал мешать: вместо того, чтобы говорить за него вам, он говорит сам за себя. И как раз то, что вы прекрасно осознали технику этого передразнивания, это уже у вас не обезьянничанье и не попугайство, а другая инкарнация. Которая возможна только на том свете, где его нет. Вы уже больше, чем его отражение. Тень отделилась от хозяина. И ей нужно собственное зеркало, то, где сам человек уже не отражается».

С этого начался тот единственный откровенный разговор у меня, Тутова, с Ниной, которая там, и она его мне до сих пор простить не может. Она считает, что я его пересказал Четвергану, и именно из-за этого, то есть из-за меня он уехал. Но сначала он ведь уехал с дачи. Об этом она забыла или постаралась не вспоминать в своих письмах из Москвы. Но тогда она все это слишком хорошо помнила. В тот день она вдруг позвонила мне и предложила пойти в кино: у нее было два билета на фестиваль в кинотеатр «Россия». Я настолько не предполагал, что Нина может позвонить мне, что сначала долго не мог понять, что же это за ломающийся мальчишеский голос приглашает меня в кино.

Но когда этот голос сказал, что шатается по городу и не может найти Четвергана, который вдруг неожиданно уехал с дачи, до меня дошло, что говорит Нина.

Встретившись у памятника Пушкину, мы тупо просидели два часа в темном зале «России», делая вид, что смотрим фильм, который оказался детским, потому что в «России» был в этот день детский кинофестиваль. Я чувствовал, что ей не по себе, и из-за внезапного отъезда Четвергана с дачи, и из-за того, что она затащила меня на детское кино, и из-за того, что она вообще позвонила именно мне. И поэтому, когда мы вышли наружу, я предложил выпить пива и с увлечением, сидя за белым столиком, на ступеньках кинотеатра, рассуждал о значительности этого фильма, стараясь вообразить себе, что по этому поводу мог бы выдать Четверган. Это был фильм про двух мальчиков, они учились в одной школе. Один был героем класса, мечтал стать великим человеком и полководцем, великим борцом и атлетом. А его друг был просто скромный мальчик и наслаждался самой дружбой. И мысли не допускал, что девочка из соседнего класса, в которую он был влюблен, ходит с ним в кино, потому что влюблена в него: он был уверен, что она ходит с ним в кино потому, что хочет через него познакомиться с его знаменитым другом. А знаменитый друг, фантазер и неудачник, пока другие работали и ходили в кино, занимался фантазерством, в университет не поступил, украл чужую идею изобретения, его разоблачили, отовсюду повыгоняли, а девочка вышла замуж вовсе не за него, а за его скромного друга. Но фантазер и неудачник все-таки был показан как благородная натура, когда, преодолевая собственное честолюбие во время прогулки, дал девочке и своему сопернику перочинный ножик, чтобы они смогли вырезать свои имена на коре березы. А ведь он мог этот перочинный ножик скрыть, тем более, что скромный друг был против порчи зеленых насаждений и лишь подчинился желанию девочки. А потом ночью фантазер и знаменитый неудачник катался по кровати и звал маму, потому что запутался в чугунных цепях, тренируясь на атлета. Мораль фильма состояла в том, что рано его еще осуждать, и рано над ним смеяться, и рано его жалеть: может, у него ничего не выйдет, а может, он сумеет еще всех обмануть. Он стремится подойти еще раз к огню, на котором обжегся.

«Он стремится уйти от себя самого: от того себя, который стал вами, или от вас, которая стала им. Он за неизбежность смены: за новые пути и новые измены. Он хочет быть победителем вечного поражения, всадником без головы, оставленной в чужом краю, хромым бегуном

на длинную дистанцию. Ну как еще сказать: он делает свои последние и решительные шаги не вперед к свободе, а в сторону, прыжок вбок от собственного прошлого, от страха раствориться в собственных отражениях. Он уходит от нас, как от самого себя, ему опостылевшего». Это я сейчас, наедине с собой, так много и запутанно выражаюсь, а тогда, сидя на ступеньках «России», под тенью памятника Пушкину, повернувшегося к нам спиной, я говорил, неразборчиво мямля, выжимая из себя по капле, глядя даже не ей в глаза, а на ее четырехкратное отражение в четырехстворчатой буфетной стойке за спиной. Говорила подробно и запутанно как раз она, а не я, подталкивая и снова пододвигая носком резной туфли камешек, который приходился как раз на макушку тени Пушкина. В скверике невдалеке слышалась считалка: девочки играли в прыгалку, вертя веревку. Их голоса казались такими же далекими тогда, как сейчас мне кажутся далеким эхом наши с ней голоса.

«Эти все пигмалионо-галатеевские рассуждения хороши только со стороны», сказала тогда Нина. «А на самом деле все происходит гораздо менее трагично и гораздо более безысходно. Он просто перестал со мной разговаривать так, как это было прежде. Сейчас он стал меня учить: не делай того, езжай туда, слушай сюда. И я его раздражаю, как всякая невнимательная ученица раздражает учителя математики. Он все время меня одергивает. Я ему боюсь пожаловаться на разбитое колено, боюсь попросить у него самой элементарной помощи, боюсь намекнуть ему на его малейший недостаток. Боюсь позвонить ему в Копьевский переулок, когда он вдруг срывается с кресла и уезжает с дачи».

«Конечно. Этому чайнику надо дать перекипеть. Чтобы вышли все дубильные вещества. Дать ему дойти до тупика, вы же сами тогда сказали, той ночью, когда мы столкнулись у него в комнате в Копьевском переулке. Он был тогда в таком же состоянии, только в обратную сторону. Он же мне тогда сам показал открытку Тамаеву в Иерусалим: «нечего в дырявых брюках таскаться по заграницам и рожать в муках провинциальные цивилизации, и что дядя без племянников — не дядя». Тот же тон нетерпимости к жалобам и просьбам о близости. Когда он в таком состоянии, при нем никогда нельзя жаловаться, никогда нельзя искать сочувствия. Потому что он в таком состоянии, когда каждое напоминание об отрицательных явлениях совместной действительности, вызывает только один резкий ответ: «Как будто я сам этого не вижу». Но он не видит. Так как он сам в самоубийственном состоянии, он требует того же и от

других, чтобы говорили об этом как бы между прочим, как о чайном припасе, с оживленной настойчивостью, но и с готовностью в любой момент сменить тему, как будто ничего не происходит. Он в такие периоды считает, что у него настолько все плохо, что он имеет право раздражаться, едва заслышав о чужом несчастье. Безусловно, с нерасщепленными ему и делать нечего, но в такие периоды ты изволь быть и расщепленным и ущербным, но и держаться на высшем уровне при любых передрягах без слюнявых слез. А вы, наверное, старались вызвать жалость с помощью надуманных поводов. А потом еще и извинялись за надуманность повода, что было вдвойне неправильно, потому что лишний раз напоминали ему о собственной душевной оплошности. То есть напоминали о себе».

Она отбросила камешек в сторону носком туфли: «Вы слишком сложно его воспринимаете. Это он на людях такой обаятельно-трагический и озлобленно-щедрый, и вообще не человек, а оксюморон. Но вы бы поглядели на него, когда уже нет третьих глаз, которые нужно охмурять, как будто видишь их в первый и последний раз. Уже нет людей, в глазах которых он тот верный и единственный, кто поведет их в последний и решительный бой. И он может позволить себе стоны от боли в спине, и крикание, и отрыжку от изжоги, и головную боль с похмелья от вчерашних разговоров». Она говорила о Четвергане ужасные вещи. Я сидел притихший, и, опустив глаза, глядел, как пивная пена превращается из январских сугробов в весеннюю слякоть. «Вы бы видели его сегодня на даче: небритое, опухшее лицо кричащего человека, с омерзением взирающего на каждую мою попытку оживить этот день, неловко, конечно, смущаясь, и от этого у меня это получалось еще более жалко и неприятно, и бесполезно».

«Но это ничего не меняет в том, что я говорил. Просто он начинает жить лишь в присутствии чужих глаз. А ваши глаза давно похожи на его собственные. Точнее на глаза того его, который уже выдохся. Вот у него и выдохшаяся интонация. И все равно надо было бежать с ним нога в ногу. Чтобы он собственным лбом уперся в стену на пути к собственной неизбежности, а не воображал, что тыкается в вашу спину или что вы тянете его назад за руку. А сейчас он считает: сама виновата. Потому что если б вы двигались вместе с ним в том направлении, которое он укажет и которое ему указано свыше, все давно было бы в порядке. А так — каждая ваша неурядица для него лишний повод доказать, что вы уклоняетесь и соответственно наказуетесь. Он будет рад каждому такому поводу, потому что без убеждений

даже ему трудно обойтись».

«Все это можно было сказать в тот период, когда он не выходил из Копьевского, после юродства во время ученого совета. Тогда я могла понять, что ему нужно дойти до тупика, биться головой об стену, чтобы убедиться в том, что есть на свете существо, которому на это не наплевать, и оно придет на помощь. Он тогда занимался проверкой, так сказать, существования Бога», она запнулась от собственной многозначительности, но, не заметив намека на ироническую улыбку с моей стороны, продолжала: «А сейчас?»

«Сейчас», быстро вставил я, обрадованный возможностью сформулировать корень противоречия по глубинке: «А сейчас он уже убедился, что Бог существует — это он сам. И сейчас он занимается богоборчеством. Поскольку он давно понял, что он не просто неразумный хазар, не просто сын избранного народа, что всегда тяжело. Когда ты сам и есть избранный народ, это просто невыносимо».

«Это прежде всего невыносимо для окружающих», сказала она несколько раздраженно. «Для вас это тема для высокого разговора, а для меня это жизнь. Для вас он — это стиль жизни, а для него это железная необходимость. И у меня такое впечатление, что эта железная необходимость нуждается в моем отсутствии. Чтобы меня не было. Чтобы меня убили, например. Я не шучу: я серьезно подозреваю, что он надеется на мою смерть».

«Конечно. Но мысленно. Этим и отличается век нынешний от века прошедшего. Раньше надо было убить старуху-процентщицу, чтобы потом мучиться духовными противоречиями. Теперь же преступление совершается мысленно, а в качестве наказания человека перегоняют фон орт цу орт, взимая деньги за паспорт. А если бы случился метагалактический взрыв, можно было бы вообще не думать, кому тыкать в нос нашей солнечной системой. Конечно, как не помечтать, чтобы вы покончили самоубийством, и тогда можно было бы запереться в трауре, разобрать все бумаги и с пустым чемоданом уйти к неведомым пределам. Но таких мыслей перед сном у каждого из нас целый багажный вагон. Есть такой детектив: там одна женщина так ненавидела своего мужа-миллионера, что оставила больше улик, чем настоящий убийца».

«Опять английская литература. Он целыми днями читает английские детективы. Без словаря. Сегодня утром, на даче, проснулся, как всегда, мрачный. Я спросила, что он будет пить: кофе или чай. Он процитировал из книжки «Все о кофе», которую читал с утра: если то, что я пил вчера, был кофе, то чаю. А если это был чай, то кофе. Он последнее

время все время говорит со мной исключительно цитатами. Был такой потрясающий весенний день, я сначала копалась в саду, а потом мне захотелось пойти к озеру. Но он сидел на веранде в плетеном кресле и читал очередной детектив без словаря. Я не понимаю, как можно сидеть и читать книжку на незнакомом языке. И все время детективы: все парики и подставные лица, но он все время сравнивает эти ситуации с отъездом, я не могу уже об этом слышать. Я ему предложила пойти на озеро, но он сказал, что собирается возвращаться в Москву. Он сказал, что сегодня проводы Тамаева. И на всякий случай спросил: не хочу ли я присоединиться. Но он прекрасно знает, как мучительно мне появляться на этих шумных и остроумных поминках, когда надо все время говорить что-то многозначительное и печальное, или наоборот все время острить, как будто ничего не происходит. Тем более я не была уверена, что сегодня действительно проводы Тамаева».

«Не знаю, меня не пригласили. Впрочем, меня давно никуда не приглашают», сказал я.

«Даже если сегодня его официальные проводы, я все-таки думаю, что он уехал в Москву, чтобы встретиться с Налитухиным, а вовсе не на тамаевские проводы. Он последнее время все время срывается с дачи, а потом возвращается пьяным, каким-то Ветрогоном, а не Четверганом. Я уверена, что он встречается с Налитухиным. У него странная к нему привязанность».

«Просто с Налитухиным он может вести себя свободно: Налитухин как раз то, что Четверган позволяет себе лишь словесно: Налитухин — это слова о разнузданности, но в натуре», сказал я. «То есть в общем то, что Четверган говорит в знак протеста. Наперекор стихиям. Налитухин — это Нагрев-теч, то есть Четверган наоборот».

«Если вы правы, и если я превратилась в Четвергана в юбке, в его двойника, и он от меня бежит, как от самого себя, то я должна бежать от него: завести себе любовника. Пусть знает», она закусила губу. «Налитухина, например. Это идея».

«Это не поможет. Он просто не заметит. Он настолько этому не захочет поверить, что просто не заметит. Вам надо просто переждать. Он сейчас впал в очередной период. Он ведь каждые десять лет меняет шкуру. И как к змее, которая сбрасывает шкуру, к нему опасно приближаться: укусит. Он живет одной идеей, пока та себя не исчерпала. Потом наступает плохой период, пока новая идея не зашебечет, и он будет с ней носиться по всем домам и переулкам и требовать от каждого и всякого последнего и решительного

ответа на очередной вечный вопрос. И так он будет вечно поднимать и шелушить эти идеи, как орехи, а шкурки кидать через плечо, и они, конечно, летят кому-то прямо в лицо, и это, конечно, обидно. И поэтому так опасно двигаться позади него: всегда нужно или сбоку, или чуть впереди. И сейчас он меняет свою идею «ты и я», то есть Вы и Он, которая стала вашей. И всякое уклонение от его новой идеи он воспринимает как предательство, и то, что вы не хотите двигаться вместе с ним в иерусалимском направлении, он будет выставлять как объяснение вашего несчастья. Вот если бы вы двигались вместе с ним, все было бы в порядке».

Она поднялась, накинула сумочку с ремнем на плечо:

«Плохо себе представляю, что с ним будет, когда он осуществит все свои великие идеи. Вы думаете, он возвратится ко мне? Сомневаюсь. Скорее всего, произойдет то, что происходит с великим человеком, осуществившим свою великую идею: другой не будет никогда. Другой не будет, и он меня променяет не на кого-то, а на НИКОГО».

И она двинулась по тротуару вокруг памятника Пушкину, когда в окне троллейбуса, поворачивающего вокруг сквера, я вдруг увидел Четвергана. Они двигались почти параллельно: Нина по тротуару, а Четверган в окне троллейбуса, и я ждал, что Четверган вот-вот махнет рукой и позовет Нину: я ручаюсь, что он видел ее, он ее рассматривал. Но троллейбус набрал скорость и понесся вниз по бульвару. Четверган даже не оглянулся. Он ехал на провода Тамаева или на свои собственные провода?

## 9

Четверган, сидя в кресле на колесиках перед закрытым железными шторами окном, оттолкнулся ногами, чтобы подъехать к куче писем на полу в поисках графа Готландского, отказавшегося от его московского кресла. Но вместо ожидаемого классического отката, кресло дернулось и застопорилось на месте, крутанув вбок. Четверган свесился набок и, заглянув вниз, под колеса, в поисках неполадки, обнаружил, что в правом колесике застряла бумажка: она, видно, сначала прилепилась к подшипнику, а потом застряла в оси, не давая колесу вращаться. Четвергану пришлось перегнуться и с криком выдирать застрявшую в колесе бумажку: и бумажку надо было вытащить в целости и сохранности, и колесико освободить для дальнейшего вращения. Расправлен-

ный и разглаженный на коленях клочок оказался вырезкой из журнала «Смехач» времен непосредственно революционных, хотя год был необдуманно обрезан ножницами. То есть юмористическое на дешевой бумаге издание, возможно, называлось и «Смерть паразитам соцбыта», но сказать это с уверенностью уже невозможно, поскольку от заголовка после ножниц осталось лишь три буквы «Сме», а называлось ли оно «Смерч», «Смерть», или «Смердяков» было делом исторической интерпретации, но содержание все равно было сатирическое: заметка называлась «Громкая фамилия»:

*«Нам доставлена копия документа:*

*Пом. Коммерч. Ревизора М. Б. Б.*

*На ст. Новый Иерусалим в 14 ч. 12 мин. я, пом. Нач. Военных Сообщений З. В. О. Каменев К. И. просил ДСП позвонить ДС Кемь и справиться о возможности прицепки вагона прямого следования к поезду Йошкар-Ола — Кемь — Москва, должествующему отправиться из Кеми через ст. Новый Иерусалим, так как поезд, которым я следовал, запаздывал. ДСП вызвал Кемь, и к аппарату подошел Ревизор Движения. Я представился, назвав свою должность и фамилию, и просил справку о том, не ушел ли уже из Кеми поезд, и есть ли возможность прицепки к нему прямого вагона, добавив, что об этом же просят все пассажиры вагона, задержавшегося на станции Новый Иерусалим. Ревизор Движения ответил: хорошо, передам Начальнику ст., но прямого ответа не дал. Не дождавшись поезда на ст. Новый Иерусалим, я, вместе с другими пассажирами отцепленного вагона, вынужден был отправиться в Кемь. Прибыв в Кемь, обнаружил, что тот поезд, который ожидался мной вместе с другими пассажирами на ст. Новый Иерусалим, еще не ушел, и что моя просьба и особенно (что видно из Ваших слов) **фамилия** произвели неожиданное для меня действие: поезд был только потому и задержан на 120 минут, поскольку Начальник ст. решил, что я отправляюсь из Кеми, а вовсе не жду на ст. Новый Иерусалим. Так подействовала на Начальника ст. фамилия, указанная, по моей просьбе, Ревизором Движения. Просим порекомендовать агентам дороги обращать внимание на должности, а не на фамилии, а в случаях сомнений проверять точность путем обратного вызова, или же просить телеграфное или телефонное подтверждение у ДС тех ст., на которых происходит разговор.*

*При моем разговоре от ДСП ст. Новый Иерусалим с Ревизором Движения присутствовала гр. Петрова Нина Александровна (пассажирка), проживающая в гор. Москве, Преображенская пл., 10. Помощник Нач. Военных Сообщений*



3. В. О. Каменев. 16. VI. Н. Петрова.

«Смехач» (ага, значит журнал все-таки называется именно «Смехач», отметил Четверган) как будто предчувствовал такую историю: в прошлом номере «Смехач» смеялся над улицей, по которой «все Каменевы живут и все Лев-Борисычи», в связи с разрешением именоваться фамилией любого революционного вождя, кроме Ильича. А теперь не до смеха. Вдруг да есть такая улица? Вдруг она скопом пожелает использовать фамильное преимущество? Все поезда остановятся! Рекомендуем Ревизорам Движения научиться отличать настоящего Каменева от поддельных Троцких».

Четверган повернулся на колесиках к стене, где на кнопках висели окошки листочков. Непонятно, куда эту вырезку зачертачить: то ли к Хасану, который не перс, то ли к Шведскому королю под именем графа Готландского? Лучше быть не в моде, а вроде. Вариант: лучше быть не в моде, а в роде. Линия разлуки от рукопожатия в космосе до заместителя на кресло, оставшегося в Москве, не продвигалась ни на пядь. Четверган пробежал глазами юмористическую заметку из «Смехача», еще раз удивился странной железнодорожной линии Йошкар-Ола — Кемь — Новый Иерусалим — Москва, отметил про себя, что фамилию Тамаева он использовал как псевдоним в статьях про амбивалентный смех в период опричного террора, который уехал через Кемь в неизвестном направлении. Да и сама фамилия Четверган для незнакомого уха звучала не как имя, но прежде всего как название некоего движения с неизвестным Ревизором. Все переименовалось на этих железных дорогах нашей жизни, и направления маршрутов перестали соответствовать проложенным не нами рельсам и шпалам, и колеса грохочут в висках, и в разных купе сидят сплошные псевдонимы из бывших Троцких и Каменевых. И не у кого попросить телеграфного подтверждения должности. Ревизор этого Движения неправильно информировал Начальника станции, и Станционный смотритель задержал поезд, и два звонка медовых, и грустный машинист отлучился в буфет. Как там он по фамилии? По фамилии Надежда. Грустный машинист по фамилии Надежда Бенгурионович Четверган. И нет свидетельств его присутствия на этом полустанке. Тамаев там. Тутов тут. И нет никого. Пришел Богдан, да ерша Бог дал. Пришел Иван, ерша поймал. Пришел Устин да ерша упустил. Пришел Спирия да ерша стырил. Разговор о рыбе получается. Надо было любым способом доказать, что ты существуешь. Для этого надо найти свидетеля прошлой жизни, которая вся разметана и никак не соединяется: «тобою? Мы, так и не доклеив обои, распивали четвер-

тую бутылку водки на троих, и пил, как всегда, больше всех твой бывший собутыльник, и разговор был, естественно, о тебе, то есть периодически, сквозь пьяные откровения, у меня выпрашивалась очередная деталь твоей частной жизни, о которой я на самом деле не имею ни малейшего понятия. То есть, мне кажется, что я все прекрасно себе представляю, потому что знаю тебя наизусть, но когда дело доходит до конкретного ответа на конкретный вопрос, я теряюсь и начинаю выдумывать про тебя Бог знает что. Ты думаешь, легко себе представлять Мертвое море с котом, про которых ты обмолвился походя в одном письме, в каком не помню? Тем более от этого сумасшедшего вечера, клея, обоев и водки у меня и без того мозги набекрень. А НАЛИТУХИН РАЗВАЛИЛСЯ В ТВОЕМ КРЕСЛЕ И ОРАЛ ПЬЯНЫМ ГОЛОСОМ: Я КОВАЛ ТЕБЯ ЖЕЛЕЗНЫМИ ПОДКОВАМИ, Я ПРОЛЕТКУ ТВОЮ ЛАКОМ ПОКРЫВАЛ», перечитывал Четверган, не веря своим глазам. Так это значит Налитухин так успешно увиливал из тупиков памяти, и пока Четверган в кресле на колесиках гонялся за проводами Тамаева, именно этот забытый Налитухин отказывался перетаскивать кресло в свое логово, но тем не менее именно Налитухин в этом кресле сидел, пьяным голосом намерчивая про пролетку и подковы? Развив бешеную скорость, Четверган рванул в кресле на колесиках к стене с приколпленными листочками и стал искать оборванный конец предыдущего письма. Надо было найти письмо, кончавшееся словами «где ты милый, что с» и соединить его с теперешним началом «тобою?» К черту Хасана с халвой, к черту Каменева с Троцким, хотя они тоже были по пути, они тоже были попутчиками, которые указывали путь вперед по отношению к самому себе, они тоже были верстовыми столбами, годами почтовыми, которые несли от корчмы до корчмы, и Ревизор Движения начинал путать фамилии. Но в такой момент, когда глаза нашли начало того, продолжение чего сейчас сжимали руки, эти верстовые столбы можно было забыть, потому что началась метель, и они теперь не помогут. И вот что заново перечитывал тот глаз, который блуждал по стене, в то время как другой глаз косил на продолжение, боясь, чтобы это продолжение не вылетело из рук, не исчезло в куче сопоставлений:

«И пускай я все беру на себя: найду машину, доставлю кресло, подниму его по лестнице, и тогда, если он заглянет к себе в комнату, он, может быть, немножко на нем посидит, но скорее всего нет, потому что мы его обязательно поставим не туда, куда следует, а передвигать он его не будет, потому что это вообще моя акция. И вообще, сказал он,

у него была одна вера на свете, что только русские девки не способны на предательство, а теперь он совсем атеист, поскольку его Маша — ну, помнишь, девица с выжженными глазами, жена-не-жена, она, в общем, вышла за кого-то подходящего замуж, чтобы двигаться в вашем направлении. Может, она уже у вас? Но ты ничего не пишешь, куда ты пропал? Где ты, милый? что с»

Боясь дыхнуть, Четверган осторожно отделил от стены этот кусочек письма, боясь зацепить другие, и с победной улыбкой приставил последнюю строку этой страницы письма к первой строке той прочитанной страницы, которую он уже держал в руках. И слова «Где ты, милый? что с» соединил со словами «тобою? Мы, так и не доклеив обои, распивали четвертую бутылку водки». Два лица, которые маячили на разных страницах письма, не узнавая друг друга, в этот момент соединились и оказались одним человеком по имени Налитухин. И подвиг состоял в том, что эта отгадка состоялась лишь в результате того, что на свете существует Четверган, который эту загадку хотел отгадать, и если бы его не было, не было бы ни загадки, ни отгадки. И только из-за того, что все произошло так, как произошло, и вышло правильно, хоть плачь, хоть колотись, из-за того, что произошло назавтра и произойдет вчера, из-за того, что он оказался в этой жуткой пустой квартирке, в кресле на колесах, перед кучей писем, в этом несуществующем Иерусалиме с кучкой недогадывающихся о его загадке людей, которых высыпали на эти пустые холмы из разжатого кулака, и они продолжают катиться, об этом не догадываясь, из-за этого и не только из-за этого, но еще из-за того и поэтому и почему и отчего, из-за этого всего все существует одновременно, и сейчас прошлое станет будущим, будущее будет в прошедшем, а настоящее растает в космосе, где его не хватает. Ревизор Вечного Движения перепутает все фамилии и задержит все скорые поезда. Произошло нечто, чего никто не способен изменить, и что бы ОНИ ни делали, как бы тебя ни вывертывали, это к ним не имеет никакого отношения, они об этом НЕ ЗНАЮТ. Потому что ты единственный СВИДЕТЕЛЬ. И то, чему ты свидетель, существует только потому, что ты тому свидетель. И если ты закроешь свет очей своих, это исчезнет. Поэтому и существует то, что существует только тогда, когда ты об этом думаешь. Поэтому для меня и существует тот Четверган, который думает о Налитухине. И для него существует Нина, о которой думает Четверган. Но как для Четвергана существует Нина, которая думает о Налитухине — это я принципиально отказываюсь понимать.

«А Налитухин развалился в твоём кресле и орал пьяным голосом: я ковал тебя железными подковами, я пролетку твою лаком покрывал. Потом несколько протрезвел и сказал: «Раньше я верил, что только русские девки не способны на предательство, а теперь я совсем атеист». Оказывается, пока он был в отлучке, его Маша, жена-не-жена, ему изменила и бросила шпагу его, и вышла замуж за человека вашего направления, и теперь, наверное, в районе Иерусалима. Он ее вытащил из канавы, говорил он, из грязи в князи, встретив ее на платформе города Кемь, он ковал ее железными подковами и пролетку ее лаком покрывал, сделал из нее лучшую девку кафе «Дружба», а пока он плавал в районе «Титаника», она ему показала хвост. «Через канифас-блок и на турачку», ругался он, и это ругательство он позаимствовал во время плавания с командой рыболовецкого траулера. Я ему не очень верю, но судя по его загару и щетине, он действительно где-то в похожем месте плавал, и говорит, что их рыболовецкий траулер налетел на айсберг в международных водах, и не просто в международных водах, а прямо на месте гибели «Титаника», и их отшвартовали в Ньюфаундленд, откуда сам создатель радиосвязи Маркони впервые установил беспроволочную связь между Америкой и континентом. И стояли они на ремонте в Ньюфаундленде целый месяц, и вся команда шастала на берег, а он боялся, но потом все-таки решился и тоже махнул на берег ночью. Рассказывал он мне про это с обидой на себя, а почему — я не поняла. Он говорит, что когда добрался до города, магазины уже были закрыты, и он в общем-то ничего там не увидел, в этом городишке. Вывески, конечно, на иностранном языке, ну и что из этого? Дождик шел, он погулял, покрутился, попал в магазин пишущих машинок, машинки все с очень красивым алфавитом, но не нашим алфавитом, а латинским. Единственное, что он мог напечатать: фразу «нас в космосе не хватает» заглавными латинскими буквами. Тем более на него подозрительно смотрели, когда он стоял над машинкой в рыболовецком брезенте, с которого вода капала. Короче, деваться ему там было некуда. Добрался он до городского сквера и посидел там на лавочке. Домики кругом аккуратные, не наши, и совсем не похожи на политическое убежище. В темноте полицейская машина проехала, как в иностранном детективе, с мигалкой и сиреной. Так он и не попросил политического убежища, а вернулся к себе в кубрик, или как там у них называется. Через канифас-блок и на турачку. Рассказывал он это все очень грустно и все удивлялся, как же это ты под дождем все сидишь в своем политическом убежище, а он вот не

сумел. И я хоть и не слишком трезвая была, но когда вдруг на него взглянула как будто со стороны, он меня поразил жутким сходством с тобой, то есть просто сидишь ты, только с бытовщиной ты, и глаза на месте. Хотя он был настолько пьян, что глаза у него если не косили, как у тебя, то по крайней мере двоились, или у меня двоилось в глазах, и я вместо него видела тебя, или вас обоих сразу, как будто я с тобой говорю, и в тебе появилась его лихость и беспардонность, чего я раньше в тебе не замечала. Он сказал, что из-за этой самовольной отлучки на берег Ньюфаундленда за ним до сих пор дело тянется, а тут еще эта Маша-но-не-наша поставила под сомнение его веру в русских девок, и вообще нет на этой планете утешения. Я сказала, чтобы он не так быстро разливал по рюмкам, а то он не доберется обратно до дома и попадет в Ньюфаундленд через канифас-блок и на турачку. «Но ведь Четверган уехал, Машка сбежала, имею я право по этому поводу НЕМНОЖКО ВЫПИТЬ?» И он упал головой на стол. Я так и пошла спать, оставив его в твоём кресле в невменяемом состоянии. Вкладывая в конверт его письмо с рыболовного траулера, которое я получила на свой адрес полгода назад, и все не понимала, от кого это, а сейчас поняла и теперь отправляю. Пока».

\* \* \*

Единственное, за что можно было ручаться в этой истории про канифас-блок и на турачку, так это то, что Налитухина в очередной раз откуда-то выгнали. Врал Налитухин всегда с подробностями и без знаков препинания, как беспроволочный телеграф этого самого Маркони. Вранье началось с их первой встречи, и вранье занесло их в разные концы земного шара из того купе поезда дальнего следования, где они встретились. Поезд двигался не то из Кеми, не то из Йошкар-Олы, мимо станции Новый Иерусалим, и Четверган вскочил в него с дачной платформы, потому что был перерыв в расписании обычных электричек. Вагон оказался общим, и битком набит людьми, которые давно не просыпались, а, проснувшись и увидев перед носом ноги соседа с противоположной полки, понимали, что это кошмарный сон, и спали дальше, то ли под стук вагонных колес, то ли под шлепанье карт и грохот чемоданов, которые задевали за головы вечных картежников в этой жизни; и не было в этом вагоне ни дня, ни ночи, потому что сутки отмечались не восходом солнца, а входом в вагон, а концом дня, который мог оказаться крошечной тьмой, было схождение с поезда, и сутки эти были разными

у каждого пассажира, и пока один колот вареное яйцо об верхнюю полку, обитатель этой качающейся постели завертывался в душную простынь сна, готовясь очутиться у себя дома по крайней мере в воображении. Четверган, оглушенный этим полным исчезновением времени, пробирался к противоположному тамбуру, чтобы постоять у окна и поглядеть через сигаретный дымок на убегающие заборы и набегающие заводы, когда вдруг резкий баритон окликнул пригласительно: «Колбасы хочешь?», и бутерброд в протянутой руке преградил ему дорогу. Четверган повернулся и увидел небритого человека с черешенками сверлящих глаз; человек протягивал ему бутерброд, освобождая место у себя в закутке под спящими ногами верхних полок. Предложение показалось тогда таким неожиданным, что Четверган присел напротив и, хотя от бутерброда отказался, однако спросил: «А с какой стати ты решил, что я голоден?» Странно было то, что Четверган с Налитухиным сразу перешел на ты, хотя как раз в этом вопросе был шепетилен, фамильярничать со старшими не любил и чуждался всякого фанфаронства. Но было так странно, что из всей этой толкучки дальнего следования глаза Налитухина остановились именно на Четвергане и именно ему предложили кусок хлеба с колбасой.

«У меня нюх на людей», сказал весело Налитухин. И сразу обиделся: «Значит, брезгуешь? И напрасно: никаких венерических заболеваний». И, как жонглер, выхватил откуда-то снизу бумажный стаканчик и уже совсем нелепую здесь бутылку шампанского. «Если откажешься от шампанского, выброшу из окошка». И Налитухин, не дожидаясь ответа, запрокинул бутылку и, отхлебнув из нее изрядный глоток, утерся тыльной стороной ладони, смахнув с губы налипший кусочек фольги с горлышка, и без перехода спросил: «Как вы думаете, милостивый государь, похож ли я на шпиона?»

«Шпион — это амбивалентное понятие», сказал Четверган, глотая пузырьки шампанского, «поскольку для одной державы вы — герой, а для другой именно такой герой и есть самый главный шпион. Так что зависит от того, по какую сторону границы вы оказались».

«В районе ручья Безолаберного Магаданской области не существует государственных границ: там идет промывка золотых песков гидравлическим способом. А меня там за шпиона приняли», и он снова запрокинул бутылку шампанского, но оттуда уже ничего не текло. Не задумываясь, Налитухин выбросил пустую бутылку в окно, а другая рука уже доставала непочатую четвертинку водки. «У меня еще пол-ящика осталось. Нам на дорогу хватит. Ты откуда?»

«Я с дачи», сказал Четверган.

«А я из района ручья Безолаберного добираюсь. Не помню, как выбрался. Поехал на прииски подзаработать, а меня там за шпиона приняли. Я туда три ящика водки вез, чтобы выгодно продать. Потому что в Сибири все закупают оптом. Там ящик водки закупают, бутылки четыре сразу выпьют, а остальные бутылки разбрасывают, закрыв глаза. Разбрасывают прямо в снег, по сугробам, чтобы не найти и сразу все не выпить, чтобы не было белой горячки. Потому что если все не разбросать, все бутылки эти, то все сразу и выпьешь. И белая горячка. А все бутылки по сугробам разбросаны, и не найдешь сразу, разве что весной, когда тает, и вдруг видишь, бутылка на лужайке лежит целехонькая. Я этого способа не знал, до того как на ручье Безолаберном не побывал. Если бы знал, меня бы, может, из космического института не выгнали б», и он икнул. Его несло: «А, впрочем, плевать: какая разница, здесь или там, Москва-река или ручей Безолаберный, я всегда себе бутылку найду».

Непонятно было, с какого моста свалился этот человек, но Четверган сразу почуял свою жилу. Из того нагромождения подробной лжи, где желание разжалобить собеседника плохо маскировало счастливое наплевательство, которое Четверган усек под стук колес в этом купейном закутке, выросал тот Налитухин, который был вывернутой овчинкой Четвергана. Налитухин оказался тем Четверганом, который презирал тех, кто жалуется, и который требовал от окружающих, чтобы терпели и шли в одиночку в свой последний и решительный бой. И Четвергану неважно было, врет Налитухин или нет. Такое вранье не в счет, если врет фальшивый человек. И если Четверган был человеком фальшивых слов, то Налитухин оказался человеком фальшивых поступков. При его невозмутимом наплевательстве на самого себя и на весь мир ему так трудно было найти настоящие слова про собственное несчастье, которого он не сознавал, что он пускался на самые нелепые шаги и фальшивые поступки, чтобы в их шуме и треске заглушить смутную тревогу. Четвергану надо было наговорить кучу фальшивых слов, прежде чем сделать истинный шаг. Налитухин же должен был вывернуть себя наизнанку в ряду фиктивных авантур, вывернуть наизнанку свою фальшивую подкладку: потому что иначе он никак не мог понять, где же начинаются те запреты правды и истины, которые нельзя нарушать. И поэтому с такой обидчивостью он воспринимал всякий намек на то, что в истинность его поступков не очень верят. Это были отчаянные попытки вруна избавиться от собственного вранья через обезьяньи прыжки. В первую же встречу на этом

коротком перегоне поезда дальнего следования Четверган, предвкушая удовольствие от встречи с двойником, узнал, что Налитухин отправился на золотые прииски, поскольку не мог усидеть в Москве после того, как увидел планету Земля из кабины космического корабля.

«Не веришь?» кричал Налитухин, откупоривая следующую бутылку водки и проливая ее мимо бумажных стаканчиков, потому что поезд качало на стыках рельс. «Я тебе клянусь, что видел. В новогоднюю ночь. Не веришь?» И через пять минут выяснялось, что он, правда, видел, но не в качестве космонавта, а в качестве охранника в московском институте космических исследований. Никто, конечно, в новогоднюю ночь дежурить не согласился, а он, Налитухин, согласился, потому что куда ему идти в новогоднюю ночь, ему, у которого другая жизнь и иной напев? Вот он и остался дежурить. Вместе со стариком сторожем. Взяли бутылку спирта и стали чокаться в полночь. И дочокались до того, что сторож под стол свалился, а Налитухин не свалился, потому что за столом никто у нас не лишний, а у советских собственная гордость. И он взял бутылку спирта и поперся прямо в испытательную лабораторию, поскольку все ключи у него были в распоряжении, и первым делом самолеты, ну а девушки потом. И все он сделал так, как партия велела: скафандр застегнул на все пуговицы и в полном обмундировании с бутылкой спирта забрался в лабораторную космическую кабину, герметически закупорился, спирт подал через трубку жидкого питания и включил экран обзора на космической орбите. Подача спирта шла исправно, внизу проплывали континенты, Америка проплыла, СССР проплыл, и он еще удивился: оказывается, с космической точки зрения на территории Советского Союза этих четырех букв СССР не написано. Но и это его перестало удивлять, когда, крутя различные рычаги, Налитухин все дальше удалялся в космическое пространство и выдерживал различные перегрузки только за счет активной подачи спирта, и наша планета превращалась в зеленую, в сущности, точку, а он ковал ее железными подковами и пролетку свою лаком покрывал, и летел, ковыляя во мгле, и летел на последнем крыле, а потом шел на Одессу, а вышел к Херсону. И дальше он ничего не помнил, а когда очнулся от нашатырного спирта, то увидел перед собой немецкую овчарку. Овчарка понюхала его морду и отвернулась. Рядом с овчаркой стоял начальник охраны: поскольку каждый час Налитухин, как охранник, был обязан извещать сигналом из проходной, что все, мол, в порядке, а он уже четвертый час летал в другой метagalактике, то был вызван специальный наряд органов безопасности с овчарками,



и они его отыскиали в космическом пространстве по запаху спирта.

Говорил он без умолку, все более надрывно и перебивая самого себя короткими куплетами, как будто себе под нос, но на самом деле в полный голос, и в этом закутке качающегося вагона стали просыпаться и свешиваться с полок, сначала бурча и ругаясь, но потом, как ни странно, вслушиваясь в его несусветные истории, с тем загипнотизированным интересом и смутной улыбкой, с которой глядят на человека, который стоит на карнизе и собирается броситься вниз, или как слушают интригующий скандал за стеной, или читают чужое письмо. Шведский король под именем графа Готландского мчался за Ее Величеством, отбывшей в вожделенном здравии с известным Васгинтоном. Звенели колокольчики.

«Каков балаган? Но, одновременно, и прелесть риска», переспрашивал Налитухин самого себя надсадно. «А чего бояться? Я спрашиваю, чего бояться? Жизнь, сударь, дается бесплатно один раз, и съесть ее надо так, чтобы тебе заплатили еще и чаевые. И заплатят, как миленькие, заплатят», и очередная пустая четвертинка аккуратно закатывалась под лавку. Налитухинская разнузданность удивительным образом уживалась с внешней кошачьей пластичностью. «Ты вот, я вижу, с идеями», тыкал он Четвергану, «но ведь идей много, а я один. Я не против идей, но как только я ухвачусь за идею, сразу вижу ее ошибочность, а главное, без чаевых выгоняют: не ты на идее едешь, а она на тебе скачет, а жизнь, она — бесплатный проезд, чего же на идее ехать, тем более, если она в конце концов сама на тебя сядет? Если не этот попутный поезд подвернется, так другая попутная машина, правильно я говорю? Я ковал тебя железными подковами, я пролетку твою лаком покрывал», гудел Налитухин. «Как бы я иначе с ручья Безолаберного до Москвы добрался, если б не попутки? Все пути для нас открыты. Я живу подгребая, мой бог называется «авось». Никогда меня не обманывал. И чего люди мучаются? Нет, ты вот скажи, отчего люди мучаются?», и сам себе отвечал: «Потому что бояться, что на обратную дорогу денег не хватит. Сначала заберутся к чертовой бабушке со своими идеями, а потом идея — фьють, улетела, а на обратную дорогу денег нет. И переживают. А ведь деньги — они на дороге валяются. Но идейный человек нагибаться не хочет: у него идея. А я за деньгами нагибаться не стесняюсь. Вот идет золотоискатель с получкой, в черном пиджаке, как на праздник, а из кармана пачка сотенных. Я сам видел. Пьян в дупель, и бумажки раскидывает. А за ним

толпа бичей. Бич — это тот золотоискатель, который уже получку получил, уже пропил не только получку, но и пиджак свой пропил праздничный, и теперь сам за другим золотоискателем, который при получке, ползет. А на завтра они местами поменяются. Но есть и такие», тут Налитухин нагнулся к Четвергану и подмигнул ему своим черешневым глазом, «которые всю жизнь в бичах: потому что всегда найдется такой дурак, который хочет быть золотоискателем, а потом деньгой швырять. А я и подобрал, не постеснялся. Я же не виноват, что меня оттуда выгнали».

Из несусветного его пересказа выходило так, что его тут же схватили за нос, как только он сошел с автобуса на остановке «Ручей Безолаберный». При всей нагловатой осведомленности и бывалости, выходило так, что терял и выходил обсчитанным и обшипанным именно Налитухин. На прииски он отправился зашибать деньгу, но единственное, в чем он преуспел, так это, подделавшись под бича, выпросить у очередного гуляки-золотоискателя сотенных бумажек на обратную дорогу. Потому что как только он сошел с автобуса, представитель местных органов прииска «Ручей Безолаберный» тут же подскочил и тут же потребовал документ. Но Налитухин тоже не дурак. Налитухин бывалый человек. Налитухин ему сразу под нос справку. Он эту справку, как бывалый человек, заполучил через своего человека в одной центральной редакции, поскольку у него, Налитухина, везде свои люди. И свой человек в редакции подмахнул ему справку с редакционной печатью, где подтверждалось, что Налитухин специальный корреспондент редакции. Правда, свой человек сказал Налитухину, что справка «на крайний случай». Налитухин, конечно, бывалый человек, но если сразу паспорт отбирают, как не сунуть под нос справку «на крайний случай»? Кто же знал, что в паспорте должна быть печать на право въезда в район ручья Безолаберного Магаданской области? Никто этого не знал, даже Налитухин. Кто же знал, что на этом прииске пропадают полугодовые добычи золота вместе с транспортным катером, капитаном и всей командой, а нового человека воспринимают или как государственного контролера или как государственного шпиона. Когда местные органы увидели справку, у него сразу паспорт отобрали, а самого посадили в ленинскую комнату и никуда не выпускали. Налитухин сидел в запертой ленинской комнате и изучал стихи из газеты «Магаданская правда»: «Пою я русских баб, тяжелых и дородных, рожающих детей, не психов, не уродов, а мужиков для дела и суда над тем, кто психует иногда». И еще про злостных неплательщиков: «Живут, надеясь на жилишный гуманный русский наш закон: за неуплату

за границей давно бы вышвырнули вон». Тем временем губернский розыск рассылал телеграммы по беспроволочному телеграфу Маркони. Первым делом он слал телеграммы в редакцию: «Подтвердите фамилию собственного корреспондента. РОВД ручья Безолаберного». Хорошо еще, что запрашивали не по вертушке, и налитухинский человек, подкупив секретаршу, эти телеграммы успешно перехватывал. Налитухин изучал магаданскую правду ленинской комнаты, пока его не вызвали местные органы, вернули паспорт и сказали, чтоб его духу здесь не было в двадцать четыре часа. Вот ему и пришлось податься в бичи на сутки, а когда набралось денег на приблизительный билет, и он уже стоял на автобусной остановке, некая тяжелая и дородная баба попросила его передать в Москву родственнице будильник: «В Москве трудно будильник достать», сказала она, и Налитухин сначала поверил и будильник взял за пазуху, но в автобусе, глядя на сопровождающие глаза сопровождающего лица на заднем сиденье, понял, что будильник этот — провокация, и, видно, внутри будильника — золото, чтобы арестовать его за незаконный провоз золота из ручья Безолаберного. И в городской уборной Налитухин этот будильник долго разбирал и, хотя ничего не нашел, кроме как подозрительно позолоченного молоточка, но будильник все-таки решил выбросить в мусорный бак, потому что странно было, что в Москве труднее достать будильник, чем в районе ручья Безолаберного.

«Чего улыбаешься?» подозрительно косился Налитухин, покачиваясь не в такт качанию вагона. «Ты думаешь, я струсил? Ты еще не знаешь, какой я в душе Александр Матросов и Зоя Космодемьянская. Вот погляди!» заорал Налитухин и завернул рукав: на бледном сгибе локтя чернели четыре воспаленных пятна. «Это я там, в ленинской комнате испытывал себя на выдержку. Это я сигареты об кожу свою гасил. Бутылку водки, правда, перед этим заглотнул. Без бутылки водки это тяжелее будет. Но некоторые и после двух бутылок на это неспособны». Чем ближе продвигался к Москве поезд, тем ершистей и жалче становился Налитухин. «Чего улыбаешься? У тебя глаза хорошие, а улыбка наглая». В эту же первую встречу проявилась способность Налитухина с налета обижаться, поскольку обида — лучший способ восстановления собственной веры в себя.

И когда этот шумный перегон в битком набитом поезде закончился, и они вышли на московский перрон, и оказались на площади трех вокзалов, где вокзалы похожи на недоеденные праздничные торты, оставленные в пыльном углу, и сквозь нейтральные облачка неслась напрасная голубизна ситцевого неба, налитухинская горячка, подогреваемая стуком

колес и скрещением тел на верхних полках, прошла, и хмель дружбы сменился похмелем фамильярности. Пулеметные зрочки перестали выстреливать очереди, он стоял, руки в карманы, кусая губы, не зная, куда себя деть: «Пива, что ли выпить?» На сигаретной коробке Четверган начеркал свой адрес и сунул Налитухину в карман: почти уверенный, что этот адрес будет выброшен на первом же повороте; однако Четвергану нужен был адресный жест, чтобы увековечить тот момент, когда, пробираясь сквозь толкучку вагона, он был вдруг замечен и выхвачен из толпы цепким налитухинским взглядом. Налитухин вздохнул, зевнул, передернулся, сощурился на ситцевое небо, и от мощного зевка на груди его звякнул колокольчик на цепочке. Странное украшение, которое Четверган заметил еще в вагоне. Колокольчик звякал при всяком шумном налитухинском жесте, из которых тот весь и состоял, и так и остался в памяти ямщицким перезвоном. Четверган не удержался и, показав рукой на колокольчик с золотой цепочкой, сказал:

«Златая цепь на дубе том». Эта четвергановская манера не упустить ни одной каламбурной возможности: каждого превращать в макабрический словарь. Словарь для него существовал отдельно, человек — отдельно. Но это было известно одному Четвергану. Человек об этом не догадывался. Налитухин побелел и зашипел:

«Пусть отгниет моя правая, как это называется?»

«Десница», подсказал Четверган.

«Пусть отгниет моя правая цевница, если я переступлю порог Вашего дома!» и Налитухин бросил на асфальт сигаретную коробку с адресом Четвергана, и еще притопнул ее ногой.

«Десница, а не цевница», холодно поправил Четверган. «Цевница — это заря».

«Короче, пусть отгниет моя правая рука, если моя левая нога ступит на порог Вашего дома». Четвергану ничего не оставалось, как повернуться и зашагать прочь. Оглянувшись, он заметил, как Налитухин нагнулся, поднял с асфальта сигаретную коробку и аккуратно сдул с нее пыль. Нет, он не Байрон, он другой.

И уже когда четвергановские юмористические аллюзии и реминисценции в связи с этой встречей в вагоне всем надоели, Налитухин появился на пороге и перешагнул порог этого дома, но, конечно, не левой ногой, а правой переступил он порог четвергановского дома и, тем самым, не нарушил своей клятвы не переступать порог этого дома левой ногой. В правой деснице у него была бутылка водки, а на губах сияла цевница, и эта непоследовательность ничуть его не смущала. Непоследовательность была его знаменем, и под

этим знаменем присягнул Четверган, который осмеливался на непоследовательность лишь словесно; Налитухин же был непоследовательностью в натуре. И с этого прихода с десницей и цевницей начались их странные отношения: и чем ближе дело шло к отъезду, тем чаще Четверган пускался с Налитухиным в странные авантюры, исчезая с дачи без видимой причины, и возвращался избитый, ободранный и как будто сменивший собственную шкуру. Менялось даже выражение глаз. Но потом он приходил в себя. До следующего, очередного визита Налитухина. Никто ни разу не видел Налитухина на четверге. Четверган держал его как будто при себе, никому не показывая. Налитухин был тайной жизнь Четвергана. Он был его Уолтером Митти. Четверган одевался в Налитухина как в дикую шубу, в звериную шкуру, змеиную кожу. Он напяливал Налитухина на себя, вывернув наизнанку его незаштопанную душонку.

И вот сейчас Четверган сидел в кресле на колесиках на улице Таити, где негр Титти-Митти, и кот без чижики и собаки, один на всех путях, как будто вылезший из этой налитухинской шкуры; а его чучело развалилось в его кресле на Преображенке и орало перед его Ниной пьяным голосом: «Я ковал тебя железными подковами, я пролетку твою лаком покрывал». И логической стороной этого относительного периода жизни было указание свыше о совместности или несовместности этих географических метаморфоз. Четверган сунул два пальца в нинин конверт с маркой, изображающей ледокол «Ермак», и вытащил оттуда упомянутое выше письмо Налитухина. Письмо писалось Налитухиным или в пьяном состоянии, или же дописывалось время от времени, пока его кости переносились с борта на берег и от края и до края, от моря и до моря; а скорее всего и то и другое: и пьяное, и географически не закрепленное:

«Через канифас-блок и на турачку! Прошу покорно этот год считать несостоявшимся, убыточным, а еще удобнее было бы ни за что не принимать, будто и не было его вовсе. Вернули меня на борт, и даже золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь полагается у нас байковое пальто на брезенте с ветряной нахлобучкой на голову. И даже в кубрик поместили в лучшем виде, как настоящего барина. Но с другими здешними господами я в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйду на палубу, под презент сяду, гляжу на бурное твердиземное море и спрашиваю: «Где же наша Россия?» И пока я метался по палубе от канифас-блока до турачки, пока палубу заносило то поближе к вам, то подальше, раздумывал, что, к сожалению, годовщина Октября слишком близко, и письмецо мое

не успеет к сроку, и значит придется поздравить с Рождеством. Боюсь только, что географическая близость еще ничего не решает. Для вас. Или «вам» нужно писать с большой буквы, как сударю? Любимая моя Маша сейчас на материке, посему, вернувшись в Чигичинах, я ощутил тоску несказанную и подумал: куда же завели тебя деликатность и порядочность, тонкая душевная организация, какие проценты ты нажил с этого неподдельного капитала? Выть хочется, как стану вспоминать мутные ночные огни над великой речкой Хапиловкой из окна вашего с Ниной дома, пересыхающие его паркеты и уют — не семейный, не домашний, а просто УЮТ. Ибо надоели твердиземные моря и вахты, и не хватает уюта. И твоих кинжальных улыбок, и ее, добрых и скептических. Надлома вашего не хватает и старинного вашего неоправданного оптимизма. Где же вы теперь, друзья, которых не смею называть однополчанами? Но это Вам, сударь, должно быть стыдно, поскольку ваши кинжальные улыбки загнали меня за тысячи километров от родных мест и от вашего дома. И даже если и есть мне в чем каяться, и хоть и я виноват в том, что вам голову пробили, но каяться я не намерен. Потому как своим уходом я всего себя оправдал, и теперь Ваша, сударь, очередь объясниться: сидя на острове Колгуеве, я чист, а Вы же продолжаете выжучивать из себя паутину ядовитых слов, как всякий паук, который сам из себя паутину вьет и сам по ней путешествует. И если ударили Вас по голове при моем участии в «Дружбе», то в настоящий момент просветления от беспробудного пьянства я сам собой являюсь доказательством, что получил ты по голове из-за всеобщего соучастия в содеянном посредством ваших собственных ядовитых слов. Так вы отплатили мне за то, что в вагоне дальнего следования я поднес Вам милостыню в виде хлеба с колбасой? А почему? Потому что не из любви к ближнему милостыню оказываешь, а из презрения к самому себе: ты хоть и нищий, зато свободный, тогда как я был обеспеченный мало-мальски холоп. Кто про что, а вшивый про баню, а там, гуляй, рванина, вокруг магазина? Не поняли Вы взаимосвязи моей подбитой на лету души и всячески третировали меня, цепляясь за мои слова и накручивая из них свою паутину. Но, привязав мою Россию к позорному столбу, Вы, сударь, приковали к нему и себя, и плююсь в нее, плюют и в вас. И превращая нашу с Вами бывшую дружбу в анекдотец, подливаемый, как ленивый смех, в чашу общества на Ваших четвергах, на которых имел честь не бывать, Вы, сударь, превращали мою жизнь в повод для вашей трепаловки. И глухи Вы к истине, потому как только через любовь дается она,

у Вас же на губах кинжальная насмешка. Не каждому в руки даются муки, и сколько б Вы ни старались загнать себя в поисках четвергазмов, Вы останетесь шутом на чужом похмелье: потому что не идете ко мне на мой зов с острова Колгуева, а отделяетесь одними обещаниями в верности, как моя Машка-стерва. И если она не едет ко мне на остров Колгуев, понимая, какво мне, значит она мне не жена; а если не понимает, какво мне, значит ошибся я в ней как в женщине. То же скажу и Вам, сударь, хотя Вы не женщина, и мне не жена. Сейчас здесь жестокий мороз. От голода гибнут олени. Нерпа выходит греться на лед, и тут ее стреляют. Куропатки мерзнут на лету. Гибнут лебеди, которых обманула лживая весна. А весна — одно из паскуднейших времен года. Вам хорошо в Москве сидеть в благоустроенном одиночестве и отмахиваться, что, мол, никого не хочется видеть: мне же видеть просто некого.

Неверие твое в то, во что не поверить нельзя, подтверждает мою веру в то, что правильно я удалился в отшельничество и пустынножителство: потому как не принимаю я такой фасон, чтобы на словах делать одно, а жить по-другому. Ты же подкузьмил меня, дружок. Ты же всю жизнь сидел на чемодане и смотрел на меня, как на вынужденного попутчика до пересадки. Навострил зубы, обрезал уши и все для того, чтобы говорить мне в лицо все таким манером, как будто шепчутся у меня за спиной. И самое главное слово: «расплеваться». Угадайте, с кем вам придется расплевываться еще в нынешнем году? Рядом с моей времянкой бродит шатун, не успевший сделать берлогу. Это матерый медведище, и это по-настоящему страшно, потому что обычно шатуны погибают к Новому году, и он, как будто зная о том, что погибнет неизбежно, делает гадости людям. Обычно они бродят по дорогам, подкарауливая пешеходов. Ни один охотник не пойдет на шатуна в одиночку — с любым оружием. Когда по свежей пороше вчера я увидел его лапы, я дал такого деру, что потом сам удивлялся. Если б встретился, спастись от него невозможно. Что я без тебя, как не болтанка вместо нутра. Да, я жил только тобой, но назвать меня клопом, паразитом, живущим на тебе, значит не знать, что такое любовь, а понять Вы этого, сударь, не в состоянии, потому что кишка у вас тонка приехать в Чигичинах на остров Колгуев. Не Ваш, Налитухин».

Это письмо было вложено в путеводитель по Иерусалиму.

Глаза болели от чужого почерка и непрерывной перемены места действия. Но перескоки совершались исключительно в уме. И в этих частных положениях не отыскивалось общей позиции. Четверган четыре раза крутанулся на вращающемся сидении, и кресло опустилось так, что он смог не опираться ногами о пол, а откинуться на спинке. Он подвернул винт сзади, и спинка кресла отклонилась, давая отдых позвоночнику. В любой новой жизни, входя в новое обиталище, он первым делом оглядывал, какие спинки у стульев в комнате. Каждый дом, кафе, учреждение оставались у него в памяти именно видом стульев, скамеек и вообще сидений, точнее их спинок, и он мог отвернуть нос от прекраснейшего из мест на земле только потому, что там не нашлось удобного стула с подходящей спинкой. Самым удобным казалось кресло в самолете. И поскольку кресло самолета давным-давно уплыло в облака, Четверган, однажды приземлившись, предпочитал вообще не вставать с кресла. Вместо того, чтобы увидеть Иерусалим собственными глазами, он предпочитал путеводитель по Иерусалиму. Слово он предпочитал делу. Впрочем, однажды Тамаев вытащил его все-таки на берег Мертвого моря, и Четверган согласился только потому, что по соседству с Мертвым морем были расположены пещеры с кумранскими рукописями, и присутствие рукописей, точнее, сочетание мертвого слова и Мертвого моря как дела несколько примиряло его с необходимостью покинуть кресло.

«Надо совершать велосипедные движения», с энтузиазмом инструктировал Тамаев, объясняя правила купания в Мертвом море. «Когда вода доходит до пупка, начинай работать ногами, совершая велосипедные движения. Это предотвращает от переворачивания лицом в воду: этого ни в коем случае нельзя допускать, потому что вода жутко едкая. Надо, совершая велосипедные движения, осторожно перевернуться на спину. И все это не потому, что тянет вниз. Наоборот, Мертвое море выталкивает вверх, и так сильно выталкивает, что можно замочить глаза. Как только вода попала в глаз, нужно сразу, велосипедными движениями, продвигаться к берегу, бежать к одному из пресных источников и вымывать соль».

Несмотря на активные велосипедные движения, Четверган тут же брызнул водой, вода попала в глаз, и как он ни вымывал глаз в пресном источнике, тот ослеп на целый день, и Четверган сидел сонным петухом с одним прикрытым глазом на вылизанных соленой водой камнях и глядел



на живот Тамаева, гладким холмиком качающийся на неподвижной маслянистой поверхности. Этот круглый живот повторяли, как в бесконечных отражениях, холмы вокруг, становясь то мускулистыми мужскими, то покатыми женскими животами, ягодицами и плечами, задремавшими в одном объятии, сливаясь в одну спящую красавицу, не то заглядевшуюся, не то оглянувшуюся, и все ждущую, пока ее разбудят и сдернут с нее мертвое, окаменевшее маревопокрывало. И от этого притворства телесности в окаменелости хотелось броситься в воду и утопиться. Но вода отказывалась утопить отчаяние и снова выталкивала на поверхность, на бессильное глядение. И раздражал голос Тамаева, мамкин голос, который пытается отвлечь плачущего младенца назойливой колыбельной. Тамаев лежал на спине недалеко от берега, покачиваясь на воде, как на перине. В руках у него была газета «Наша страна», и он, разморенный ленью, позевывая, перекикивался с Четверганом:

«Сын человеческий!» кричал Тамаев, читая вслух газету, «обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки из него пророчество. Профессор Шельмович полагает, что «князь Роша» — это кремлевские руководители, поскольку Россия по-английски будет Раша, а на библейском языке «раша» означает преступный и злобный умысел. Мешех — это конечно же Москва, поскольку сказано, что Гог придет с Севера, а Москва как раз на карте над Иерусалимом. Что же касается Фувала, то профессор Шельмович уверен, что это транскрипция города Тобольска, где расположены советские военные заводы. В общем, Гог и Магог — это и конец света, когда все начнут говорить по-русски».

«Я не знаю насчет Гога, а Шельмович твой демагог. Речь идет, наверное, не про Москву над новым Иерусалимом, а про Новый Иерусалим под Москвой, туда на электричке пару часов езды. Такая же неуловимая разница, как между Байроном по-английски, и Бироном в русской транскрипции», отозвался с берега Четверган. «Но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал».

«Это откуда?»

«Это из Байрона. В смысле, из Вавилона. Из Вавилона старец вещий с другими старцами предстал, но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал. Просто надпись была по-арамейски. А переводчика под рукой не оказалось. Вся загадка, в сущности, в точном переводе».

«Я сейчас подумал», начал снова Тамаев после минутной паузы.

«И часто это с тобой случается?» раздраженно перебил

его Четверган. Все это перекрикивание с берега и обратно было нелепым. Тем более, неподалеку от Четвергана устроился человек, не по погоде затянутый в галстук и не выпускающий из рук палочку. Тот же человек был третьим зрителем в кинотеатре «Иерусалим» на фильме про тайную жизнь Уолтера Митти в ночь перед отъездом Тамаева. Он сидел около железного источника и делал вид, что читает газету, но Четверган уже успел перехватить пристальный взгляд его как будто выжженных глаз, подозрительно поглядывавших на парочку, в полный голос кричавшую на апокалиптическую тему на непонятном языке.

«Я сейчас подумал», невозмутимо продолжал Тамаев, «если конец света уже близок, не стоит ли в моем будущем фильме вставить ангела, который периодически пишет на стене разные огненные многозначительные цитаты?»

«Заборные у тебя идеи. Вот у меня во дворе в Копьевском переулке дворник стирал, стирал со стены разные «петя не бросай машу равняется любовь», а однажды утром вижу, стоит он с ведром краски и пишет по той же стене: «Еще раз напишешь — убью!» Жаль, что здесь нет этого дворника, он бы осуществил свое собственное пророчество».

«На кого ты намекаешь? Ты же не понимаешь, у меня ангел будет чертить огненные надписи с глубоким смыслом. Понимаешь, это будут как титры в немом кино, ведь мы же все немые, если бы не Господь Бог. И Россия тогда будет метафорой Вавилона. Я не согласен вообще со сравнением России с Египтом, а наш отъезд с библейским Исходом. Россию надо, по-моему, сравнивать с Вавилоном, а нас — с Авраамом, и нам через Россию было сказано: иди из родины своей, из семьи своей, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».

«Россия буквально ждет не дождется, когда ты ее с кем-нибудь сравнишь и к чему-нибудь приравниаешь. Как жаль, что ты не родился Авраамом. Тогда ты бы ничего не знал о России, поскольку ее тогда не существовало, и сейчас России было бы спокойнее. Как жаль, что у Авраама не было кинокамеры».

«Это почему?»

«Потому что тогда он снял бы от начала и до конца свой уход из Вавилона, и ты не третировал бы меня сравнениями свиньи с апельсином».

«Но ты сам все со всем все время сравниваешь, а мне нельзя? На кого ты намекаешь своей свиньей?»

«Кто тебе сказал, что она — моя? И вообще я ведь здесь не из-за того, из-за чего ты уехал оттуда, и ты уезжаешь отсюда не из-за того, из-за чего я здесь схожу с ума».

Не сошел ли он с ума и взаправду, очутившись на этом неправдивом берегу стеклянной поверхности Мертвого моря, в котором не утонула даже газета «Наша странна» с опечаткой из двух «н»: она лишь уплывала к горизонту, брошенная скучающей тамаевской рукой. Сейчас, сидя в кресле на колесиках, Четверган раскрыл путеводитель по Иерусалиму в том месте, где только что было заложено письмо Нины про кочующий четверг, и стал читать про квартал Ста ворот. Отчего везде в Иерусалиме на всяком месте, где находилось нечто жизненно необходимое одним, сейчас находится нечто важное другим, но остаются обязательно еще и те, кому жизненно важно не то, что находится здесь сейчас, а то, на чем сейчас находится то, что они презирают из-за своей преданности тому, что уже давно здесь не находится? В данный момент Четверган находился на месте дома великого мистика из Бреслава, который непонятно где находится, но дом его находился в квартале Ста ворот. Четверган представлял себе сто ворот, а посреди площади стоит мистик из Бреслава и не может решить, через какие ворота ему выйти? Две трети описания его дома были посвящены креслу, на котором сидел и размышлял мистик из Бреслава, когда он пребывал еще в Бреславе, а не в квартале Ста ворот. В квартале Ста ворот он оказался без кресла. Это кресло вывозили из Бреслава в квартал Ста ворот ученики мистика. Они вывозили его через имперскую, а затем и советскую таможенную по частям на протяжении столетия: кто вывез ножки, кто подлокотники, кто спинку, а кто сиденье. И потом собрали это кресло заново, в доме, где проживал мистик из Бреслава во время своего пребывания в Иерусалиме, в квартале Ста ворот. На месте ему не сиделось. И в тот момент, когда в страну вторгся Наполеон Буонапартэ, мистик из Бреслава пришел к мистическому решению: возвратиться в Россию. Последователи и ученики пытались оправдать это возвращение в страну рабов, страну господ, объясняя этот поступок тем, что «войско Наполеона Буонапартэ нагнало страху на жителей Палестины и нарушило обычный распорядок жизни». Ниже приводилось изречение мистика из Бреслава, который выходя из Ста ворот в направлении России, сказал: «И в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я тропе, я всегда направляюсь в Иерусалим». Это он сказал, направляясь в сторону Бреслава. И только Четверган понимал, почему мистик из Бреслава покинул Святую землю: ему в ней не сиделось, поскольку кресло его осталось в Бреславе. Вот если бы ученики оказались порасторопнее и перевезли бы это кресло вовремя через таможенную по частям, а лучше прямо целиком, мистик из

Бреслава никуда бы не двинулся, направляясь всегда в Иерусалим.

\* \* \*

«По улицам совершенно невозможно ходить: вчера меня ударили по голове в подъезде, я сейчас лежу с обвязанной головой, а завтра у меня, наверное, глаз распухнет так, что я себе представляю, что скажет наша кадровичка Владлена Лениновна. И я чувствую, что это какое-то наказание свыше, потому что уж слишком я поверила интонациям твоих прошлых писем, и последний месяц жила согласно их указаниям, делая вид, что великая разлука — еще один повод закрутить еще один грандиозный московский сюжет, и что надо крутиться, по твоим словам, «на полную катушку», и доводить все до конца, уж если изменить ничего нельзя. Начался этот месяц с масленицы у моих дальних родственников с Волги, которые приехали на месяц в Москву за покупками и остановились у другой родственницы моей мамы. Это был прекрасный денек: мы поехали за город, где мои сестры вместе с седьмой водой на киселе рассуждали о пищеварении и в грязной речке поддерживали каждые полчаса гигиену тела. Но я благодарна им хотя бы за то, что они не выпрашивали о тебе. Я сидела на берегу, потягивая пиво, которое продавали прямо на соседней лужайке, с грузовика: в бутылках, к сожалению. Потом, по возвращении, было пиво с креветками за большим столом, с блинами, с селедочкой и водкой, объелись так, что не только пошевелиться, но и думать-то было тяжело, но часа через два, после чая, стали снова пить сухое вино, потом опять что-то ели, со стола убрали и накрывали снова раз шесть. Приходили гости, каждому новоприбывшему рассказывалось, как маленькая племянница умеет говорить своей матери «закрой пасть», потом родственница со своей дочерью исполняли в четыре руки краковяк, работал телевизор, а с магнитофона пели французы. Маленькая племянница при появлении каждого нового гостя заявляла: «Наконец-то и я гульну», плашмя кидалась на стол или пыталась задохнуться в полиэтиленовом пакете. Часов в шесть вечера из соседней комнаты вдруг появилась бабушка и завопила: «Совсем с ума сошли, с утра водку хлещете». Это она проснулась. В общем, мне было хорошо и спокойно, потому что можно было не думать, что с тобой происходит и что по этому поводу надо делать, чего сделать нельзя. Потом была мучительная поездка в метро в одиночестве, но я была настолько усталая

и полупьяная, что, слава богу, не слишком это одиночество помню. В результате на дачу я так и не переехала, потому что на следующий день, как я тебе уже писала, встретила Налитухина при весьма странных обстоятельствах. В результате я и оказалась с разбитой головой и опять не поеду на дачу.

Как я тебе уже писала, он оказался у меня за спиной, пока я у газетных стендов рядом с Центральным телеграфом читала твое письмо. Он меня страшно напугал, когда протянул из-за спины руку, и я вдруг слышу голос: разрешите поинтересоваться. Я оглянулась и вижу: Налитухин! Не помню, писала я тебе или нет: после того случая, когда он махнул на берег в самовольную отлучку в Ньюфаундленде, за ним тянется непонятная телега, и в результате он никакой работы, кроме как сортировщика писем, найти не мог, и сейчас сортирует письма на Центральном телеграфе. Как и следовало ожидать, у него от этого страшно важный вид, и, когда мы шли к метро, он заявил мне с загадочной физиономией, что по его сведениям у тебя весьма шаткая репутация в Иерусалиме. «Откуда такая информация?!» возмутилась я, но он сказал, что у него теперь важные каналы в распоряжении, и что он мне сообщает это в исключительно приватном порядке, и чтобы я ни в коем случае никому ни слова, вот я тебе и пишу: что это значит? и как это понимать? Что там с тобой происходит, или ты опять по весне в депрессии, и мне запрещено задавать вопросы? Но меня со всех сторон прижимают конкретными вопросами, а я не знаю, что ответить, потому что моя фантазия истощилась, и я страшно боюсь, что с тобой произошли там какие-то необратимые изменения, что ты стал совсем другим, и я никогда этого уже не пойму и тебя не узнаю. Налитухин увязался меня провожать до дома, и когда мы поднялись на мой этаж, то были встречены всей компанией твоих четверганистов: они были уверены, что я вернусь домой, поскольку в тот день был четвертый четверг твоего отъезда. Я старалась этого дня не помнить, хотя прекрасно помнила, но при таком напоре в мою квартиру мне ничего не оставалось, как принять участие в твоих поминках. Однако мне удалось вытребовать себе право не быть хозяйкой дома: пускай все идет своим путем. В общем, я была настроена весьма мрачно, и когда мне задавался очередной вопрос: «Ну как он там?», я бесцеремонно отвечала: «У него депрессия».

«А что значит, что у него депрессия?» спросил Налитухин. «А то и значит», сказала я, «что он лежит целыми днями на кровати и на все вопросы отвечает: завтра». «Интересно только», сказал Налитухин, «кому он отвечает,

и кто его, собственно, спрашивает?» Действительно, кто? И что это за американка, на которую ты глухо намекаешь, общаясь с ней через водопроводный кран? Мне наплевать, с кем ты там спишь, но мне не хватает твоих слов, точнее, их запас кончается, а от меня требуют, забыв, что, кроме тебя, у меня есть собственная жизнь, но в чем она заключается, я, откровенно говоря, уже плохо понимаю, сколько ни убеждаю себя, что я сама по себе, а ты сам по себе. Менялась ситуация, конечно, незаметно: сначала все считали своим долгом меня развлекать и ни на секунду не оставлять меня с мыслями о твоём отсутствии, так что у меня не было возможности просидеть весь вечер в уголке. И кроме того, все разговоры в первое время после твоего отъезда крутились вокруг тебя, твоих писем и вообще приблизительно до лета наш с тобой сюжет был основным при всяком разговоре. Это не значит, что сейчас о тебе и о нас говорят меньше — нет, даже, может быть, наоборот. Но моя включенность во все эти ситуации и мое постоянное со всеми общение требуют от меня чего-то большего, чем просто присутствие и просто понимание того, о чем идет речь, или просто правильная химическая реакция. Понимаешь, это не совсем то: не просто кто-то чего-то от меня хочет, а я не способна; скорее всего никому и в голову не приходит, наверное, чего-то ждать от меня. Я сейчас имею в виду только себя: если для меня за всеми этими разговорами ничего не стоит, кроме этих разговоров, то это настоящий обман. У меня, конечно, нет никакой абсурдной идеи перестать встречаться или начать вести себя по-другому, а просто я в последнее время настолько включилась в эту четверговую жизнь, что хочу понять, действительно ли она что-то для меня значит и я для нее, или же это лишь эхо твоего отъезда. И, в результате, все-таки в самом деле бывают ситуации, когда от меня требуется не только вторичное, да какое там вторичное — десятеричное комментирование, а четверг постепенно повышает свои требования, сам того не замечая, и я должна, я не преувеличиваю, именно должна участвовать во всех разговорах. Этого мало, я еще должна по каждому поводу иметь свое мнение или не свое, но если не свое, то чье? Конечно, твое, которое мне кажется своим, но запас твоего воспитания постепенно истощается. А у меня нет твоего наплевательства, чтобы лечь в кровать и на каждый вопрос отвечать: завтра. Или, наоборот, закрутиться навязчивой идеей и бросить все и всех. И я ловлю себя на том, что говорю без умолку какую-то чушь, но все слушают и не дают мне остановиться. Раньше я могла смотреть на все со стороны и улыбаться про себя и считать себя никем, а теперь у меня появилась своя собственная судьба, точнее, мне ее

как будто подкинули, и все смотрят на меня как на трагическую личность и ждут, что же со мной будет дальше, и я, как подкидыш к этой общей судьбе, должна все время идти назад, лицом к тем трем неделям, когда получалось жить только потому, что еще не мое время, а лишь твой отъезд. А теперь я еду на твоём отъезде и не могу остановиться.

«Что же делать?» помню я пьяный разговор в середине вечера. «Соблюдать четверг», сказала я. «Я не об этом, Нина. Что делать?» Я чего-то брякнула: «Шаг вперед, два шага назад. И вообще с вопросами «Что делать?» и «Кто виноват?» надо идти в Мавзолей, а не на четверг». Как видишь, я теперь за словом в карман не лезу. «Мне на такие вопросы водки не хватит», вклинился в наш разговор Налитухин, уже на сильном взводе, и спас меня от этих вечных вопросов, уведя на кухню. Там все еще резали салат, в то время как Налитухин с двумя Ленами допивали четвертую бутылку водки, таская компоненты из салата. Раздавались звонки, и к приходу основной партии гостей принесенные антрекоты только начинали мокнуть в уксусе, в то время как Налитухин жарил котлеты по 6 коп. из холодильника, которые тут же поедались. Потом и вино пошло в ход, все сидячие места уже были заняты, как наводнение, ввалились неприглашенные, антрекоты остались мокнуть в уксусе, то же самое происходило с клеенками и вилками, которые так и остались неиспользованными, и я теперь не понимаю: их владельцы едят, наверное, у себя дома на газетах и руками. За столом продолжалось то же самое: пьющие водку разливали из-под полы, остальные клячили по рюмочке. Все хотели как-то побыстрее напиться, и их не останавливали твои презрительные остроты: у меня было такое впечатление, что все были в этой тоске по тебе даже отчасти довольны, что тебя нет и можно вести себя свободно. Налитухин восседал в твоём кресле и скандировал мне, как стихи, в ухо:

«Мы с тобой, Нинон, родственники по несчастью: тебя бросил Четверган, а меня бросила Машка. Машка меня бросила, потому что я ее через канифас-блок и на турачку сделал великой женщиной. Эта дама была из моего ребра. И ей надо было проявить самостоятельность: вот она и уехала. А тебе тоже надо было проявить самостоятельность: вот ты и осталась». Может, он и прав, и я проявила самостоятельность, и оставила его шуметь в кресле, а сама пошла на кухню. Там распивали бутылку «Кабернэ», и Ваня читал твои письма:

«Вот он в письмах просит присылать ерунду, а сам не присылает. А нам, может, тоже хочется подробностей,

мы, может, и сами тоже можем домыслить», сказал Ваня.

«И это зависит от ваших мыслительных способностей!» было сказано человеком с палочкой, не буду называть его фамилии, ты понимаешь, о ком идет речь. Я не видела его со времен того скандала у тебя на кафедре русского фольклора, после которого ты угодил в психбольницу. Он сбрил бороду и стал еще более колючим. Он слишком резко оборвал Ваню и извинился: «Вы нас извините: это Четверган нас подзуживает своими письмами. Его письма — как наркотик: эффект зависит от вашего воображения. Дай наркотик алкашу с Преображенки, так ничего, кроме как «мать моя родина, я большевик!», все равно не услышишь. Тот же результат можно получить с помощью бутылки водки. Я еще не такие письма буду писать, если меня переселят из района Зачатьевского монастыря в Чертаново!»

Они сидели на кухне за импровизированным столиком: длинная доска, которую я использую для глажки, была поставлена на табуретку и для равновесия с обеих сторон прижата пачками книг, но все равно крутилась, как пропеллер. Она так и не опрокинулась, и это чудо, потому что человек с палочкой, забывшись, или нарочно, хлопал по доске кулаком, так что я каждый раз дергалась, чтобы поддержать рюмки. И еще за окном лающее железнодорожное эхо за рекой Хапиловкой, где заводы, звучало как слуховая галлюцинация от разговоров.

«Ему там хорошо, под небом Африки своей, вспоминать эту паршивую кулинарию при гостинице «Москва», когда у него итальянский кофе на каждом углу и английский чай с арабской халвой. А нам каково тащиться каждый четверг и стоять в очереди в этой паршивой «Москве»?»

«Но Вы, Нина, воспринимаете это как ностальгию, а это не ностальгия, а ум мнемониста. У него такой ум мнемониста: чтобы вспомнить нужное слово, ему нужно вспомнить тот дом, и то окно, и ту кофейную машину, так что каждое предложение у него это целый географический маршрут. Этот механизм похож на светский разговор, который я слышал в одном доме: сидят и говорят об антисемитизме. Пушкин был, конечно, антисемит. Ну, Грибоедов тоже, в общем, конечно. Потом третий говорит: И Тимирязев тоже, несомненно, антисемит. Я думаю: с чего вдруг Тимирязева вспомнили? А потом до меня дошло: так ведь мысль движется по Бульварному кольцу, по памятникам: Гоголь, Пушкин, Грибоедов, Тимирязев. Такая мнемонистика!»

«Вот мы все и стоим в очереди по его памяти. А эти очереди такие: на сантиметр сдвинешься, а потом приходится разгребать локтем. А тут еще хуже; тут — как очередь в Мавзо-



лей: если подозрительное лицо, сразу выкидывают. Он мне уже не пишет. Уже месяц ни слуху ни духу, ни открытки. Короче, прекратились позывные с того света. Чем я, интересно, провинилась?»

«Вот именно: как вы относитесь к тому, что он оставил Нину? А если б ситуация была обратной? Если бы Нина бросила его?» не успокаивался Ваня.

«Ничего не понимаю, какая такая ситуация? Что за сочинение детектива за чужой счет? Бахтин уехал в Йошкар-Олу, а юмор продолжал развиваться. Сейчас мы сидим здесь, и у нас такая ситуация, что мы можем решать только, выпить ли нам еще одну бутылку «Кабернэ» или ехать домой. А придут другие вопросы, так мы их и будет решать, каждый как может. Каждый! И вы, и он, и еще кое-кто, не будем указывать пальцем кто!» и он повернулся на стуле и ткнул пальцем в меня, опрокинув при этом бутылку «Кабернэ», и кровавая лужа растеклась по полу. Это был единственный более менее связный разговор, который я помню за этот вечер. «Теперь ваша очередь говорить, сказал он, вот вы молчите, а интересно, с Четверганом вы тоже говорили неогласованно?»

«По-моему, вполне достаточно моего молчаливого присутствия для продолжения ваших сюжетов. Может, поэтому я и не способна покинуть эту местность», сказала я.

«Вот это ответ не девочки, но мужа! Он эту кашу заварил, пускай и возвращается со своего Мертвого моря. В своей стране он тоже иностранец? Пускай лучше вместо того, чтобы развлекать бездельников у Мертвого моря, развывает тесемочки у своих папок и пишет письма в ООН, КПСС и КГБ, и чем меньше он у нас в мыслях, тем больше ему будет чего сказать. А у него поток сознания сменился потоком дезинформации: сплошная клубника в январе! Где тот Четверган, при котором вся ерунда становилась историческим фактом? А то ведь вся историческая ситуация на данный момент строится за ваш счет: пока вы к нему не уехали. Вы так его прямо и спросите: сколько вам еще здесь сидеть? В том смысле, что: сколько ему нужно, чтобы мы ему промывали косточки?»

«Прямые вопросы не всегда уместны. Точнее, они почти никогда не доходят по почте», сказала я.

«Вот было потрясающе, когда Четверган однажды заявил: в древней русской литературе не было прямой речи. А я его спрашиваю: какой речью, интересно, говорил Господь Бог?!»

И со всех сторон один и тот же мотив: «Как ты думаешь, поедет ли она, а ты как думаешь, она поедет, а тебе я, Ваня, клянусь, ты не смотри на меня, я очень

пьяная, что такое вообще, в чем дело, я тебе клянусь, что да, но с другой стороны». С другой стороны меня убеждала чья-то жена напором голой сути: «Да пусть там говорят хоть по-арабски, да я была бы счастлива быть с Четверганом и не понимать всю эту брехню на улице. Говорят, что Тамаев получил два миллиона, так что вам нечего волноваться за квартиру». Как будто у меня в Москве не хватает квартиры. По которой к середине вечера я уже летала.

В этот вечер я хотела быть со всеми сразу, как будто это последний четверг, и это я уезжаю, а ты наоборот сейчас войдешь, потому что вернулся и только вот в продмаге задержался, чтобы купить соевых батончиков к чаю, а я носилась, как заводная, из кухни в комнату и обратно через балкон, заглядывала через плечи, вмешивалась в чужой разговор, ставила одну пластинку, не дав дослушать другую. Выбегала на лестничную площадку, разыскивая отсутствующих. Находила их не одинокими. Бормоча «ну, здесь все в порядке», бежала дальше. Немного протрезвев, увидела на полу кучу обломков, соуса, салата и окурков. Много счастья, много, только из чего же теперь пить? Пили, как я уже сказала, из блюдецек, и мне казалось, что все в порядке, что четверг продолжается, и ты сейчас войдешь. И пусть ты больше никогда не войдешь, пусть. И четверга больше не будет. Никогда. Но в это нельзя верить. Но этим неверием я и живу. Я верю в то, что в это нельзя верить. И ты не веришь, сколько бы ты ни старался в этом убедить твой четверг. И поэтому ты и из меня в своих письмах делаешь какого-то Азефа в юбке, который спровоцировал тебя на вечное неверие вокруг одной и той же мысли: почему я с тобой не поехала, почему я оказалась предательницей. Но это в твоих открытках я становлюсь предательницей, потому что это ты своим отъездом предложил тупик как выход из безвыходного положения. И это я, а не ты, по-настоящему ищу выход из того положения, когда больше некуда деться. Но ты зовешь в тупик, и тот, кто за тобой не идет, становится в твоих глазах предателем. И уж если все так произошло, я согласна взять на себя роль своего твоего эпистолярного двойника, и по-моему, роль предательницы я играю довольно успешно. Предательницы с протянутой рукой, на губах которой шевелится слово «предатель», предназначенное тебе. Я вообще последнее время живу какой-то неестественно напряженной жизнью с ощущением причастности или, если хочешь, сообщничества в чем-то, что разрешится только если вот так вот постоянно доходить до последней точки. Вокруг нас идут беспрерывные разговоры:

кто кому и по какому поводу что сказал, непонятные интриги и якобы тонкие ходы, когда все это кажется безумно важным и значительным, когда нет времени остановиться и подумать: а какое это имеет ко мне отношение, то есть даже не совсем так: что я, собственно, сама по себе без всех этих закрученных четвергазмов? Получается, что вся моя жизнь только в этом, именно в том, что мне чуждо, что я считала своим лишь постольку, поскольку эта жизнь была твоей. Но если ты именно от этой жизни уехал, почему именно я стала ее единственным центром, продолжением и бог знает чем? Я случайно остановилась посреди этого поминального четверга и вдруг перестала вообще понимать, в чем дело, куда и на что я трачу часы и дни: на какое-то непонятно почему необходимое или вынужденное участие в одной огромной обобщенной сплетне и бесконечных разговорах вокруг нее. Бред состоит в том, что во всех этих перипетиях и подпитиях у меня одновременно роль зрителя или твоего информатора, зрителя, который дообсуждал спектакль до того, что все на свете перепутал, и забыл, что такое его собственная жизнь, и ему кажется, что у него тоже есть место не в зрительном зале, а на сцене, когда зрительный зал превращен в сцену. Понимаешь, я была связана с тобой, но ты оставил за собой четверг, и вот четверг стал единственным свидетелем тебя в моей жизни, и чтобы ты для меня оставался реальным за тридевять земель, я должна крутиться на четверге во всю силу, при этом зная, что, может быть, не меня, а четверг ты как раз и оставил. Но только собственную роль я не могу вытянуть.

Войдя в большую комнату, я еще чего-то выпила, и шумовой хаос получил иерархию: два центра — скороговорка с отдельными выкриками в одном углу и скандирование из кухни: «А вы пишите ему все подряд, а он там у себя все эти вавилонские таблички из России с любовью правильно разложит и правильно перепутает, и византийский палимпсест выдаст за кремлевскую буллу». А вокруг ровный рабочий гул. В большой комнате орал Налитухин: «Постой, паровоз, не стучите, колеса. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». Подняли общий тост из блюдец за великие совпадения, поскольку это был последний четверг перед Троицей, или Семик, семицкий четверг, а уехал ты тоже в четверг, в Богоявление. Налитухин всех перецеловал и падал на колени, но ни на кого ни разу не напал, только трахнул Ваню разок по плечу, чтобы тот не засыпал, слушал внимательно и не отвлекался. Он произносил тост «за нашу Нину» и так его затянул, что все устали держать рюмки, не дали кончить. Что-то там было про «ведь их надо еще вырастить,

эти уголки губ», и он упал на стол, опрокинув соусник с кислой капустой на Ваню. Ваня проснулся: «Но почему всегда на меня? Хоть бы горячие были щи, а то ведь кислая капуста из холодильника», и снова заснул, несмотря на дикие звуки из проигрывателя: «живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому». Тут и начался наш вальс с Налитухиным. Пластинку с теремом ставили раз десять, и каждый раз он приглашал меня «на вальсок». Как он держался на ногах, я не понимаю, чем больше он пил, тем больше он наливался, и только громче кричал и исповедовался. И вот во время этого вальса без начала и конца он, повисая на мне периодически и кладя руки не туда, куда следует, стал меня уговаривать поехать с ним сейчас, ночью на Центральный телеграф. Сначала он соблазнял меня просто веселой прогулкой: там, говорит, ночью никого нет, а у него ключи, и он там полноправный хозяин, распоряжается чертями, которые играют в карты любовной перепиской и пьют спирт из сургучных печатей. И что у него есть что рассказать мне, некая странная страшная тайна. И я не помню ничего точно и ни за что не ручаюсь, потому что у меня слова этого вечера в пьяном полусне перепутались с реальными сновидениями, где повторяются те же слова и ситуации. Во время танца мне было очень весело, но когда я сейчас вспоминаю, что, по его сведениям, у тебя весьма шаткая репутация, мне становится не по себе, хотя, ему, конечно, нельзя верить. Закончились танцы тем, что при очередном скрипичном надрыве «не бойсь, не пужайся, я тебя не выдам» Налитухин в пируэте подпрыгнул так, что воткнулся в плафон люстры, как будто схваченный за шиворот. Лампочки заслепили утренним светом. Только тогда все поняли, что уже светает. Налитухин же плюхнулся с размаху в твое кресло, и раздался треск: не кресла, а его штанов, которые разъехались сзади по шву, зацепившись за ручку кресла. Он, по-моему, так и ушел с дырой сзади.

«Это что за моногамид другого генотипа, и почему мы его раньше не видели?» спросил меня человек с палочкой, собравшийся тоже уходить.

«Это тайная жизнь Четвергана», сказала я, не зная, что сказать.

«Шумная же у него, однако, была тайная жизнь», пробормотал он. Я его провожала до такси, потому что в середине ночи вдруг пошел снег хлопьями, еще вчера я сидела на берегу речки, а тут вдруг снег, что-то с погодой странное происходит. А потом снег перешел в ливень, и все развезло, и на рассвете стало так скользко, что он попросил меня

проводить его до такси. Моросил дождик, одновременно и мартовский и майский, вокруг нас клубился туман, как будто мы по горам шли, он иногда останавливался и чертил палочкой круги в луже на асфальте под фонарем:

«Доза солидарности как-то превысила допустимую: раньше люди исцелялись друг при друге, теперь стали друг друга отравлять. Он умел работать на четырех собеседников сразу, и война превращалась в воинственный разговор. И началось это с Никиты Пустосвята на ученом совете: орать, когда все молчат. Когда все молчат в кулачок, должен же кто-то взять на себя роль юродивого, кричать, плевать и хохотать. Это лучше, чем любое замалчивание. Но началось это гораздо раньше, когда он заявил, что шестьдесят секунд самой ничтожной жизни грандиознее, чем шестьдесят самых великих слов на свете. Ведь слова, на самом деле, нужны лишь тому, у кого нет ни сил, ни тугриков жить. А он так и не научился оставаться в рамках беседы на несбыточную тему: он до сих пор остался вопящим младенцем, который кричит, когда ему обрезают пуповину: «Не хочу!» У него же давно комплекс Сталина и Гитлера в том смысле, что винтовке поверять перо и сказку сделать былью. А потом осквернять с помощью самых нелепых жестов честь безумца, который наваял человечеству сон золотой. Ему важно доказать, что золото фальшивое. Может, поэтому он и уехал. Может, поэтому мы и остались. На всех стихиях человек тиран, предатель или сволочь. Так и хочется пойти наперекор стихиям и проверить крепость черепа старушки-процентщицы. Но не принимайте этого на свой счет. Вы не солнечная система, вы не Бог Саваоф, вы не Юпитер из жидкого водорода, вы не Венера с такой атмосферой, и когда он взывает к Марсу, он имеет в виду не нас. И не надо принимать на свой счет шишки, которые относятся к самой справедливой в мире солнечной системе и ее устройству. И тихо прорывает осень, кому-то передав привет, что этот край навек покинул последний, может быть, поэт. И рассуждать о нем стало нашей специальностью. Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я. Вот что это такое. Он просто не может не воевать, а любим мы его за другое. Ему кажется, что все кончилось. А все на самом деле только начинается. Три месяца прошло, а осталось еще 33 года. Хотя это у нас время такое замедленное, а у них каждый месяц — как год, по теории относительности. Он не прав, что копаются в прошлом, а вы не правы, что копаются в будущем. Заместителя на его кресло не будет, это ясно, так что не копайтесь. Ваше будущее будет, когда нас на свете не будет. Опанасе, наша доля туманом повита. Мы должны отстоять эту обедню.

Есть обедня, мы должны ее отстоять. А вы идите, а то совсем промокнете», и я не сразу поняла, что это он мне говорит. И я так и оставила его стоять в ожидании такси на проливном дожде под фонарем на перекрестке. Он совсем промок, но как будто не замечал, как вода лилась ему за шиворот, а вот так вот стоял, и мне было страшно его оставлять, и может быть, даже хотелось его поцеловать, потому что во всем этом бреде последних дней, где каждый, включая тебя, доказывал друг другу свою отчаянную правду, только он говорил странные светлые слова, странные потому, что как будто мы сами их говорили и не замечали, а он как будто поднимал их, брошенные, как пятаки, с земли и подымал нас самих на этих словах, а он протягивал ладони, да пусты кошельки выпадали с руки. Плакать мне хотелось, когда я шла обратно, но слава богу, из-за дождя глаза все равно были мокрые.

И вот когда я уже открывала дверь, я получила удар по голове. Я была, прямо скажем, не очень трезва, и до сих пор не понимаю, может, это я и сама о дверь стукнулась, споткнувшись о кота. Какой-то бродячий кот с желтыми глазами шмыгнул из-под моих ног в темноте на лестничной площадке, у меня сжалось от страха сердце, и тут я стукнулась о косяк двери или кто-то меня стукнул, потому что я точно слышала мужской голос «пардон, перепутал!» Может, он и перепутал, или кот напутал, но на утро я проснулась с опухшим глазом, да и тот не следовало открывать: можешь себе представить, что делалось в квартире, не считая разбитой люстры. Крайняя занавеска была сдернута, и в этом световом облаке со странным погремыванием кувыркался маленький попугай. Сначала я подумала, что очутилась в районе тебя, посреди твердиземного моря, на турецком берегу или в Африке, которая мне не нужна. Но несколько приди в себя, разглядела, что это игрушечный попугай, которого кто-то из гостей принес вчера мне в подарок взамен тебя. Попугай кувыркался вокруг розовой погремушки. Он бился о погремушку зеленой грудью, та раскачивалась и гремела. Это было настоящее пробуждение в аду. И до меня дошел смысл проклятия, которое исторгнул из своей широкой глотки Налитухин, когда покидал вчера поминки с дырой сзади в штанах, а я отказалась последовать за ним на телеграф, чтобы пить там самогон из сургучных печатей. Я сейчас вспомнила, как он качался на пороге, и вид его был ужасен: голова, после столкновения с люстрой, была обмотана полотенцем, и полотенцем этим, как помню, вытирали стол, когда опрокинули банку с мармеладом. Он стоял на пороге и орал: «Пусть отгниет моя правая

цевница! Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц! И до тебя дойдет чаша сия: напьешься допьяна и обнажишься!» и хлопнул дверью. К тому же он унес чужую шапку, и ее владелец перевернул всю квартиру. Я не знаю, откуда он выучил столько библейских оборотов, но чувствую я себя сейчас именно в земле Уц. Сейчас, несколько прибравшись в квартире, лежу в постели и читаю «Иностранную литературу» про женщину, у которой в доме постоянно что-то ломалось, отключался свет, выключался водопровод, а когда она звонила в бюро ремонта, ей каждый раз отвечали, что приедут через неделю. И она каждый раз выпивала стакан портвейна, а вечером в темноте, абсолютно пьяная, повесилась. А я, как всегда после этих четвергазмов еще при тебе, ощущаю смутное ощущение вины: звоню, кому можно, и пытаюсь окольным путем выяснить, не наговорила ли я чего лишнего и вообще, прилично ли себя вела? Тебя нет, и не с кем обсудить самую себя.

Выяснила только то, что походя я сообщила одному твоему confidentу, что он смеется, как его жена. На что мне было сказано, что я говорю, как ты. Господи, от кого же я всему этому научилась: конечно же от тебя! И у меня больше не хватает сил все время сознать, что я занимаюсь неким чревовещанием на четверге твоим голосом. И ни голос, ни четверг не мои, а твой очередной золотой сон.

Конечно, честь безумцу, но как бы мне хотелось очутиться снова с тобой на даче, без всякого четверга, и лежать на соломенном матрасе на терраске, где окошко без рамы, и небо в нем как будто вырезано картинкой, и мы бы все обсудили и обговорили бы, что произошло, и я бы лежала, как дочь Едома из земли Уц, читая эту идиотскую «Иностранную литературу». Остается надеяться на то, чего избежать невозможно, и поэтому оно придет само, когда и прекратиться невозможно и продолжаться бесполезно. Как же мы теперь встретимся? Кстати, на фотографии, которую ты прислал, у тебя такой иностранный вид, что если бы не твой старый пиджак, который спутать невозможно, я бы подумала, что тебя подменили. Я на самом деле начала писать тебе это письмо вовсе не для того, чтобы жаловаться на головную боль, а чтобы объяснить одно событие в нашей общей жизни в связи с Налитухиным. И все никак не решаюсь тебе об этом рассказать. Может быть, потому что слишком много времени прошло. А может, потому что сейчас ты это поймешь совсем не так, как это было, и будешь именно этим объяснять мое решение не ехать с тобой. Кстати, а может не кстати, я послала тебе ко дню рождения будильник, получил ли ты его? Не слишком остроумно, но,

все-таки, не надо его разбирать, как Налитухин: в нем нет никакой контрабанды с ручья Безолаберного. Еще раз целую».

Если бы сейчас, не вставая с кресла на колесиках, Четверган оказался бы на этом четверге, его первой фразой было бы: «Ого! сколько народу, и все, как один, говорят по-русски?»

## 11

Опять забылся он, а сколько страдал на этом маршруте от удара по голове до неподвижного верчения в кресле на колесиках. Он забыл, что все началось с кресла без всяких колесиков, что все началось с дружбы и России без всяких кавычек. Он забыл, что все началось с того, что он совершил нелепую выходку. Он забыл, что он сбежал с дачи. Он забыл, что все началось с другого кресла. Он забыл, как по дороге на проводы Тамаева, отбывавшего по маршруту Москва — Иерусалим, он встретил Налитухина. Четверган тогда и не думал об отъезде. Наоборот, он изо всех сил делал вид, что думает об оставании. Об оставании вопреки всеобщему марафону. Но оставлял он себя, как некоего другого человека, и всеми силами доказывал самому себе, что все, что с этим двойником ни происходит, удивительно и прекрасно, просто лучше быть не может, и относился к этому двойнику самого себя с раскосой жадностью, на обе стороны косясь: и на себя остающегося и на себя отъезжающего, обоим завидуя и взнуздывая каждого из них в заданном направлении — на оставание и на отъезд. Обе идеи были вечными и несокрушимыми, как Иерусалим небесный и Иерусалим земной, и на их жертвенник можно было приносить жертвы ежедневно, превращая жизнь в праздник, который всегда вне тебя. Вне его оказался Налитухин, с которым он столкнулся у подъезда Тамаева.

«Ты мне pomoжешь перенести кресло», сказал Четверган, и Налитухин сразу понял, что дело не в том, чтобы кресло перенести с одной улицы на другую, а дело все в самом празднике переноски кресла, за которым последует еще один праздник, который не имеет отношения к креслу, но зато будет продолжением того вечного накручивания через канифас-блок в направлении ручья Безолаберного и гибели «Титаника». Налитухин шел рядом своей немного расставленной походкой, грудь нараспашку, и Четверган, выслушивая излияния Налитухина про то, что его Маша оказалась «не наша», пред-



ставлял себе всю прекрасную нелепость этой затеи: когда они будут нести это кресло по улице, кресло будет ехать на их плечах, в то время как ты должен сидеть на нем, а не оно на тебе, и вообще оно должно стоять у окна, а не плыть по воздуху. И одно то, что он согласился взять тамаевское кресло на память, зная, что самого его скоро не будет в Москве, и что на этом кресле будет сидеть некто, кто останется вместо него, Четвергана, который уедет, который, собственно, уже уехал, а идет с Налитухиным вовсе не Четверган, а тот, кто вместо него остался, создавало ощущение прекрасной забывчивости мистика из Бреслава, про которого он прочтет намного позже в случайном путеводителе, пересев в кресло на колесиках и забыв, как они входили в московскую квартиру Тамаева. Тамаев сидел в кресле, которому предстояло переехать на Преображенку, и рвал на мелкие кусочки собственное прошлое, взамен которого он получил розовую выездную визу. Вокруг стояли, сидели, ходили, входили и расходились в похоронном бдении люди, собравшиеся здесь, чтобы поглядеть на обезьяну, вставшую на ноги, чтобы возвратиться к состоянию первобытного доисторического предка, а вот провожающие не осмелились решиться на такую метаморфозу и пришли выразить преданность и верность уже незнакомому — не человеку, а переходному периоду, когда эта верность и преданность не нуждаются ни в каких подтверждениях.

«Вы за креслом пришли?» спросил Тамаев.

«В принципе это не имеет значения, мы можем забрать его как-нибудь потом», сказал Четверган.

«Когда — потом?» потер лоб Тамаев, для которого «потом» начиналось уже на другом свете.

Когда они вытащили кресло на тротуар, оно стало похожим на сумасшедшего в полосатой пижаме, сумасшедшего из другого века, неприкаянного и без крова над головой. Но когда они подняли кресло на руки, как несут императора на паланкине, и двинулись вниз, кресло стало покачиваться, как будто на нем сидел невидимый некто, тот, кто уже уехал. И Четверган, и Налитухин успели перехватить из многочисленных бутылок, круживших на проводах Тамаева, которые надо было не сдавать в магазин, а засовывать в них будущие письма, чтобы кидать в Мертвое море. И когда они несли кресло, их тоже покачивало зло и весело, и прохожие останавливались, заглядевшись на эту странную процессию, как будто эти двое смеялись над невидимым царьком, который сидел в этом пустом кресле, и невидимый отпускал остроты время от времени, и это веселило царских носильщиков. После того, как кресло было поставлено на старом новом

месте, перед окном, из которого можно было видеть ворон, слетавшихся на закате к большим деревьям, Четвергану ничего не оставалось, как поддаться уговорам Налитухина и дать себя увести в направлении заведения «Дружба» — естественного окончания всяких проводов куда бы то ни было.

Относительный период, затянутый самобытнейше, в меру оригинальнейше, свободно особо наполненно, емко в свою меру, близился к своему логическому и нелогическому несоответствию. Пока Тамаев отражал, наверное, своими зрачками американскую статую Свободы с серпом и молотом в руке, и хотя у нее, может, в руке и факел, но когда у статуи поднята приветственно рука, нам все равно будет казаться, что у нее в руке серп и молот; пока он спускался и кружил перед посадкой над континентом Америго Веспуччи, Четверган, не сходя с кресла на колесиках, в вожденном здравии в сопровождении графа Готландского, в согласии с месяцесловом знатнейших приключений, содержащем в себе 366 дней на знатнейшие места Российской империи, продвигался в обратном направлении из Фридрихсгама через Йошкаралаим по Кузнечному мосту к заведению «Дружба», где собирался препровести последние часы тамошней инкарнации. С сомнением я взираю на окрестность: какая незнакомая мне местность!? Четверган забыл про кресло. Нагревтеч улыбался беспричинно, Налитухин шел, выходя на плечо вперед. Белая овца пришла домой первой. Черный бык пришел вторым. Все казалось прекрасным: и улица, подернутая теплым облачком весны и клейких листочков, и лица торопливых прохожих, не думающих о вчерашнем дне, поскольку отдали душу октябрю и маю, вымытые с большим количеством «ы» мусорные урны, все это было праздником, который всегда с тобой, потому что от него некуда деться. И это лучше того. Мира до нас не было тысячи лет и после нас не будет. Мы русские. Вы русские. Они не персы. Они турки. Я кузен.

Они, наконец, пересекли речку Неглинку по Кузнечному мосту и приблизились к поплавку «Дружба». Но прежде чем нырнуть, они решили подкрепиться и купили по два горячих пирожка с ливером — по гривеннику — на углу в киоске. Налитухин жевал и врал. Врал он медленнее, чем жевал, и поэтому ему была куплена еще одна пара пирожков с ливером. Врал он на этот раз про свою Машу, что впрочем неважно, потому что врал он всегда одинаково и воодушевленно, и Нагревтеч лишь издавал подтверждающие «ыгм? ну! угум, нда?», скорее лишь для того, чтобы разогреть это воодушевление, без того разогретое горячими пирожками и количеством выпитого, еще больше. Эти междометия ставили под сомнение трагическую бурю в стакане налитухинской

души. Глаза у него в такие моменты съезжали в поволоку, губы — скорбно уголками вниз, он периодически вздыхал, закатывал глаза и хрипел: «Не каждому в руки даются муки!» Никогда нельзя было точно сказать, нагоняет ли Налитухин очередную парашу с целью повисить ставки в глазах окружающих, или же с ним действительно происходит катастрофа. Никогда нельзя было с точностью сказать: в глазах у него голодный блеск, страх или охотничий голод? И почему он вдруг начинал соглашаться и ласково в глаза смотреть: для того, чтоб не обидеть, или для того, чтоб уцелеть? Он возмущался заранее, потому что заранее знал, что ему не поверят. Он, в действительности, всю жизнь провел в настолько здоровом и счастливом расположении духа, что когда с ним действительно случалось нечто неприятное, он сам этому не верил. И поэтому раздувал свой несчастный случай до таких размеров, что и другие ему не верили. То есть в плохое утро плохого дня надо было раздувать свое плохое состояние, поскольку другой случай быть несчастным не скоро представится, чтобы пожаловаться на собственную судьбу:

«Что делать? Что со мною случилось? Каждый день я у других колен». Налитухин поперхнулся пирожком с мясом и кашлял долго и упорно, пока на глазах у него не показались слезы. «Меня Машка из дому гонит. Я ей говорю: от недолгого уюта дверь открытой поддержи. А она мне: не заманишь тертых юбок на косые падежи. При чем тут косые падежи?! У нее идеи, у нее шпильки в голове, она не понимает, что меня инстинкт иногда не туда заводит. А у нее интеллект на первом месте. Последний месяц, как ни приду пьяный, она у меня перед носом дверью хлопает и кричит: «Прощай, немытая Россия!», и он вытер салфеткой из-под пирожков слезу от кашля. И никакие советы не идут впрок. Вот ему опытный женатый друг чего посоветовал? Ты, говорит, перед тем как в дверь звонить, разденься, а как только она дверь отопрет, ты первым делом в щель свои шмотки кидай: не будет же она тебя голым на лестничной площадке держать — пустит. И чем этот совет обернулся? Возвращался он раз домой, пьян в дупель, дверь открылась, Налитухин быстро свои шмотки с себя снимал и в приоткрытую дверь кинул. И вдруг слышит голос, и вовсе не машин голос, а такой громкоговорительный: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция Проспект Маркса». И из вагона метро попал он не в квартиру, а в милицию. Но взбунтовалась Машка, когда Налитухин Ленина с собой в постель притащил. То есть этой зимой он стоял пьяный в дупель и такси ловил на морозе. И мороз был такой, что просто высморкаться

нельзя. Он стоял с поднятой рукой и попутки ловил. Никто не останавливался, и только пожалел его снегоочиститель: в кабине был уже попутчик, но ему сзади, на контейнере разрешили пристроиться. И когда он уже взбирался на снегоочиститель, видит: стоит человек замерзший, тоже руку вперед протягивает, попутным машинам сигналил, весь белый от мороза, просто закован весь, без шапки, лысый, в одном пиджаке. Ну, он его на плечи, и на снегоочистителе довез до дома. Так они вдвоем на тахту и повалились, не раздевшись. А утром его Машка будит и кричит: «Ты зачем в мой дом Ленина притащил?!» Налитухин очухался и видит, лежит он в обнимку со статуей Ленина в полный рост из гипса: он рукой не такси ловил, а указывал, оказывается, к светлому будущему! Вот тогда его Машка из дома и выгнала. И Налитухин, нахмурившись строго, на ходу косясь Четвергану в глаза, стал выпрашивать, какие там у Нины возможности в химическом смысле, и есть ли доступ к ядам, намекая на то, что предназначенное расставанье обещает встречу впереди и что она, Маша, в неведении спокойном пусть доцветает без него. Отныне яд коварной мести ничей уж не встревожит ум. «Угум, мда!» сказал Нагревтеч в ответ и усмехнулся кинжальной улыбкой. Умом мы жили и пустой усмешкой. Не знали, что закончим перебежкой.

Пока Налитухин намекал на встречу, предназначенную расставаньем, Четверган поглядывал на витрину за спиной, где с внутренней стороны маляры по случаю ремонта написали белой извешкой слово «тномер»; потом доел свой пирожок и сказал Налитухину: «Пирожок, он служит стимулом, чтоб его после съедения запили соком». И попытался двинуться к сокам и водам через перекресток, в направлении географических карт, но Налитухин взял его под локоть, и они взошли на ступени «Дружбы» в кавычках. Слепой, как будто с раскрашенной маской на лице и в партийно-черном пиджаке, пробовал преградить им дорогу, протягивая руку за гривенником.

«Свои», кашлянул ему Налитухин, слегка отодвинув его плечом. «Ну и парочка», покачал бритой головой попродяжка, но руку убрал. На Четвергане во все стороны торчал немыслимый сюртук: очередная подачка, которая, кем-то подаренная, валялась на даче, но была напялена по причине спешки из-за отсутствия пиджака на своем месте и времени искать его в другом месте. Такая нахлобучка черного драпа для холодной весны, похожая на фрак или на мундир миссионера. И вид в целом был такой: важный фронт, сапоги в рант, голова на каблуках, помойное ведро в руках. Налитухин же был, как бесцветный гуталин лицом, в распах-

дутой возбуждением куртке-тужурке то ли охранника, то ли космонавта, то ли золотоискателя, а может, и рыбакова. В воздухе крутился веселый весенний ветерок, обещавший осеннюю поземку чигичинахского направления винт, и через дыры в налитухинской душе шуршал золотой песок десятками на чай таксистам, и разливался рассуждениями нога в ногу о бездуховности, где Четвергану-Нагревтечу отводилось место бича при золотоискателе, гульнувшего в столице. Оставался за спиной Кузнецкий мост через речку Неглинку и копьевское одиночество, и Йошкар-Ола, и Фридрихсгам: приближалось сплошное здесь, без всяких там. Они толкнули стеклянную дверь, и «Дружба» в кавычках заблестала и засвистела во всем ее поганом налитухинском величии.

Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь. Его, то есть Налитухина, встречали здесь, как римского триумвира. Очередь в раздевалку была гигантская, но даже если б не было в ней ни одного раздевающегося, привилегия триумвира: войти, не снимая военных доспехов. И не задерживаясь у вешалки, они вошли в звон ложек, подносов и половников, звучащих звоном победных литавр. Торжественно лавировали среди жующих и не сбили краем своих хитонов ни борща суточного командировочного Хасана, ни биточков учрежденской Лейлы. Миновали столик, где военнослужащие распивали бутылку водки, разливая ее под покровительством газеты «Правда»: каждый из трех, опрокидывая бутылку в стакан, углублялся в чтение газеты «Правда» так, что не видно было ни лица, ни бутылки, ни стакана. Распорядительница столовой в больничном халате пробовала крикнуть Налитухину насчет запрета появляться в верхней одежде в общественном питании, но узнав его, по-матерински лишь погрозила пальцем. Он откланялся и пригласительным жестом указал Нагревтечу на ступеньки, ведущие в дальний, полутемный, скрытый за самообслуживанием, зальчик. Оттуда уже слышалось чье-то разнузданное: «Не надо ни выпивки, ни девок — лишь бы были друзья!» И они оказались в незнающем смены дня и ночи беззаконном заднем помещении, где вывеска «не курить» на фоне сингапурских фресок тонула в клубах табачного дыма. В свете немногих лампочек поблескивала кофейная машина с вывеской «закрыто на ремонт».

«Пока не рассекретили наше инкогнито и не набежали здешние обормоты, предлагаю поднять эти два стакана «Солнцедара» за неизбежность смены. От него кишки слипаются, но у нас нет иного выбора: отныне яд коварной смеси ничей уж не встревожат ум», и Налитухин разлил по граненым стаканам. «Машка, Машка, нашла кому довериться, беспечная: ревнителю и груму череды». И они чокну-

лись. «Завидую я тебе: вот у тебя дома краем глаза заметил: рубашка выглаженная на стуле висит, и рубль будильником заботливо припечатан. А я? Печальный демон, дух изгнания. Невозможно стоять у порога, за которым то мил, то не мил. Вот раньше, если лежать на диване, отвернувшись лицом к стене, то ведь в тайне был уверен: придет она, утешительница. А теперь сколько ни лежи, отвернувшись лицом к стене, точно знаешь: нет, не придет. Потому что глаз не блестит. У меня раньше глаз сиял. А теперь, погляди, ведь свинец в глазах». Он повернулся к Четвергану и, растопырив глаза, напрягая зрачки, уставился ему в глаза: «Не блестит?»

«А вот я по лесу иду, вижу: на полянке что-то блестит», зататорил над ухом визгливый голосок, и к ним сбоку, боком, примостился на стуле человек с могильным гамлетовским лицом, в выпуклых очках в железной учительской оправе «как закалялась сталь». От «Солнцедара» через желудок шло жгучее обострение зрения: как будто плеснули в глаза струей пара из кофеварки, и на секунду состояние ослепления вместе с разбегающимися торчащими резко деталями. И голоса отодвинулись, перестали соответствовать говорящим лицам. «Вот иду я по лесу и вижу—блестит», продолжали выговаривать обезьяньи губы очкарика. «Подхожу: блестит. Нагнулся — блестит. Взял в руки — и что бы вы думали? сопля!» Он откинулся, и его кадык беззвучно загоготал. «Давненько вас не видали, космонавт. Как с золотым запасом? Чего это у тебя в глазу блеска нет? Тусклый глаз. Нельзя без блеска в глазу. Это я, как аптекарь, тебе говорю. Глотнуть дадите?»

«А вот сбегай», и Налитухин швырнул ему десятку. И когда аптекарь, слизнув пальцами десятку, как рецепт, мотанул за угол, Налитухин вздохнул: «Разоблачили мое инкогнито», и пока губы кривились в скорбной гримасе, глаз самодовольно сверкнул. «Я ведь их всех поил. Я им такие четверги тут устраивал», и Четверган вздрогнул от неподходяще промелькнувшего совпадения. Налитухин, как всегда, не заметил вздрога. Он был в состоянии первого стакана: истина умиротворенно разворачивалась перед ним, как соленый огурец с черным хлебом для закуски на развернутой газете, и впереди еще непочатая бутылка гарантией будущей вечной жизни, и позади прощенные обиды. Включился до этого незамечаемый шумок вокруг пластмассовых столиков, где различные девушки из почтовых ящиков устраивали себе личную переписку устно и в прямом контакте с мужскими инженерами. Как будто специально под налитухинскую грусть получалось, что все сидели, повернувшись к ним спиной.

Налитухин, глотнув остатки первой бутылки «Солнцедара», закусил губу и откинулся по-байроновски:

«Я ведь для здешней дружбы выворачивал носки от доски и до доски. Неразмненным золотым я летел с ладони. Чтобы все крутилось, вертелось, чтобы каждый из них, заглядевшись на секунду в прекрасной спешке, шептал губами: «вот это жизнь! вот она, жизнь!» Разбирайте ложки, отдирайте брошки! Я ведь ради них на голове по проволоке ходил, я кидал в «Пекине» сотни. А им-то было все равно. У каждого ведь свои принципы. Вот ты, у тебя идеи, у тебя слова, ты их на открытках пишешь, марки приклеиваешь, рассылаешь в неизвестном направлении. А я что? А я ведь всего себя проштемпелевал по каждому адресу. Я ведь с каждым и с каждой и через суд прошел, и через постель. Через огонь и водку. Все теперь сидят по своим домухам, у девочек детишки, которых они здесь завели, у мальчиков принципы, которые они у меня прикарманили. Да я эти принципы, я их горстями мог раскидывать: чтобы каждый плясал не просто так, но со значением. Но ведь чтобы плясал. Чтоб выворачивал носки от тоски и до тоски. Да, я принципы навязывал, но для чего? Чтобы были отступники и предатели, чтобы были фанатики и примирители, чтоб лепету палимого урода победная сопутствовала медь. Чтобы ревновали, обижались, бились в истерике, целовались, выцарапывали глаза, надрывались от отчаяния, вешались, травились, спасали, затаскивали в постель, вытаскивали из петли, плакали в подушку, напивались в доску, забывали родителей, кормили из ложки стариков и немощных, пели хором и уходили поодиночке. А что бы делала без меня та же Машка? Что бы делали все эти девочки, с утра до вечера просиживающие жизнь в ящиках и в химических лабораториях? Что бы делали без меня все эти спившиеся инженеры? Да и что человеку делать с этой принципиальной идеологией, когда он ночью один под одеялом? И эта честность, и долг, и совесть, как черный комарик, сосет кровь из-под самой печенки. Не ты на нем летишь, а он на тебе ездит. И гонит, и погоняет, язык высунул, а он все сосет, а впереди темная ночка, булатный кинжал, на золотой цепочке турецкий самопал. А я ведь им жизнь делал, я им показывал, надо делать жизнь с кого. И что с этого? Какой с этого навар? Отвернулись спиной, к своим принципам, и меня же обвиняют: легко обвинить, когда во всем, что с ними ни произошло, я замешан. Яду мне, яду!» и они разлили остатки «Солнцедара», когда на ступеньках, ведущих из зала самообслуживания замаячила фигура очкастого аптекаря. Пиджак у него оттопыривался двумя небрежно припрятанными за пазуху бутылками.

«Эй ты!» замахал ему стаканом Налитухин. «Вот и он, быстро обернулся, продавец ядов. Он сюда десять лет ходит. Его из аптеки выгнали за то, что спирт воровал. Сам-то он не пьет, но делает вид: чтоб своим считали. На что живет, никто не знает. Как большая поддача, он всем ключи предлагает, если кому нужно с бабой, он ключик дает бесплатно. Но потом его вывели на чистую воду: он не просто так ключик предлагал. Он подглядывал. У него там две комнаты было: от одной комнаты ключи дает, а из другой подглядывал. И даже на сеансы водил за плату. Тут все так друг с другом и перезнакомились. Все всё друг о друге знают. Кто что любит, когда и как. Такая сверхсемейная жизнь. Чтобы каждый знал, когда кому от чего плохо, чтобы по прищуре глаз было ясно, кто чего хочет, и точно всегда знал, что если тебе плохо, то она всегда придет. Не понимаю я этих экивоков, мне вот чтобы все свистело и летело, чтобы все друг с дружкой в одной таратайке. То есть, конечно, нужны ревность и слезы и разлука, но чтобы все это для встречи, чтобы все вместе за руки, чтоб не пропасть поодиночке. Вот мне вчера сон снился: и вся жизнь представилась как один Кузнецкий мост, длинный такой, светлый и широкий, под ним речка колышется, листочки клейкие нависают над водой, а по обеим сторонам моста ко мне руки протягивают, и машут приветственно различные знакомые и приятели, но все они — это я, то есть Налитухин, но как бы в разном виде, то есть иногда даже и узнать нельзя в женщине Налитухина, однако я иду по мосту, и знаю, что все они — это я, и я со всеми хочу перецеловаться и переобниматься и вдруг обнаруживаю, что меня-то самого и нет, и легко так мне и хорошо глядеть на себя со стороны, а самого меня и нет. Кто я и что без них? Вот ты, аптекарь, историю инквизиции изучаешь, почему же это называется четвертование, если две ноги, две руки, да еще голову надо отрубить? Это же пять ударов надо сделать и на шесть кусков — почему же четвертование?»

«Я до четвертования пока не дочитал», засуетился аптекарь, выставляя на стол две бутылки «Зубровки». «Я пока дошел только до колесования».

«А как насчет рецепта в мир иной? На одном «Солнцедаре» с «Зубровкой» туда не попадешь. У меня намерения серьезные, где рецепт яда, я тебя спрашиваю? Мне надо готовиться к разлуке с Машкой, а ты резину тянешь со своим колесованием. У меня иные колеса в голове стучат», и Налитухин, размякая от будущих слез по самому себе, когда он найдет себя отравившимся с горя, стукнул чувственно кулаком по столику.



«Свой человек?» осведомился аптекарь, скашивая выпученные стеклами очков глаза на Четвергана. А тот, с каждой секундой превращаясь в Ветрогама, поглядывал на растущий вокруг шумок, пропадал в этой «дружбе» в кавычках, где тебя никто не знает, и никто не узнает, и останешься ты для них на время этого посещения тем, за кого они тебя приняли, и кем ты никогда больше не будешь. Меж столов сновал лысый, который делал вид, что он слепой, и протягивал руку за гривенником у входа. Сейчас у него появились острые глазки, которые выхватывали что-то на столах. Он прохаживался с оглядкой, а потом делал рывок к очередному столику, усаживался, закладывал бумажную салфетку за майку под пиджаком и вдруг принимал солидный независимый вид. Потом придвигал к себе тарелку с объедками, вооружался вилкой и быстро вычищал все, победно поглядывая и выглядывая новый столик.

«У него сегодня молочный день: видишь, только к сырникам подсаживается», сказал аптекарь, уклоняясь от разговора о рецепте.

«Это правильная идея», сказал Нагревтеч, чокаясь с Налитухиным. «Этот лысый вегетарианец не делает вид, что то, что он делает, говорит или ест, никто до него не делал, не говорил или не ел. Он как есть все принимает. Все это уже было. Он лишь подчиняется закону круговорота воды в кофеварке по перкуляторному принципу».

«Вы по ремонту кофеварок работаете?» осведомился аптекарь. «А скажите, можно ли в кофеварке варить чай?»

«В принципе да», сказал Нагревтеч, «но будут залипать дырочки».

«Ты ему мозги не залипай», прервал аптекаря Налитухин. «Ты мне уже год обещаешь рецепт, где рецепт?»

«Тебя же не поймешь: ты серьезно, или чтоб приятеля удивить? Ну, если не шутишь, то можно составить тебе один рецептик. Компоненты сможешь приобрести в любой аптеке. Только в разные аптеки загляни, чтоб не вызвать подозрения. А потом, когда смешаешь, в пропорциях рецепта, эта смесь и приобретет ТО САМОЕ КАЧЕСТВО. Сечешь? Но я тебе рецептик за просто так не отдам, за это знаешь сколько можно хлопотать?» и оглянулся. И отвернувшись, чуть не залезая головой под стол, долго мусолил по записной книжке чернильным карандашом. Потом вырвал листочек, сложил его в четыре раза и сунул под стол Налитухину, как будто не он рецепт передавал, а отдельно несознательная рука. Налитухин развернул листок на ладони, как бабочку, и долго рассматривал. Потом поднял глаза, разорвал медленно листочек на мелкие кусочки и швырнул его в лицо аптекарю:

«Пошел отсюда! быстро! На мальчика рассчитываешь? Ты что же мне пишешь? Аспирин со снотворным? на сон грядущий? чтоб меня потом рвало? чтоб меня потом откачивали? Ты что же думаешь, я не понимаю, что это тошнотворное, а не снотворное? Тут ведь чуть меньше, чуть больше — и блевать будешь, вместо сна навеки. Такому рецепту только мальчик поверит. И ты меня, меня вздумал провести на снотворном?»

«Ну ладно, ладно, ну не дал себя обмануть. Ну, я клянусь, я тебе завтра все приготовлю, у меня приятель есть, он для меня все сделает».

«Приятель?!» заорал Налитухин, приподымаясь вместе со стулом. «Ты еще приятеля привлекаешь? Третьего лишнего? А где твой приятель служит? Ты, милый, вали отсюда. Иди воруй, пока трамваи ходят. Уходить нам отсюда пора. В далекие края. Неси чемодан, аптекарь. Я хочу объявление сделать».

Аптекарь, обрадованный исходом дела, побежал за кофейную машину на ремонт и вернулся, волоча за собой огромный чемодан. Чемодан был настолько тяжел, что аптекарь не мог оторвать его от пола. Но Налитухин рванул чемодан к себе, как будто он был пуст. Он поставил чемодан на колени и продолжал свою элегическую тяготиину, как будто на полустанке, с чемоданом на коленях, в ожидании поезда:

«Хороша Маша, да не наша. А которые приходят на короткие места, только около и вроде, как перила у моста», и он печальным жестом обвел подвыпившую публику. «Вот раньше, если у меня мысль о самоубийстве возникала, я знал, что человечество обо мне думает. А сейчас я знаю, что человечеству наплевать. Не нужен я людям. Конечно, если б я локтями толкался и рвал бы удачу на лету, и старался бы заполучить любовь человечества, оно бы меня тоже спасало. Но ведь есть же в этом несправедливость, что вот если самому не стараться, вот если просто лежать, лицом к стене, и никого не любить, то и тебя никто не полюбит. Нет на свете безвозмездной любви. А вот если я даже моральный урод, что же — и нет у меня никакого шанса?»

Налитухин настойчиво сворачивал на ту же колею, нажимал на те же педали, как будто ожидая, что новый встречный рванет баранку в другую сторону, и реальная катастрофа подтвердит его плохо подтверждаемое несчастье. Он как будто подмешивал составы, вполне законные, которые можно приобрести в любой аптеке, замешивая несуществующий рецепт и надеясь, что из этого толчения в ступке выйдет взрывоопасная смесь, и можно будет гордиться своими ранами

и орденами. Пока он ораторствовал, вокруг столика разворачивалась большая жизнь, диалектически опровергая его лозунги об отсутствии шансов. Шансы носились в воздухе, как неуловимые кварки. Уже к «Зубровке» подмешивался снова «Солнцедар», а к «Солнцедару» подклеивался разведенный спирт. Налитухин не выпускал чемодана с колен, умудряясь одной рукой наполнять стаканы и отставлять пустые бутылки. Вокруг сновали худенькие лица болезненных измученных людей, лишенных, как в тюрьме, в стенах твоих, столица, цветов и воздуха полей. Четверган сидел, прислонившись спиной к стене, и вслушивался и одновременно не вслушивался, вглядывался в клубы дыма и шурился, или наоборот, старался не глядеть. Взгляд прямо в глаза мешал слушать всю эту ерунду, и он отводил глаза в сторону, и чего-то прикидывал в уме, и сопоставлял. Но за толстыми стеклами очков при его косоглазии вообще было непонятно, куда он смотрит, хотя зрачки казались огромными, гигантскими, сверхличными. Его память работала, как резиновый клей во время разговора, обрезая ненужное, подклеивая по случайному сопоставлению, которое потом становилось неслучайным объяснением разговора, обрывала на ходу, чтобы вернуться к тому же с другого конца. Он сидел с белым лицом в черном нелепом с чужого плеча сюртуке, как будто во фраке, и следил внимательно за дракой, и глотал жгучее вино. И вдруг прорвалось, как сквозь помехи радиоприемника, монотонный налитухинский надрыв:

«Нет, но как же так: ведь если я ее жду, изо всей силы, на всю катушку жду, через канифас-блок и на турачку жду, она же должна прийти, чего же она меня ждать заставляет? Если она не понимает, в каком я состоянии, значит ошибся я в ней как в бабе, а если понимает и не приходит, значит, ошибся я в ней как в боевой подруге. Я ковал ее железными подковами, я пролетку ее лаком покрывал».

«В конце концов, наша жизнь — это смена настроений. Но дело в том, что при каждом новом настроении чувствуешь похмелье от предыдущего настроения, да еще и слюна течет от предвкушения нового настроения в будущем, так что в конце концов все эти настроения превращаются в такое построение, которое требует все тех же ответов на те же вечные вопросы», отделялся Четверган.

«Когда я говорю с тобой, я лишаюсь всякой половой интуиции», глубокомысленно и задумчиво отвечал не ему чей-то женский голос. И вдруг с дальнего конца командировочный басок: «А помните, Иван Иванович, как под вас Иван Иванович подбирался? А вы его на партсобрании, Иван Иванович, таки подмяли, подмяли его, гада».

«А сейчас он должен выслушивать интимные гадости одного своего начальника про другого, как один, трагическая натура, должен продаваться и будет продаваться, потому что нету выхода и все, и в этом трагедия, а этот тип цинично занимается всем этим дерьмом и в ус не дует, и это для него не трагедия, и это-то и бесит». И вдруг: «Жить тяжело, когда взгляд не тот. Хорошо, предположим, но где я возьму такую сумму на отъезд? У меня даже паспорт не продлен. Но я сделаю шаг, и они в свою очередь сделают шаг, а тогда остается надеяться на чудо, вдруг вывезет?»

Такие разговоры сами по себе еще одна жизнь, даже если это жизнь обезьян. И нечего искать тут никакой сущности. И если записать эти разговоры на магнитофон, то ничего кроме меканья и беканья не услышишь. Надо было слушать и добавлять в уме те слова, которых никто не сказал, и сам этот процесс слушания и создавал иллюзию. Как она на меня посмотрела, как я на нее посмотрел, а потом она на меня посмотрела, а я на нее посмотрел, но ее подруга сказала, что она сказала, что он посмотрел, хотя на самом деле он сказал, что она на него не посмотрела. Вот что получится, если записать на магнитофон, и понятная банальность на фоне загадочной тарабарщины покажется откровением. Но в тот момент, когда ты сидишь окруженный говорящим дымом голосов, ты вносишь в реплику с соседнего столика свой собственный смысл, который крутится у тебя в голове вне зависимости от чужих реплик, и тогда расслабленная чушь становится высоким разговором, который существует только для тех, кто в нем участвует. Как будто ты слушаешь радиоприемник через наушники, и стоит снять наушники, ты ничего не услышишь: ты услышишь разговор в комнате, где собеседники не подозревают, что есть еще разговор, который слышен только человеку в наушниках. Но, надев наушники, он перестает слышать разговор в комнате. Незаглушенные глушилкой голоса глушили всякое движение мысли в комнате, и надо было выключить внешний звук, надеть наушники и слушать свои голоса индивидуально. Когда их глушили, казалось, что говорят они нечто жизненно необходимое, чего ты не мог расслышать из-за глушилки. А когда их перестали глушить, оказалось, что сказать они ничего не могут, а то, что могут, мы и сами можем додумать, а для нас нет разницы между мыслью и действием. И каждое слово в настоящем имеет свою историю, которую приходится искажать, чтобы связать с третьим, которое будет иметь значение в будущем, которого не существует с точки зрения одного языка и которое существует лишь на том языке, на котором присутствующие как раз и не говорят. В языке

библейских пастухов существует активная форма пассивного действия, но не существует понятия будущего в прошедшем, которым вооружены бывшие викинги. Но то, что для них означает конец книги, для других означает только начало. Сейчас, сидя в кресле на колесиках, Четверган перебирал старые листочки и кусочки и пытался вспомнить, что же собственно говорилось тогда в этой забегаловке под названием «Дружба», и он не мог вспомнить, точнее, вспоминая, он придумывал заново. Раньше можно было вслушиваться и подпевать про себя собственный мотив; сейчас надо было самого себя придумывать, самого себя выискивать в старой переписке, самого себя записывать, а потом прокручивать на магнитофоне. Из чего составлялся этот ядовитый рецепт, из какой ерунды? Вспоминать до иступления всякий ерундовый разговор и с ужасом убеждаться в том, что в случайно и неохотно, или наоборот — в до смешного легкомысленно мелькнувших у случайного собеседника словах было сказано о тебе то, в чем ты сам себе никогда не признавался или никогда бы до этого сам не догадался. Память враждебна всему личному, и уличить в предательстве может лишь случайная реплика собеседника, заставившая вспомнить то, что поклялся забыть. Память совершает самопредательство, и в этом ее уличает случайная реплика, странным образом отвечающая на твой негласный вопрос. И в этой запрятанности и в желании ее разоблачить — тайна всякой встречи. И ты ждешь от каждого разговора, когда раздраженное собеседником щебетание твоей памяти вдруг закричит чужими словами. И вот когда ты прокричал чужими словами очередной донос Господу Богу, вот тогда встреча и заканчивается, вот тогда ты снова в настоящем времени, свободный и с марсианской жаждой творить. Потому что свобода — это прояснение прошлого через случайный разговор. И как будто выдвинулись снова лица на минуту отрезвления:

«Понимаешь, травка такая или грибок, ты ее сосешь там или навар делаешь, а потом можешь разговаривать с другими людьми, которых нет, но которые как будто есть. Причем бывает так, что ты сам понимаешь, что этих людей на самом деле нет, а ты просто сам с собой разговариваешь. Но бывает и так, что для тебя они существуют на самом деле, а в действительности они одно твоё воображение», солидно растолковывал Налитухин, сидя с чемоданом в руках.

«Подумаешь, навар!» включился в разговор Четверган, «вот если совершенно ничего не делать, никого не видеть, запереться у себя в комнате и не вставать с постели недельку-другую, засыпать, видеть сны, просыпаться и снова засыпать, то в конечном счете начинаешь разговаривать с разными

выдающимися личностями, которые расхаживают по твоей комнате и стоят над твоей постелью. Причем иногда ты понимаешь, что они тебе только кажутся, а иногда так и невозможно сказать, были ли они в твоей комнате или только приснились. Так что все ваши экзотические навары можно осуществить в домашних условиях». Налитухин поставил от возмущения чемодан на стол, и стол покачнулся:

«Но зато травка, которую я в Казахстане искал, после нее, как тот гад мне врал, я его еще найду, этого гада, но факт, что существует такая травка, после которой можно сидеть в Москве, а видеть вокруг сплошной бананово-лимонный Сингапур!»

«Возможно, но для этого надо иметь понятие о Сингапуре. А ты накорми гашишем вон того алкаша, так он что с бутылки водки, что с морфия будет кричать одно и то же: мать моя родина, я большевик!»

«Ты не понимаешь», не унимался Налитухин, «это такая травка, которая может разрешать твою экзистенцию! То есть, если человек нерешительный, ну вот как я, и не может решение принять, то после этой травки он всю свою экзистенцию может, как на заборе, прочесть!»

«А как эта ваша травка действует?» не унимался Четверган. «Вот если человек наелся этой вашей травки и уже может все решения принять, сможет ли он эти решения не осуществлять? То есть, он сначала колебался, потом напился этой травой и уже не колеблется — так вот: может ли он вернуться к нормальному человеческому состоянию колебания и нерешительности? Или же он сразу начинает действовать, очертя голову, вместо того, чтобы идти спать и разговаривать во сне с теми, с кем нет никакого желания говорить в натуре?»

«Вот я всегда говорил, что при Сталине легче было», разозлился Налитухин, «потому что при Сталине всех насквозь было видно. А теперь тут, как я погляжу, появились такие новейшие поколения с партийной аморфностью, что пойдешь пойми их: то ли ты их подловил на слове, то ли они тебя держат на крючке. Глаза у тебя хорошие, а улыбка нахальная, ты разговариваешь, как тот гад, из-за которого я в Казахстан вляпался. Если я его найду, а я его достану, он у меня травку эту пожует. И он у меня десятью голосами заговорит. Я его заставлю из этого котла есть», и раскрыв чемодан, Налитухин вытащил из него огромный чугунный котел и грохнул его на стол. Покатались бутылки. «Я с этим котлом весь Казахстан прошел. На плечах его таскал, все травку эту искал, чтоб сварить ее и голоса услышать. По всем колхозам прошел, по всем деревням. А все потому, что поверил этому

гаду. Я с ним здесь и познакомился. И он мне клялся, что в Казахстане эти травы выращивают в деревнях, и если правильно по рецепту сварить, такой кайф ловишь. И я, дурак, поверил. Котел купил, на плечи его повесил, и в Казахстан. А там жарница, глина потрескалась везде, везде сплошные овцы, вместо травы одни колючки. И все шел я с этим котлом, а он чугунный, мне этот гад сказал, что обязательно из чугуна котел должен быть. И добрался я до деревни на краю Казахстана, и все у местных тубетеек выспрашиваю про травку. И наконец дали они мне разных колючек, и я в степи развел костер и всю ночь эти колючки варил, а потом напился этого навару, у меня глаза на лоб полезли, и думал, что помру, но голосов не слышал, а только заснул в каком-то бреду. А на утро просыпаюсь, стоит надо мной председатель колхоза в тубетейке и говорит, что он дает мне колхозного козла, чтоб я отсюда до станции поскорей умотал, потому что сейчас придут на место пограничники меня хватать. Я спрашиваю: за что? А он говорит: потому что сначала они думали, что я ревизор, а потом решили, что все-таки шпион. Но все-таки он думает, что я ревизор, и поэтому мне козла дает, в смысле машину колхозную, газик, чтобы меня выручить, потому что если я даже и ревизор, все равно в шпионы запишут, если схватят. И так я в Москву и вернулся. И теперь с этим котлом не расстанусь: вот доберусь до этого гада, который мне про казахстанскую травку наврал, и он у меня этой травки из этого котла поест, я целый мешок с собой привез этих колючек. И вот на тебе: я справки навел — он оказывается в Русалим уехал».

«В Новый Иерусалим?» спросил Четверган.

«Да нет, в тот Русалим, настоящий, где Гроб Господень».

«Теперь видал ты его в гробу», сострил аптекарь.

«Я воскресения мертвых ждать не намерен: пускай он по живому следу пройдет мой путь за пядью пядь», и Налитухин, встав на стул, поднял котел и ударил по нему, как по колоколу, бутылкой, и чугунный гул дошел, наверное, до Иерусалима, потому что со всех концов повскакали с мест и бросились к его столику. «Я обращаюсь ко всем тунеядцам моей родины, уклонявшимся от права на труд в поте лица своего. Я обращаюсь к вам, друзья мои, не знающим, что такое дружба, всю жизнь просидев в заведении «Дружба». Я обращаюсь ко всем, кто сидит там, сам не знаю где. Я обращаюсь к тем, кто не значит что. К вам обращаюсь я. Обращаюсь я к тем, кто не тот, и такой не так. Обращаюсь ко всем тем, кто выдает себя за того, кем никогда не хотел быть. К вам обращаюсь я, кому есть чего терять, кроме своих

цепей. Я обращаюсь к тем, кто здесь не как пустынножитель или пришедший в отшельническое братство, но как переселенец, а не как беглец, и кто, тем самым, не вполне отшельник, не в совершенстве пустынножитель. Поднимайтесь, все фальшивые бездельники и усердные тунеядцы: я зову вас в новый святой поход на город Русалим. Я прошел все дороги, и везде меня принимали или за ревизора или за шпиона. От морозов ручья Безолаберного до глиняных пустынь Джезказгана. И вот Машка выгнала меня за порог своего дома, и мне негде преклонить голову. И я отправился искать тайного зелья вдали от русских мест. Кто меня подловил в состоянии растерянности и отправил странствовать по глиняным пустыням Казахстана с чугунным котлом на плечах в поисках фиктивного утешения тайным зельем? Тот, кто сейчас по рюмочке стучит в единственном на свете городе, что существует для тех, кто не есть тот, кем он является на деле. И в этом городе не знают, что этот злоумышленник сплавил меня с чугунным котлом искать фальшивого утешения, которого нет там, куда он меня отправил, а сам скрылся в святом городе Русалиме, который он оскверняет своим фальшивым присутствием. Так поднимемся со своих пустых стульев и двинемся пешкодралом на город Русалим, все бездельники и тунеядцы, кто давно ходит на голове и топчет небо ногами. Ничего нам на свете не осталось, как вооружиться моей героической идеей и перейти через Иордан, минуя колючую проволоку толпой безоружных тунеядцев. И войдем мы в святой город Русалим без единого выстрела, потому как кто с нами будет сражаться, если мы без оружия и нас тьма тьмушая, как китайцев? Только там, в святой земле, истинная травка утешения, и каждый напьется ею и обнажится, и забудет свою наготу и неприкаянность. А шарлатан и подлец, который уговорил меня с чугунным котлом искать эту траву в Казахстане, а не в истинном месте, этот гад сядет у нас на глазах перед чугунным котлом и будет жрать казахстанскую колючку!»

«Яко по суху! яко по суху!» стали раздаваться нечленораздельные крики новообращенных, скрестивших стаканы с «Солнцедаром».

«По дороге же на нашем святом пути», продолжал Налитухин на хрипе, «к нам приобщатся все те, кто не есть, и будет нас тьма тьмушая, как китайцев, но с доброй волей, и затопив святую землю нашей доброй волей, мы прекратим тем самым палестинский конфликт, и мечи перекуем в чугунные котлы», и Налитухин еще раз ударил в чугунный колокол котла.

И вдруг, в наступившей тишине, чей-то голос болезненно вскрикнул: «Маша!» И как ветерок прошелестело с уст на уста:



«Маша-шама-шамаша-ша». Все прямо так и ахнули, когда она вошла, и Налитухин уронил чугунный котел. Котел зазвенел колокольным звоном и покатился к ее ногам, повернулся два раза у ее ног, покачался на донышке и замер. Четверган, оглушенный вначале налитухинскими призывами, где загадочная абракадабра была нафарширована такими отчаянными призывами к «тем, кто есть не тот, кто тот», за которыми звенел иерусалимский рог, что весь этот макабрический монолог, несмотря на свою бессмысленность, почему-то звал вперед, сидел вместе с другими оглушенный, вжатый в стул, прижатый к стене, когда Маша, совсем без спутников, одна, качаясь на высоких каблуках, медленно прошла меж пьяными и села напротив Уолтера Митти, расправив синтетическую шубку. Он вжался в угол, затаив дыхание от ее прямого взгляда, потому что именно на него она глядела, а он глядел в пространство. И сначала он не слышал, что она сказала, тряхнув черной челкою, а только заметил, что она слегка заикается, и от этого быстро говорит, чтобы скрыть заикание, или же наоборот, говорит она быстро с выговором городских окраин, а заикается, для того, чтоб скрыть этот просторечивый выговор. На них наставлены были взгляды, как ножи, когда она, вздрогнув плечиком, вдруг сказала в эту наполненную ожиданием паузу:

«Как хорошо тут у вас, мальчики».

И сразу же началось движение, и все засуетились, и появились новые бутылки, и подходили и целовали ей ручку, и она шурилась и вспоминала, а потом, в конце концов узнавала и визжала от радости, что узнала старого знакомого, и тот от радости бежал за новой бутылкой, и пустые бутылки складывались в чемодан, чтобы сдать их наутро и приобрести новые бутылки, и так до бесконечности, когда из передней залы, на ступеньках, появилась крашенная химическая блондинка и зычно крикнула:

«Машка, стерва, ты ж сказала на минутку, клиент ждет, а ты тут баланду травишь, балаган ломаешь».

Но Маша крикнула ей, что пускай этот клиент, то есть эта мужская морда лица, катится куда подальше, потому что она хочет посидеть с мальчиками, что она заработала свой досуг своим передком через пятилетнюю неустанную самоотдачу от «Метрополя» до «Националя», но начала она с «Дружбы» и дружба ей дороже, а не шумиха и успех. И не Нинке-блондинке, которая ходит притчей на устах у всех, указывать ей, Машке, где баланду травить и какой балаган ломать. Вокруг все слушали, затаив дыхание, а Маша, заложив ногу на ногу, говорила:

«Тут все свои, мне стесняться нечего. Нинка-блондинка

мне клиента нашла. Умный такой человек. Симпатичный такой кретинчик. Восточный человек, но какой мне с него толк? В «Национале» коньяк брать отказался, он что — жмот? Идиотизм, говорит, в «Национале» коньяк брать, когда у меня магазин «Российские вина» в полном распоряжении. Что же мы, в подъезде будем распивать? А к нему ехать на дом, не на ту напал! Хотела у него десятку стрелнуть, а он говорит: давай я тебе вместо этого на международный женский день подарю язык для обуви. Такая палка, на одном конце язычок — туфлю надевать, а на другом конце голова Нефертити. Туфли надевать, держась за голову Нефертити — ну скажи, не дурак?»

«Дурак!» хором подтвердили все, хотя смотрела она только на Четвергана.

«А мне Нинка-блондинка всю плешь проела: не упускай, да не упускай. Было б за что хвататься. Но я с Нинкой-блондинкой не могу разговаривать. Я когда с такими бабами, я всегда чувствую, что говорю не своим голосом. Как будто не я говорю, а кто-то другой. У меня вообще последнее время пропал собственный голос. Я столько от таких наслушалась, что уже забыла, как я сама говорю. Это точно, что женщина всегда повторяет слова и голос собственного мужа. Вот Нинка-блондинка, костит всех налево и направо: пошляки, мол, грязные людишки. А я тебе скажу точно: это мысли ее хахеля. И, конечно, приплетается и то, что в «Дружбе» ее так никто и не охмурил, была тут белая ворона. При этом мне смешно слушать ее наивные наставления: Налитухин, мол, такой сякой, использует и бросит. Уж чья бы корова мычала, я что — девочка? Я Налитухина выгнала, я Налитухина и верну, правильно я говорю, Налитухин?» Налитухин молча плакал, стоя на коленях у ее колен. «И не ей вообще долдонить насчет верности, а уж насчет разборчивости, они меня с ее хахелем просто смешат: да ему ли, с его погремущками рассуждать про разборчивость? И не ей, с ее «запасным» мужем толковать про порядочность. Но вот что я точно поняла: когда твоя подруга начинает тебе исповедоваться, смешивая с грязью своего мужа, ни в коем случае нельзя с ней соглашаться. Надо наоборот с рвением опровергать каждое обвинение, а потом не выдержать и сказать: «Ну разводишься, милочка, разводишься», а потом помолчать и спросить: «но только зачем тебе разводиться?» А Нинка-блондинка сейчас жутко нервничает: она же все больше специалстка по бывшим мужьям своих настоящих подруг или, наоборот, по настоящим мужьям своих бывших подруг, а теперь у нее тупик: переспала все связи. А у нее еще разные загибы: она взяла и своему любовнику пожаловалась

на беременность от своего мужа и говорит: «А что же, я же замужняя женщина, что уж и про беременность хахелю нельзя сказать — что он ребенок, что ли?» Причем эта скандальность, способность по любому поводу скандально визжать, меня просто передернуло, я просто стояла и краснела, ну прямо контролерша в электричке. И потом она странная баба: встревает в мужской разговор. Вот я всегда сижу — помалкиваю. А она во всякий разговор к бочке затычка. Спрашиваешь одного, а отвечает она, я один раз не выдержала и прямо так и сказала: «Я же не тебя спрашиваю». Хотя всякий мужчина достоин той женщины, с которой живет. Женщина — разоблачающая вещь. Нинка-блондинка мне все уши прожужжала, причем с таким раздражением: все подонки, дермушники, эти ничтожества, и как это мне не надоело вращаться в этом дерьме, вся эта грязь, вся эта мразь. Но простите пожалуйста, кто из нас в проруби болтается — я или она? Причем меня поразила огульность. И главное, на меня переносит свое раздражение от других. Если она про них так, что же она про меня, когда меня нет поблизости? Ей невыносима мешанская сущность и обывательское благополучие? Но именно она-то всем этим и жила. То есть, может, это все и правильно, но она все валит в одну кучу и все пытается меня отгородить от притязаний нашего общего знакомого. Она говорит: я втягиваюсь, а надо общаться только со светлыми личностями. Под светлыми личностями она понимает, по ее словам, людей творчества. Которые занимаются творчеством, а жизнь для них только материал. И которые ни о чем, кроме как о творчестве, не думают. Причем не те люди творчества, которые все время скулят и ноют, а которые творят, сжав зубы, и не участвуют во всем этом дерьме. И что надо такого человека найти и положить жизнь на то, чтобы создать ему условия. Причем он, может, и не будет тебя любить, но важно, чтобы он был великим человеком, а ты была б ему опорой. Я ее спрашиваю: а как же ты узнаешь, великий он или не великий? Ты хочешь выносить горшок за великим человеком, а потом музей организовать? А если ты помрешь раньше его, вынося ночные эти горшки? Ты же тогда не узнаешь, великий он был или не великий. Значит, тебе нужен такой великий человек, о котором уже известно, что он великий человек. И чтобы она тенью была у него за спиною, а потом стала духовной наследницей. Вот только один вопрос ее мучает: а если она действительно помрет раньше его, вынося эти горшки. И я ей сказала, что вместо этого выпендрежа, встретила бы одного несчастного и помогла бы ему провести вечер, чтобы он сам не заметил, как вечер прошел. Ну что,

косенький, плохо тебе?» наклонилась она к Четвергану.

Плохо было, может, Четвергану, но никак не Нагревтечу. Чем меньше он понимал, про кого идет речь, тем легче было относиться к тому, что происходит, как к тому, что никогда не произойдет. Нинка-блондинка, в этом абстрактном вслушивании в чужое щебетанье напротив, превращалась в Россию, а потом поворачивалась другим боком и оказывалась святым городом Русалимом. Иногда ему казалось, что говорят про него, но при следующем глотке «Солнцедара» оказывалось, что речь идет опять про эту Нинку-блондинку. Потом он разгадал, что Маша просто заполняет воющую тишину первыми попавшимися словами, чтобы не было тягостно от налитухинского преклонения и потных взглядов старых обожателей. И главное, что глядела она на него, может, еще и в пространство, но ни на кого другого больше, или на него или в пространство, а он глядел или в пространство или на нее, и больше ни на кого. У нее не было зеркальца и она то и дело поправляла прическу, часто и неуверенно. И челка то распадалась на ниточки, то ложилась густой скобкой, и когда челка распадалась на ниточки-соломинки, глаза становились сожженными и выплаканными. Как будто знающими, что это налитухинское преклонение дружбы в кавычках только на этот один вечер, когда всем требуется существо, перед которым нужно в ноженьки клониться и поверить в очарованность свою, а завтра будет не так, как вчера, а как позавчера, когда еще шел колючий снег, и Ее Величества никто не ждал в городе Фридрихсгаме. Но Четверган сказал Маше, что ей нечего беспокоиться за свою прическу, даже если нет зеркала, потому что ее прическа в полном ажуре, и вообще все в полном ажуре, и никто давно ничего не помнит, и что взгляд важнее слов, тем более когда язык не ворочается, и что этот взгляд может подтвердить, что ее прическа — лучшая из причесок, даже если это невозможно доказать при отсутствии зеркала.

«Если жидкие волосы», сказала Маша, «лучше носить шиньон. Хотя в сущности приставная коса — это тоже вполне прилично. Но некоторые не одобряют такие вещи: один день ходишь с длинным хвостом, а назавтра появляешься на работе, а на голове одни ошметки, потому что косу в стируху отдала. Шиньон с пучком на затылке гораздо вернее. Это мне моя парикмахерша так советует. А у меня одна знакомая, из Москонцерта, носит парик: как волосы грязные — она сразу парик. Правда, она один день, получается, рыжая, а назавтра — блондинка. С другой стороны, уж если решилась на парик, какой же интерес парик такой же, как твои собственные? Но на хороший парик знаешь, сколько

башлей нужно? И потом сложности с мужем. Нинка-блондинка обожает шиньон, а ее муж приставных волос терпеть не может, потому что творческая личность. У него у самого волосы — ну прямо парик и все тут, и он не может взять в ум, как это так — парик! Хотя у них, у ребенка, на голове просто жидюльки, а не волосы, и непонятно — в кого, наверное все-таки в Нинку-блондинку. Хотя это почти у всех детей сначала, а потом вырастает стог на голове. А у Нинки-блондинки был такой начес, ей везде приходилось появляться со своими редикюльками. Но все-таки это лучше, чем «вшивый домик», так волос стружился, ужасная была мода. Или еще когда банку надо было подкладывать для пучка, брали консервную банку и подкладывали, чтобы пучок держался. Но я со своим опытом точно скажу: все зависит, какая у тебя парикмахерша. У меня с парикмахершей идеальные отношения: она думает, что я из дипломатических кругов, что я вращаюсь в высших сферах и в Москве появляюсь лишь на недельку, у нее прическу сделать, а так все по заграницам шастаю. И она очень гордится, что у нее такой важный клиент. Вчера, к примеру, я брякнула, что только что из Уганды. Пришлось нести всякую чушь про Африку. Сказала, что там у каждого в доме домашняя кобра. Хотела присесть под кустом, а мне кричат: «кобра! кобра!» Оказывается, они держат домашнюю кобру, как кошку против мышей, но только там вместо мышей ядовитые такие гадины, минутки называются. Но если в доме кобра, никакая минутка к дому не приблизится. Впрочем, сказала, у моего мужа там были свои дела, намекнула на секретную миссию. Мы к посольству не имели отношения, мы там были инкогнито, приходилось торчать на пляже. И никакого общества. У нас, говорю, были особые контакты, ни с кем не встречались. Ну, вечером конечно в отеле, за барной стойкой, перекинешься светским разговором. В отеле было порядочно всяких иностранцев, но все больше скандинавы, у них сухой закон, они к нам в Ленинград поддавать ездят. И еще в Африку. Из женского общества всякие светские старухи шамкают, они мощну набили и по африканским курортам. Но в Африке хоть с тряпками нет проблемы, поносишь и выкинешь. Но, кстати, очень грязно. Такой, знаете, грязный паркет, я вообще удивляюсь, подметают ли они вообще? А француз никогда обедом не накормит, только глушит свое бордо, надсаживая грудь. В автобусе могут за задницу ущипнуть, но даже если это его официальная любовница, никогда домой не приведет, а тащит в номер. А англичане наоборот: к ним на улице не подступить, а вот ключи от квартиры всем друзьям дают. А француз на чашку кофе пригласит, и счет

пополам. А вот испанцы, они как русские, все по ночам гуляют. И американцы тоже, хотя у них вместо водки — маривановна, марихуана, пардон. Я вообще собиралась арабские шторы купить, с цветочками, но мои друзья, сказала я парикмахерше, они не любят, когда выпендриваются. Сейчас это так модно, арабские с цветочками, но мода пройдет, а они прямо в глаза бросаются, мои друзья, солидные люди, скажут: чего выпендриваешься? А мне с ними ссориться неинтересно. Куплю что-нибудь нейтральное, светленькое. Конечно в Африке все несутся в Каир за тряпками. Но я в тряпках не нуждаюсь, а так, иду по загранице и иногда куплю чего, если приглянется. Так, разве что махну в Судан, там после англичан теперь все английское. Или Нигерия. Там, правда, все надо кипяченое, иначе из уборной не выйдешь. А местные, они джин глушат с утра до вечера для дезинфекции желудка. У меня после Африки ногти стали обламываться, но я думаю, это от природы, и лучше обрезать сразу, чтоб не загибались. Я от этой парикмахерши сама устала, столько врать приходится. И как это все далеко: Каир, Судан, и выпить нечего! Ну что же ты такой грустный, как тебя звать, не знаю».

И непонятно было, плачет она или пьяна, но Четверган-Ветрогон сказал, что с ее стороны это подвиг, что она предпочла всей этой Африке вот этот вот трак-так-тир с грязнотцой, а не шикарный ужин в «Метрополе», и здесь не бог весть какие люди, но они пойдут за ней даже в Иерусалим. И Маша сказала, что у нее складывается положительное впечатление от его благородного выпендрежа, и что она с удовольствием продолжит с ним знакомство вплоть до других широт, а здесь ей узко и нечем дышать. И тут очнулся Налитухин и сказал, что перед тем, как отправиться в святой поход на город Русалим, они должны выпить ящик пива, который он припас с дневной вахты, будучи сторожем-охранником кинотеатра «Россия». И что есть полный резон сначала выйти в святой поход на кинотеатр «Россия», от которого у него есть ключи, и он там ночью полный хозяин, как сторож-охранник. И они выкатились толпой человек в двадцать наружу.

Сколько метров от «Дружбы» до «России» в кавычках? Пройти насквозь пролет Кузнецкого моста и, миновав барельеф пловца, над которым кружат каменные чайки, вернуться направо, и по прямой идти на памятник Пушкину. Из оставшихся светлыми окон, когда Москва, как река затихает, слышался приглушенный шторами гитарный голос, и это значило, что в доме есть магнитофон. Над головой случайного прохожего крутилась коричневая лента, он не знал, откуда

это с неба повторяются подхваченные с его губ слова, которые он потом, уже давно миновав и то окно и тот переулок, сам повторял: услышанные сверху слова, как будто давно заученные, уже однажды им самим сказанные, но забытые и, как эхо, вернувшиеся к нему. Может, вы дом перепутали, улицу, город и жен? Через Фридрихсгам и Йошкаралаим, в кресле на колесиках, они двигались по отшумевшей Москве к «России» в кавычках. Не закрывайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта.

Налитухин, до этого бивший в чугунный котел, выступая впереди, успел еще раз произнести с пьедестала памятника Пушкину свой призыв к святому походу на город Русалим и огромными сторожевыми ключами отомкнул гигантские двери «России» из прозрачного, но бронированного стекла. И запел арию Ивана Сусанина из одноименной оперы. И вся компания с чугунным котлом, с недопитыми бутылками, с Машей, с криками, разлетелась по полутемным залам и по зимнему саду, и по залу кинохроники, не забывая о банкетном зале для дирекции, о котором простой зритель и не догадывался, а какие там были кресла, и даже миниатюрный фонтан. И шелкнули выключатели, но как всегда с электричеством что-то перепутали, и поэтому из слепящего неоновового света над буфетом ты попадал в потемки зимнего сада, а из него в римский форум гигантской чаши пустого зрительного зала. И все это быстро наполнилось голосами, криками, хохотом и звоном, и шепотом, и щебетаньем, и странным журчаньем фонтана. Обещанный налитухинский ящик пива никак не мог кончиться, и казалось, что стены уже качаются, или нет их вообще, а только огромный стеклянный самолет летит над белой пустыней. «Снег, снег!» закричала Маша, и не веря своим косым глазам, еще утром жадно ловившим явные намеки клейких листочков, Четверган увидел косые белые хлопья, летящие, как всегда, как будто против ветра. Начиная буран. Уже непонятно было, то ли вокруг ходят пьяные люди, размахивая руками и бутылками, то ли пьян настолько, что принимаешь свое отражение в черных окнах за собутыльников, тем самым полностью погружаясь в расцвет символизма с двойниками и прекрасными дамами.

«У тебя взгляд полоумный, а иногда ты тупо уставишься в одну точку, а женщину это сильно отпугивает», слушал Четверган последние членораздельные указания Маши. «Такой взгляд лишает притягательности. Вот Налитухин, когда со мной говорит, неважно про что, но в нем есть такая грубая интимность, он своим взглядом просто обкручивает. А ты сразу и с женщиной разговариваешь и о своем думаешь,

и от этого ни одна женщина тебе не поверит, даже если у тебя прямые намерения, но при таком взгляде разве угадаешь? А ну-ка, примерь!» и тут произошло уж совсем нечто непредвиденное, потому что Маша потянула себя за волосы около ушей, и под растрепанной жгучей челкой оказалась белобрысая мальчишеская стрижка. И не дав раскрыть рта, она надела на Четвергана свой черный парик, и тут же покатила со смеху, сложив ладони между колен, как первоклассница. И Налитухин, глянув пророческим взглядом на дионисированного Четвергана, упал, накрывшись котлом, и больше Четверган не помнил его встающим. С этого момента вообще трудно было что-нибудь вспомнить, потому что парик стал ходить по кругу, и лица, до этого уже ставшие знакомыми, вдруг перемещались, ускользали, щетина с женским париком превращала алкаша в теолога, а мальчик в очках превращался в разбитную старуху. Слезливые ужимки становились под париком патетическими жестами, а пьяный смех пророческими гримасами. И уже невозможно было сказать, кто есть кто, когда кто-то включил радиоузел, и из репродукторов полилось разухабистым фокстротом: «утро красит нежным светом стены древнего кремля». И в зеркальном буфетном зале, через который стали летать снежки из неожиданно свалившегося в разгар весны снега, Маша в черном трико танцевала на столе под единственным зажженным плафоном, потому что остальные уже успели выключить, и в темноте смешки и звон разбитых бутылок, и неприличные взвизги, и журчание фонтана. И Четверган забыл, где он находится, и забыл, что это всего лишь кинотеатр, и кавычки куда-то делись, и дача осталась позади, и ясно было, что делать и кто виноват, и Маша летала по столу, и холодок бежал за ворот, и шум становился сильней. И к Маше присоединилась еще одна фигурка, может, это и была Нинка-блондинка, и они поворачивались резко и менялись местами так, что в конце концов невозможно было сказать, кого на каком месте в данный момент видишь. И одна поднимала руки вверх, расставив локти и заломив руки на затылке, и живот втягивался под майкой, а она была такая худая, что, казалось, хочет сама себя проглотить, а вокруг нее, то ли Нины, то ли Маши, ходила Маша-Нина на цыпочках, по-зверинному, и мелькала мальчишеская белобрысая челка с выжженной пропастью глаз, и улыбка блуждала у нее на губах, и глаза были как две черные бабочки, и от этой черной бабочки и охотника с сачком хотелось отвернуть взгляд, потому что было ясно, что между ними происходит нечто, чего нельзя знать постороннему. Потом погасла последняя лампочка, и, как потом



вспоминал Четверган, его взяли за руку, и лица он не видел, и только белел экран впереди, и они пробирались по гигантскому амфитеатру «России», а потом была ванная с фонтаном, или сначала была ванная, а потом амфитеатр, и он не видел лица, но знал, что это Маша. Или Нина? И на ком был парик: на нем или на ней?

Все вышло правильно, как ни переиначивай. Как будто перескок в другую страну. Не опрометчиво и не ребячливо. Исчезли все намеки и экивоки, остались прямо поставленные анкетные вопросы. Он протянул руки, шаря в потемках, когда она, повернувшись спиной, прижалась своей государственной печатью к его вызову. Он стал поспешно раскрывать конверт, начав с правого угла верхнего клапана. Он, как всегда, не расклеивался, потому что, когда думаешь, что он на пуговицах, оказывается, что на пряжке, а когда думаешь, что на пряжке, оказывается, что на застежках. Но она помогла ему правой рукой, а левой стянула через голову подачу документов и повернулась. Обе комиссии уперлись ему в губы, и он стал лизать марку с правой стороны. Она одной рукой шарила внизу, пытаясь добраться до его паспорта. Было страшно неудобно, потому что они все еще продолжали делать вид, что ничего не происходит, и все время казалось, что сейчас войдет третий лишний. Она прижималась и напирала своим разрешением от родителей, пока он сжимал и гладил полученный вызов. Так они добрались до ванной комнаты и стали оформлять справку из жилищного управления: она задрала одну ногу, сидя на краю, а он, губами вжимая другую марку, рукой стянул нейлоновый пакет с документов и, путаясь в вавилонских табличках, стал пальцами раздвигать, снизу вверх, ее приемные часы. Их обоих трясло от напряжения, когда ее рука, пошарив и расстегнув пуговицы, добралась до его размякшего от ожидания вызова, и он напрягся. В темноте они не видели друг друга и только слышали дыхание. Он помог ей, и сам вытащил вызов, и чуть не упал, путаясь в двух выходах. Она сжала его, и оголила печать на паспорте. Он отстегнул вкладыш и помог ей вытащить свой паспорт до конца, вплоть до справки с места работы. Она пожимала их руками, и он подsunул свое заявление между ее профкомом, месткомом и дирекцией. И она ответила ему, убрав выписку из домового журнала. Потом стала сама водить снизу вверх, возвращаясь к бегунку. Его обращение в Центральный комитет застыло от напряжения, как караул у Мавзолея. И она слегка дотрагивалась до него, ставя подпись, и он натывался то на ее валюту, то на свой военный билет. Ее уже трясло, когда она, нагнувшись, сжала копию трудовой книжки одной рукой, другой подо-

двинула паспорт к своему лицу и раскрыла рот. Она мотала головой из стороны в сторону, добираясь почти до корешка, и ему стало страшно, что он может его лишиться. Но уже не мог остановиться, поглаживая ее выездную визу и добираясь пальцами до таможенной перегородки. Печать посольства то и дело выскакивала, но она снова заглатывала общественное осуждение. Идя на поводу, он уже не мог взять обратно свою подпись, и она не могла оторваться от протокола закрытого собрания. Хотя оба понимали, на чью мельницу он будет лить. Но он напряг оба своих «я» и старался оттянуть срок действия выездной визы. Она притягивала и возбуждала его своим языком, и хотя ему тоже хотелось навязать ей свой язык, он не чувствовал ничего, кроме ее языка. И в последний момент она оторвалась от его призыва к объединенным нациям и засунула его хельсинкскую декларацию в широко раздвинутую таможную. И документ прошел через треугольник: через профком и местком, и дирекцию, и сжимая обеими руками чемодан, он выпустил на ту же мельницу струю зоологической ненависти ко всему советскому. И вдруг она повернулась обратной стороной медали, и направила его протест по другим инстанциям, и он оставил свой обратный адрес на двойнях молодой серны, пока стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, пришлось по нему в четырех экземплярах. Кистью кипера и мировым пучком он написал в углу «авиа» и порошком мироварника присыпал свежие чернила, и пока Византия лежала валетом с Вавилоном, письмо уже двигалось к Иерусалиму. И вдруг дочь Едома, обитательница земли Уц, спросила: «Как думаешь, что неприличнее: целовать в губы или в ухо?» И Четверган, не соображая, ответил: «Самое неприличное — это варить чай в кофеварке». И он вздрогнул от звука ее знакомого голоса, а она вздрогнула от знакомого голоса Четвергана. И он снял с нее парик, но в темноте не видно было лица. Как он добрался до дачи, он не помнил.

\* \* \*

Я шел домой сквозь снег мимо «России», проходя стороной, как проходит косой снег. Первый снег — всегда напоминание о том, чего никогда не было, но постоянно заново придумывается. Первый снег — это напоминание, как обиды вольный разговор. Первый снег — это напоминание о дружбе, как о никем не навязанной солидарности. Первый снег похож на разорванные на мелкие клочки письма, которые никак не может написать нам тот, который всегда выше, и у него каждый раз не получается, и он рвет эти эпистолярные

попытки на мелкие кусочки и швыряет из своего окна. Таков первый снег. Но снег, который падал той весенней ночью, когда я возвращался домой мимо «России», был не первым снегом. Это был последний снег. Он падал неуклюже, он был непрерывным нелепым падением, когда понимаешь, что не надо делать этого нелепого и лживого жеста, а тем не менее делаешь этот изломанный жест, заявляя о своей преданности тому, что произошло, и уже давно этому не веришь, и тем не менее заверяешь, чтобы не обидеть, чтобы выглядеть тем же в чужих глазах. И я чуть не споткнулся о Четвергана. Он сидел, держась за разбитую голову, на тротуаре, и на голове у него не было шапки, а у виска была кровь. Снег подтаивал у его ног, и в этом снегу, похожем на тополиный пух, не было ни чистоты, ни злости поземки: он превращался в слякоть. Перед Четверганом стоял рыжий человек в козлиной шапке с раскосыми татарскими глазами.

«Осень несестная драка», по-китайски сюсюкал встречный. «Я все видел. И шапку сорвали с головы, без шапки голове смерть. Не всякому в руки даются муки», и он ткнул пальцем вверх, откуда валил снег. «Человеческий порядок без оглядок: без поддержки одни издержки. Так мы и все рискуем со временем оказаться с разбитыми черепами от рук опустошенных молодых людей под модами где-либо на площади или метаться в сумасшедшем доме при лишенности сознания и всех чувств человеческих. Любой беде быть в узде! У вас рублика не найдется? Для закона сохранения энергии? А я вам фото на память», и не дождавшись ответа, он выхватил из-под полы пальто фотоаппарат со вспышкой и ослепил нас на секунду с залихватской умелостью иностранного корреспондента. «Вот у меня в чемодане все знаменитости на фото. А проявить денег нет. Не дадите рублик на проявку?»

«Я его знаю, это Захар Баязитов А. А.», простонал Четверган заплетающимся языком, когда я поднял его с асфальта и повел по заснеженной тающей улице. «Если Захар Баязитов нас щелкнул, значит мы прославились. Он автор изречений, пословиц и поговорок глазами вечности, не читал? Как я на четвереньках очутился? У этого Захара такая система: он от главы правительства до кинозвезды при каждом удобном случае всех фотографирует, а потом это фото пытается всучить прототипу. Ты еще о нем услышишь. Кто же меня по голове ударил? и за что? И где Налитухин? Скажи, куда неприличнее целовать — в ухо или в губы?»

Мы шли сквозь снег, и снег падал неуклюже и бессвязно, точно так же, как речь Четвергана, мы шли, а снег падал и на темное здание кинотеатра «Россия», и на кофеварку

при гостинице «Москва», и на кресло, стоящее на Преображенке, и на кресло на колесиках, стоящее на улице Таити, которого еще не существовало, но к которому мы двигались сквозь этот снег, к себе от себя, к своим приносящий своих и за всех.

## 12

Обратная дорога с аэродрома через Главпочтамт на улицу Таити, после проводов Тамаева в Америку, напоминала шпаргалку, подброшенную тогда, когда экзамен уже провален. Почтмейстер на Главпочтамте с высокими дверьми долго мусолил извещение на посылку, которое смялось и истрепалось, забытое на время тамаевских проводов в кармане пиджака вместе с крошками табака. Потом стал лазить по лестницам и шарить по полкам, сверяя номера бандеролей с индексом на извещении. Именно почтамты в самой свободной в мире стране работают в тоталитарном бюрократическом режиме: потому что здешний приличный человек почту получает на дому, а на почтамты ходят всякие беспризорные и бездомные, и тут уж почтмейстер становится и судьей, и богом и с тобой не считается. Тут стояли в очереди и толкались локтями, и утверждали, что «вы за мной стояли, а передо мной были не вы, а тот в шляпе, который пошел за молоком». Короче говоря, Главпочтамт в центре Иерусалима напоминал продмаг на Преображенке в Москве, и спешить тоже было некуда. Четверган соскучившимся невыспавшимся раскосым взглядом машинально разглядывал уже успевшую надоесть за месяцы хождения и разглядывания роспись на стене, где скакал человек на коне, и перед конем бежали восторженные массы, как будто выбитые из-под земли копытом коня, а из головы всадника дымом клубились лица без ног и рук, лица страждущих, жаждущих и алчущих, но уже неспособных бежать впереди коня. Мой конь притомился. Стоптались мои башмаки. Получив наконец почтовый сверток в жесткой коричневой советской бумаге, пахнущей цензурой и сургучными печатями, он, по местной въедливой привычке, слегка повертел его с нелепой осторожностью: «А вдруг бомба?» Но это была не бомба: это был будильник, подарок Нины ко дню рождения. Будильник был похож на светильник с разными пластмассовыми нахлобучками, и Четверган тут же завел бой, подводя соответствующие стрелки, и будильник, как ни странно, зазвенел на всю большую залу, и даже послышались возмущенные крики, принявшие звон будильника за звонок к закры-

тию. Бди и жди. Будильник девать было некуда, и он снова завернул его в ту же оберточную бумагу с четырьмя марками «Возвращение блудного сына» с картины Рембрандта.

Подходя к автобусной остановке напротив почтамта, он наткнулся на нищего слепого, задравшего глаза в белесый жар неба, с военным ремнем, на котором висела палка, и с консервной жестянкой, в которой гремела мелочь. Четверган кинул целую лиру в банку, поскольку нищий проживал в тамаевском доме, и эта монетка прозвучала в жестянке, как поминки по Тамаеву. Потом он отошел от нищего и стал ждать автобуса в направлении улицы Таити. Автобуса долго не было, и он стал прохаживаться рядом со столбиком с номером автобуса. Тут и началось: как только слепой слышал шаркающие шаги Четвергана, он наклонял голову набок, а потом устремлялся к нему, гремя жестянкой. Четверган пробовал не двигаться, застыв у столбика остановки, но потом больная спина не выдерживала, он должен был пройти несколько шагов, чтобы размять спину, или присесть на краешек фундамента у входа в Главпочтамт, короче говоря, изменить положение, но как только он менял положение, лицо нищего, задравшего к небу слепые щелки, снова появлялось перед ним, гремя жестянкой. Четверган стал чувствовать себя, как в западне. Этот процесс напоминал кошку, к хвосту которой привязали консервную банку: банка гремит, кошка бежит, чем быстрее она бежит, тем сильнее гремит банка. Он стал подозревать слепого нищего в намеренном шантаже: если он слепой, у него должен быть острейший слух, он должен угадывать звук шагов на расстоянии, он должен был во второй же раз понять, что это те же шаги, шаги Четвергана, слегка прихрамывающего на одну ногу. Но нищий был упорен. С тоской Четверган застыл у автобусного столбика, и солнце, перешедшее на другую сторону тротуара, стало палить нещадно. Когда он, забывшись, чиркнул спичкой, чтобы закурить сигарету, то тут же, услышав активный звон жестянки, застыл, и когда потное слепое лицо снова стало надвигаться, он не выдержал и спросил: «Что вы от меня хотите? Зачем вы меня преследуете? Я же вас не преследую?» И тут же пожалел об этом. Слепой постоял, как всегда, в ожидающей неподвижности с протянутой жестянкой, а потом, не дождавшись монетки, вернулся на свое место. Когда придвинулись к нему слепые глаза нищего, он сначала пытался высмотреть за складками век смеющиеся зрачки. Но потом и об этом пожалел. Может быть, он глухой. Может быть, он не слышит шагов, а угадывает их: по движению воздуха? По неуловимому запаху пыли, поднятому подошвами? Может быть, поэтому он ничего и не ответил. Потому что не слышал.

Сейчас, сидя в кресле на колесиках перед окном, за которым снова стали слышаться его надрывные «ааа-уп!», Четверган догадался, что нищего у почтамта заинтриговало, наверное, загадочное тиканье нининого будильника. Может быть, нищий был просто напуган этим тиканьем, может, он был напуган тем, что рядом находится бомба, только непонятно где, и в какую сторону бежать. Но тогда он до этого еще не догадался, он тогда до многого еще не догадывался, а просто не выдержал этого морального шантажа и зашагал вверх по улице, ведущей вниз, к следующей автобусной остановке. Он двигался сквозь надутый жарким воздухом промежуток между магазинчиками, лавками, прилавками и витринами, как будто не хамсин натянул свой раскаленный неподвижный зонт над крышами, а все эти люди и витрины и вывески так плотно надвинулись друг на друга, что каждый шаг давался лишь преодолением этого воздуха и крика, и написанных на домах слов. И эта толкучка воздуха и людей и вывесок как будто устраивала и тех и других, потому что кругом все улыбались и махали друг другу руками, и окликали, и кричали друг на друга, и предлагали, и брали. Через каждые два шага попадались прилавки с тысячевозможным набором солнечных очков, очки подмигивали мужчинам в летних панамках, напоминающих детские, буквы на вывесках бежали в двух направлениях — справа налево на языке библейских пастухов и слева направо — то же самое в обратном направлении на языке викингов. В забегаловках крутилось мясо на штыках и шампурах, быстрые темные руки запихивали в лепешки из теста шарики из растертых зерен, как птица, то и дело пролетало слово «пицца», и все это напоминало почтовую открытку, которую вам показывает хороший знакомый и, заглядывая вам в глаза, спрашивает: нравится? «Идиот!» кричали с каждого угла мальчишки-газетчики, и это было не ругательство, а лишь название газеты, по-русски означавшее «новости». Четверган шел, как всегда устремленно пригнувшись и прихрамывая, прижимая к груди будильник, и одновременно и видел все, и ничего не замечал, прикидывая машинально, можно ли из этого прохода по этой улице выклеить очередную открытку в Москву, и от этого глаза его не поднимались выше окон первого этажа. И только на перекрестке перед автобусной остановкой, когда пришлось поднять глаза к свету светофора, он увидел эту загадочную даму во всем совершенно белом, в доме на другой стороне улицы. И уличный шум выключился.

Это был манекен. Для него был устроен специальный застекленный балкончик на втором этаже неказистого дома с магазином мод внизу. Дом этот он каждый раз отмечал

только потому, что рядом с ним стояло высокое дерево: не пожухлая и обвисшая от жары и уличной пыли сосна, а настоящее лиственное дерево с побелкой до половины ствола, как дачная яблоня, но выросшая до второго этажа с густой, не подчиняющейся местным обстоятельствам кроной. И только сейчас, остановившись под застекленным балкончиком, Четверган разглядел, что листва шелестела над головой чудесного манекена. Манекен был дамой, изготовленной по старинке, с обстоятельностью и наивностью. Все в ней было стильным и давно отжившим: и румянец щек, и подведенные глаза, и смущенная линия когда-то модных губ, и рука, застывшая в воздухе, как будто уронившая на тротуар платок, который никто не хочет поднять, потому что никто и не подозревает, что его обронила сверху оставшаяся в одиночестве манекенная незнакомка. И сейчас вид у нее был не только смущенный и обиженный, но и напуганный, поскольку одна половина, с головы до ног, была у нее совершенно голой, и гипс телесного цвета сиял на солнце сквозь стекло балкончика. С другой стороны на нее была накинута белая шелковая тряпка, и на голове раскачивалась свадебная вуаль, поскольку поставили ее не просто махать прохожим ручкой, но и рекламировать свадебные наряды. И вот свадебное платье и пытался изобразить на ней приказчик в черном не по погоде пиджаке. Он излишне и неумело суетился на узкой площадке балкончика, и изо рта у него торчали булавки. Эти булавки он одну за другой втыкал в бок манекенной красавице, заворачивая белую шелковую тряпку вокруг ее блестящего тела в виде свадебного платья. Но булавки, видно, выпадали, и он нагибался, а пока он нагибался, распадались складки, он суетился и, видно по всему, нервничал. И Четверган, среди шумного ада улицы, случайно стоя под деревом, наблюдал эту тайную свадебную церемонию, видимую только ему.

И тут случилось нечто непредвиденное. То ли задетая плечом приказчика, нагнувшегося за очередной булавкой, то ли притянутая взглядом Четвергана снизу, но манекенная незнакомка как будто шевельнула рукой, дотягиваясь до кроны дерева, и этот взмах не был виден никому, кроме Четвергана, и он улыбнулся мальчишеской улыбкой, еще не осознавая, что произошло. И только после этой паузы с приветствием, с приветом, он увидел, что приказчик взмахнул руками, как будто пытаясь удержать незнакомку, но споткнулся и откатился назад, а манекенная дама склонилась вперед, и тогда только стало понятно, что она начала падать. Как загнипнотизированный, Четверган глядел на замедленную съемку падения, когда тяжелый гипсовый торс качнулся и, как будто распахивая окно, пробил стекло балкончика. Стекло сверкнуло снежными колючками и

стало оседать радужными слоями, и в воздухе, как будто подвешенная за невидимые цирковые ниточки, повисла на мгновение в отчаянном жесте голая незнакомка с рукой протянутой в указательном приветствии, с рукой, указывающей вниз на Четвергана, с рукой протянутой ему. Она летела на фоне небесной тверди, засветленной до черноты, с приоткрытыми губами и немигающими глазами, и ноги ее были вытянуты, как перед прыжком в воду. Ослепленный облаком стеклянной пыли, Четверган не мог сдвинуться с места, и этот падший ангел должен был свалиться именно на его голову, когда чья-то рука рванула его назад, и вместе с глухим взрывом падения манекена, он услышал крик: «Берегись!»

Когда его подняли на ноги, вокруг стояла толпа любопытных, сжимавших кольцом исцарапанного Четвергана, а рядом, среди осколков стекла, валялись разбитые гипсовые ноги и руки. Уже кто-то успел приставить отколовшийся торс к краю фундамента, а из рук в руки передавали отбитую голову: вместо носа выщербленная ямка, губы искрошены, и только нелепо и жалко свисала чудом удержавшаяся свадебная марля. Четверган с содроганием оглядел это четвертование на шесть частей, вокруг которых всплескивал руками побледневший приказчик. Наверное, это можно склеить, если хороший клей суперцемент: щека Лейлы здесь, вуаль Фатимы там. Но из этого кольца его выводила, взявши под локоть, уверенная рука:

«Если бы я не дернул вас за штаны, лежать бы вам под гипсовыми останками этой прекрасной дамы. Вижу, летит на человека нечто голое. Правда, штаны порвались. Но истина дороже». Перед ним стоял улыбающийся спаситель: черная шляпа, выющиеся косички из-под ушей, а в руках авоська, набитая книгами. «Разрешите представиться: профессор Шельмович, специалист по первородному греху и концу света», и человечек приподнял черную шляпу, под которой оказалась еще одна черная шапочка. «Магазин мод, заметьте, называется «Ева». Падение Евы, э?»

«Отсюда следует настоятельная необходимость. Отсюда же полная невозможность. Сталкиваясь, они уничтожают друг друга, и теперь непонятно, как двигаться дальше», пробормотал Четверган, выворачивая голову, чтобы заглянуть назад и вниз, определяя размеры дыры в разъехавшихся по шву брюках. Но профессор уже брал его под руку и вел через два переулка в третий, убеждая его в том, что в заведении «Волшебный ковер» сейчас за углом моментально и непременно ему по знакомству выдадут иголку и нитку, и Четверган прихрамывал рядом с ним, одной рукой придерживая штаны, а другой прижимая к груди будильник»



Заведение «Волшебный ковер» встретило их стрекотанием огромного пропеллера, разгребавшего горячий воздух, и высокими табуретками. Четвергану табуретки сразу не понравились, напоминая цирковые треножки для дрессированных зверей. В углу к потолку уходил гигантский раструб вытяжки над железным штыком, на котором вращалось мясо, а в витрине прилавка пучили глаза зажаренные целиком рыбы. Перед профессором, как перед завсегдатаем, не спрашиваясь, поставили тарелку с жареным карпом, приготовленным в духовке столь искусно, что кожа, натянувшаяся от головы до хвоста, стала прозрачной, и сквозь нее просвечивали косточки. Профессор с места в карьер быстро и умело стал отделять рыбье мясо от костей, управляясь одной вилкой. Той же вилкой он ткнул сначала на рыбину, потом на Четвергана и пригласительно закачал головой, поскольку рот его был набит.

«Я рыбы не ем», сказал Четверган. «Рыба хуже мяса. Я не умею плавать, а ем я только тех, кто умеет делать то, что умею делать и я. Как насчет иголки с ниткой?»

Профессор всплеснул руками и позвал хозяина, но тот огорченно сообщил, что кроме бечевки для обмотки копченой рыбы перед тем, как ставить ее в печь, у них нет другой нитки, а бечевка, как видно, будет толста. Но возвратившись к кассе, тут же вернулся, неся в руках канцелярские скрепки, и Четвергану ничего не оставалось, как скрепить брюки по шву, зажимая шов канцелярскими скрепками. Скрепки торчали, и приходилось сидеть на краешке этого неудобного звериного треножника. Но у него не было сил подняться и пойти своей обратной дорогой к улице Таити. Над дверью, из фанерного ящика с яйцевидными дырками послышалось моторное тарыхтение: там был скрыт вентилятор. «Волшебный ковер», видно, отправлялся в путешествие в неизвестном направлении по неслышимому приказу его невидимого владельца.

«Мне надо будет непременно рассказать об этом падении на моем домашнем семинаре», тараторил профессор и, расправившись с рыбой, заказал кофе и, крутя пальцами косичку из-под уха, стал расспрашивать Четвергана о России. Выслушав про Фому и Ерему, он оживился: «А почему бы вам не посетить наш домашний семинар? Кстати. Я чувствую, что ваш ум склонен к сопоставлениям. Именно этим мы и занимаемся: сопоставляем один комментарий с другим, а потом это сопоставление комментируем. В этом году мы сконцентрировались на моей диссертации: змий и яблоко, падение Евы, и так далее. Впрочем, это ведь неважно, на чем сконцентрироваться: важно ведь, чтобы был разговор.

Одно за другое цепляется, и такое, знаете, иногда выводится: просто за голову хватаешься. Почему вы кофе с сахаром принесли?»

«Это кофе по-турецки», сказал официант. «Вы заказали кофе по-турецки. А кофе по-турецки всегда с сахаром».

«Вы разве не знаете, что я не пью кофе с сахаром? Если кофе по-турецки всегда с сахаром, тогда принесите мне кофе не по-турецки. Главное, чтобы разговор был», повернулся он снова к Четвергану. Четвергана злило, что этот человек выбалтывает с такой небрежностью то, на что он угробил полжизни; назло самому себе Четверган заговорил с моими интонациями:

«Если все так хотят со мной поговорить, почему же ни один гад не может ко мне прийти сам? Почему я всегда приходил к другим, и никто никогда не пришел ко мне? И почему на мой взгляд откликаются только манекены?»

«Не упала бы эта манекенная Ева, мы бы не встретились. И разговора не было бы. А вы думаете, для чего все устраивается? Для продолжения разговора. Или для его начала. Зачем понадобилось Богу устраивать падение Адама и Евы? Потому что Богу не с кем было говорить. А Он ревнив. А Адам разговаривал с Евой. А с Богом Адаму не о чем было разговаривать. В лучшем случае, он Его только помнил, когда вспоминал, что нельзя дотрагиваться до дерева Добра и Зла. Но просто помнить, — этого слишком мало. И тогда Он подослал Змия. И Адам нарушил заповедь. Он съел плод того дерева, единственный смысл которого состоял в том, что его плоды есть запрещалось. А он съел. И вот тогда у него появилось чувство вины. Потому что Бог все для него устроил, и даже Еву создал из его ребра, чтобы ему не скучно было, и единственное, что запретил: есть с этого дерева. А он нарушил эту единственную заповедь. Он как бы Бога обидел и почувствовал себя виноватым. Вот думают, что дерево Познания — это такое дерево, что если съешь его плоды, сразу все будешь знать. А это была обыкновенная яблоня. Только отмеченная. На ней был знак, что яблок с нее нельзя есть. Не потому, что они ядовитые, или особо сладкие, а просто нельзя и все. И яблоня эта была деревом Добра и Зла просто потому, что оно отмечено запретом. Это такое проверочное дерево: добр ли человек или зол? И вот Адам запрет нарушил и испытал чувство вины от того, что нарушил запрет. И тогда он стал исповедоваться Богу, и Богу молиться, и с Богом спорить, и с Богом бороться, и у Бога просить прощения. Короче говоря, начался разговор с Богом. И пока человек не выяснит свои отношения с Богом, он в рай не возвратится. И поэтому Бог так заинтересован

в закрытой границе между землей и раем небесным. Обратной дороги нет и долго не будет. Пока не придет тот самый нищий слепой, который просит милостыню у ворот Иерусалима. Мессия. И до этого разговор будет еще длиться и длиться. Это правда, что в Россию нельзя вернуться, что граница на замке?»

«Вы хотите сказать, что я был изгнан из России только для того, чтобы сидеть здесь и с вами разговаривать? Вы хотите сказать, что вы приревновали меня и мои разговоры с Ниной на даче? И что советская граница — это древо Познания Добра и Зла? Только кто тогда Змий? Кто? КГБ, что ли?»

«Я не понимаю, о ком вы говорите. Я не знаком с Ниной. Это у вас после падения на асфальт дурное настроение. А насчет Змия все гораздо запутанней согласно моей диссертации. Согласно моей концепции первородного греха, Змий был материализацией ревности Бога к разговору Адама с Евой. Бог, конечно, был заинтересован в разговоре, но Он никого не хотел принуждать. Все должно было совершиться так, чтобы Адаму нельзя было обвинить Бога в том, что ему пришлось нарушить запрет. Адам должен был обвинить Еву. А Ева — Змия. Не забывая о том, что Ева — из ребра Адама, и от этого все становится совсем запутанным. Кто придумал КГБ, я, право, не знаю. Вам стоило бы заглянуть на наш домашний семинар и поговорить на эту тему с моим учеником. Он специалист и по КГБ, и по СС, и эс-эрам, и конечно же по СССР. Ну вот, произнес четыре таинственные буквы, и он тут как тут».

«Четыре буквы — это уже целый разговор. Вот и поговорим», сказал человек с палочкой, затянутый в галстук, лицо которого было сплошной мучительной морщиной, и подсел к столику. И тут скрепка, которая держала разъехавшиеся сзади по шву штаны, впиалась Четвергану в тело. Он слегка подскочил и вскрикнул: то ли от боли, то ли от удивления. Вместе с этим учеником с домашнего семинара за столик присела его спутница: не кто иная, как старуха-американка. Та старушенция с зашитыми в пояс долларами с Рабиновича 33, которая всем рассказывает про то, что у нее в поясе зашиты доллары, на тот случай, если ее ограбят, чтобы знать, кого подозревать. Та, которая во время войны скрывалась в стенном шкафу у поляка, слушая угрожающие слова, произносимые за перегородкой, боясь чихнуть. Та и не та: с лихой челкой на лоб, и Четверган, впервые увидевший ее при солнечном свете, столкнулся с любопытными глазами школьницы, а вовсе не вьедливой сумасшедшей старухи. Она плюхнулась на стул, заложив ногу на ногу, и закурила

сигарету «Нельсон-адмирал», держа ее двумя пальцами, как папиросу, смахивая с губ крошки табака. Но этого мало: его поразила интонация усевшегося за столик мужчины. Загадочная фраза «ну вот, наконец-то и поговорим» прозвучала так, как будто сказал он: «ну вот наконец-то мы вас и съедем». Но этого мало: в этом человеке он узнал того типа, с которым сталкивался в самых неподходящих местах за последний месяц: начиная с Мертвого моря, где он почему-то уселся рядом, читая газету, и кончая кинотеатром, где в пустом зале еще одним зрителем оказался именно он. Четверган узнал и его лицо с немигающим измученным взглядом, которое всегда быстро отворачивалось, когда Четверган сталкивался с ним на улице, в очереди, на автобусной остановке, у сигаретного ларька, где оба покупали сигареты «Нельсон-адмирал» с одноруким Нельсоном, которому гуманно оставили оба глаза. То есть не это даже важно: важен был его голос, голос, которого Четверган раньше не слышал, но сейчас был уверен, что слышал, и пытался вспомнить, прокручивая только что услышанный голос и пытаясь разгадать его, как заспанную мысль, как услышанный звон, когда не знаешь, откуда он. Четвергану захотелось выйти, но взглянув на слепящий свет за витриной на улице, который превращал все происходящее в плоский расплывающийся контур, он не решился подняться с места. Кроме того, надо было просить подняться всех сидящих рядом случайных собеседников: он оказался сидящим у стены, зажатым с одной стороны профессором, с другой стороны его учеником, а напротив его расстреливала сверлящим взглядом нескромной школьницы старуха-американка. Четверган никак не мог совместить в собственной памяти как будто однажды уже услышанный голос человека справа и уже однажды увиденную его внешность. Двоилось все: и от жары с колеблющимся воздухом, и от падения на асфальт с летящим манекеном. Подошел официант.

«Кофе?» оглядел он сидящих.

«Мне «обратный», сказал Четверган. «Поскольку я уже давно двигаюсь в обратном направлении». Чтобы вспомнить сон, надо проговорить все слова, которые вспоминаются сразу после пробуждения. Принцип «обратного» кофе состоял в том, что, залив в чашку кофе с молоком, вспенивали всю эту смесь струей пара из кофеварки, и таким образом то, что было внизу, оказывалось наверху, амбивалентно переворачиваясь в обратном порядке все той же стороной медали молока с кофе. В этом «обратном» кофе Четверган ценил пенку. И снова вздрогнул при звуке знакомого голоса собеседника справа:

«Отчего же, я очень даже могу понять, что Россию

начинают вспоминать как потерянный рай», возражал тот профессору с косичками. «Все эти разговоры в четырех стенах, а за окном метель и опасность, и враждебные глаза, и тебе наплевать, что будет и что было, и что с тобой случится в данный момент, потому что это от тебя не зависит, а выйдет так, свыше, так, что ты как бы и не виноват ни в чем, а если и виноват, то лишь приравнивая свою вину к всенародной внеисторической, то есть не имеющей никакого видимого смысла, кроме как словесного. И тогда ничего и не остается, кроме великого разговора. Я это могу понять. Очень даже понимаю. Со мной такое было, но только в самом что ни на есть концентрированном виде: в концентрационном лагере. И не надо на меня так скорбно смотреть. Я до сих пор не могу отделаться от впечатления, что Освенцим был для меня самой светлой эпохой в моей жизни. Нет, правда, не надо на меня так скорбно смотреть. Трудно в это поверить, если вспомнить, что четыре месяца нас с утра до вечера держали голыми и босыми на снегу, в ожидании очереди на кремацию. Дали только рванные талесы завернуться: которые от предыдущих остались. Это было странное состояние. И странные открытия: например, если касаться друг друга хотя бы руками, чтобы получилась цепочка, то тепло сохраняется очень долго. Никогда больше в жизни я не встречал столько великих людей сразу, и причем каждый готов был на все, чтобы только сохранить себя в моей памяти и в моих глазах. Потому что они верили, что я спасусь. И это была какая-то интеллектуальная лихорадка. Я никогда ни от кого больше не слышал таких гениальных комментариев на каждую библейскую строчку. Они меня использовали как чистую страницу, они записывали в моей памяти все, что поняли за всю свою жизнь. Голые люди на морозе доходили до таких высот, что мне понадобятся еще четыре жизни, чтобы все это записать. Я до сих пор живу их словами. И никто из них ни на секунду не раскаивался в том, что оказался в Освенциме, а не бежал вовремя и загодя, проклиная и расплевываясь. Вот теперь в школе заучивают картинки ужасов: гора скальпов со спутанными волосами, гора детских скелетов, гора золотых коронок, пулеметный строй эсэсовских глаз, трубы газовых камер. Каждая такая картинка ужасов из истории отъезда в страну желтых звезд поражает идеологической законченностью и моральной неприкасаемостью. Палачи — все как один — представители своей бесчеловечной правоты. Казненные — все как один — представители высшей несправедливости. Ни одного сомневающегося голоса. Согласно этим возмущенным историкам, ни один казненный не

дошел до мысли о собственной виновности и соучастии в том, что с ним случилось. Ни один палач не захотел поменяться местами с жертвой. Каждый участник этого самоубийства стоит на самой справедливой точке зрения: исторической необходимости. Как будто никто до этого не жил вместе, еще не зная, кому отведено место палача, а кому жертвы. Когда я листаю все эти музейные ценности в назидание последующим поколениям, мне хочется заняться изготовлением фальшивок: выкопать все кости палачей и поместить их рядом рядом с черепами казненных. Кто догадается о разнице? С каких пор смерть стали считать оправдательным приговором? С каких пор всякий остающийся стал виновным по отношению к отбывшему на тот свет? И мертвые кости стали доказательством невинности? С каких пор правота сбежавших обосновывается смертью остающихся? Ведь я же был там, рядом с газовой печью, я видел эти лица: никто не раскаивался в том, что оказался там, а не в стане спасающихся в другой земле. Потому что они знали, стоя на снегу у кочующих стен, что это их гражданская война, и что они вовсе не безвинные жертвы. И у входа в газовую камеру был свой рай разговоров, в который хочется вернуться, даже без надежды на еще одно спасение». Так звучала эта иерусалимская речь, если переложить ее картавость на московское аканье.

Воздух в вегетарианском ресторане зашевелился. Четверган глотал «обратный» кофе и чувствовал, как увеличивается расстояние между тем, что происходит в данный момент и тем, что уже однажды случилось, но произошло лишь для того, чтобы об этом мучительно вспоминать, как о потерянном эхе того, что происходит в данный момент. С какого-то момента жизнь начинает повторяться, и слова «со мной это уже было» надо воспринимать буквально. Ужас этого места в том, что на этом месте хотя бы однажды все мыслимое и немыслимое уже с кем-нибудь случилось, и поэтому это место — непрерывный поиск эха от чужой жизни, которая стала твоей. Как будто это не жизнь, а сплошная переписка через верховный черный кабинет, и так как не все письма доходят, то неизбежно приходится повторяться. И чтобы сочинить ответ, надо постоянно оглядываться назад, доставать старые конверты и копировать чужие строки, которые стали твоими. И чем сильнее ощущается расстояние между тобой и чужим эхом, тем сильнее работает память: такая обратная сторона разлуки. Человек с морщинистым лицом как будто отгадывал, что хочет услышать Четверган. Он сидел спиной к свету, и от ореола слепящих лучей, бьющих из-за спины, его лицо казалось темной неразличимой

маской, с черными прорезями глаз, и невозможно было угадать их выражения.

«Дым там шел столбом с утра до вечера. А когда шел дождь, дым оседал пеплом. Вначале я подумал, что это пыль на лицах. А потом понял: это же пепел. Лица были покрыты пеплом. И лица палачей, и лица казнимых. Вы думаете, почему случается чудо? Только там случается чудо, где уже невозможно отличить доброго лица от злого, где каждое лицо покрыто пеплом. И произошло это чудо с девочкой-подростком. Надо представить себе эту девочку, которая два года перед тем, как ее схватили и отправили в лагерь, скрывалась у одного поляка, в стенном шкафу, где сутками надо было стоять без движения и без глотка воды. И вот уже в лагере она встречает этого поляка, служащего в должности капо. И он не мог простить ей того, что он ее спасал. Как будто она знала о нем то, что он должен был теперь скрывать: не только от начальства, но даже, может, от самого себя. Как будто она знала за ним тайный порок, порочащий его секрет, который он сам презирал, а тут еще эти полудетские глаза глядят и напоминают». И рассказчик поглядел на Четвергана.

«Постойте», перебил его Четверган. «Но я уже слышал этот разговор. Я его слышал от вас!» и он повернулся к американке.

«И мало того, что он был самый жестокий и самый подлый капо в лагере: вся его жестокость и подлость сосредоточились на этой девочке. Дело дошло до того, что она перестала спать вообще, а значит это только одно: первым идти в газовую камеру, потому что первым идет самый слабый, который уже не может рыть собственную могилу. И вот наступило то утро, когда ее вывели из барака, качающуюся и прозрачную, и поставили «на селекцию». И даже такая наивная уловка, как подложить камешки в туфли, чтобы стать выше ростом и оказаться среди годных, даже про это надо забыть, потому что была она босиком на снегу. И вот когда уже рассчитали по номерам, и оставалось повернуться и отбыть в страну желтых звезд вместе с кремационным дымом, она вдруг увидела, что к ней вразвалку приближается этот капо, поляк. Он подошел и поглядел на нее, как глядят в последний раз, и с такой ненавистью, что у него даже слезы выступили. И она посмотрела ему в глаза. Может, если бы не поглядела ему в глаза, не произошло бы чуда. Но она посмотрела на него своим прежним взглядом, который знает про него то, чего он не хотел про себя помнить до ненависти к самому себе. Потому что всякая ненависть — это прежде всего по отношению

к самому себе ненависть, это прежде всего ненавистное про самого себя напоминание. И вот когда он с ее глазами встретился, то уже сдержаться не мог. И ударил в живот: сапогом. И она упала в снег. И это было спасение: потому что известно каждому: если быют заключенного, начальство не вмешивается, и даже можно оттащить в сторону. Даже нужно оттащить в сторону, потому что в газовую камеру полагалось идти в полном сознании и на собственных ногах. И лучше всех это было известно самому капо. И вот сколько лет прошло, а я до сих пор не могу понять: ударил он ее, потому что не смог сдержаться, или потому что в самый последний момент хотел спасти? Или же произошло чудо, и не сам он нанес этот удар». Паузу после этой загадочной исповеди нарушил профессор:

«Конечно же это чудо. Конечно же этот капо ее ненавидел. И именно потому что он ее ненавидел с такой силой, именно поэтому Бог выбрал его для спасения невинной жертвы. Видите ли, как я понял, вы были слишком счастливы в своем несчастье. Это было некое сладострастье общей судьбы. Это был рай разговоров в аду. И вы забыли, где вы находитесь. И за чей счет. В упоении этим состоянием конца мира, вы забылись, вы потеряли память о том, как вы к этому концу мира пришли». Он крутил косичку у виска, накручивая ее на палец, и от этого кручения закручивался воздух, простреленный солнцем. «Как видно, мне придется изменить всю концепцию изгнания из рая ввиду услышанного. Не правда ли? Сами подумайте: стоит услышать случайную исповедь, и как все закручивается. И еще этот манекен, а? а? Я ведь сам говорил: каждую библейскую строчку надо прежде всего понимать буквально. А сам забыл. Но мне напомнили. Мне со всех сторон сейчас это напомнили. «Падение» Адама и Евы надо понимать буквально, вот что. То есть Богом был нанесен некий отрезвляющий удар. Они в раю забылись. Они друг с другом говорили и забылись. Они Его забыли. Они стали отравляться в своем беспамятстве. Возможно, это стало превращаться в некое состояние райского идиотизма. Они забыли, что они в раю за чужой счет. И яблоко надо было съесть, чтоб вспомнить. Вспомнить и пробудиться. Вспомнить о Нем. То есть Змий — это ненависть Бога к беспамятству. Именно об этом нам и напомнил упавший вам чуть ли не на голову манекен Евы. Падение и удар — как пробуждение от блаженного беспамятства», и профессор, докрутив косичку до виска, отпустил ее, и она, как пружина, раскрутилась обратно и закачалась на качелях раскаленного воздуха, который перемешивал пропеллер на потолке. И Четверган закачался на этой жаркой волне исповедальности, еще немного и глаза



затопит соленая и жгучая мертвая вода. Он входил в то состояние весенней горячки, когда ему не хватало случайных собеседников, чтобы именно перед ними выкладывать то, чего он никогда бы не сказал ни мне, ни другому из близких:

«Вот почему меня ударили по голове в «России». То есть просто вдарили по мозгам, чтоб знал, за чей все это счет, это открыточное отношение к жизни».

«Только почему вы сказали: в России? Разве это было в России?», раздельно проговорил А. У. Швиц, иначе не назовешь этого собеседника сбоку, черным силуэтом нависавшего над столиком.

«Я имею в виду «Россию» в кавычках, но это долго объяснять — разницу между кинотеатром и страной, и их сходство по крайней мере в моей памяти. Сейчас это не так важно. Важно то, что тот, кто меня ударил, приревновал к моим разговорам с ней. Какой великий был разговор! Она глядела на меня, я глядел на нее, все кругом глядели на нас, а мы ничего на свете не видели».

«Значит, вы все-таки ее ненавидели?» со странной убежденностью спросил, наклонившись, А. У. Швиц и переглянулся с американкой. Та мучительно терла лоб, как будто пытаясь вспомнить то, что уже вспомнила и вдруг снова забыла. «Ведь для того, чтобы ударить, надо ненавидеть. Или же это было, как пощечина, чтобы прекратить истерику, чтоб не дать сойти с ума, чтобы спасти?»

«Вы меня неправильно поняли», запнулся от бессвязного вопроса Четвергана. «Я ведь никого ни разу в жизни не ударил. И ни к кому на свете не испытывал ненависти. Скорее, презрение. Она старалась улыбаться, а я видел всю эту натянутость. Не выношу лживых и изломанных жестов. Она для меня в такие моменты превращалась во всю Россию, от ложности которой мне некуда деться».

«Но если уж вы начали с признания, зачем вы все время прикрываетесь Россией? При чем тут, в нашем разговоре, Россия?» нетерпеливо перебил А. У. Швиц.

«Но о чем же мне еще думать, как не о России? Презрение держалось на том, что оскорбление, заготовленное для Фомы, понимал только Ерема. А Фома принимал это оскорбление лишь как сумасшедшую выходку. Презрение выражалось в том, что мы оскорбляли намеками, непонятными тому, кого оскорбляют, рассчитанными на то, чтобы вызвать скрытую наглую улыбку у наших сторонников. Тут еще неизвестно, кто кого мучал. Конечно же меня отправили в сумасшедший дом. Но я был горд и убежден был в том, что совершил великий поступок. Но выходка — это не поступок. И позволил я себе эту выходку на ученом совете, потому

что, презирая, был убежден, что они не поймут тайного смысла этой выходки. Но тайного смысла не поняли даже друзья и соратники. Они тоже решили, что я рехнулся от несправедливости, плюхнулся на пол и ору: «А-а-а!».

«Вы только не кричите. Я не понимаю, почему вы лагерное начальство называете ученым советом? Я не понимаю, про какие свои выходки вы рассказываете, но я слушаю внимательно, потому что заинтересован разгадать тайну той вашей выходки, которой я был свидетелем».

«Разве вы тоже присутствовали на том ученом совете?» Четверган потер лоб рукой. «Почему же я вас никогда не видел на кафедре? И я никак не могу вспомнить, откуда мне знаком ваш голос? Впрочем, я же сказал, я был тогда в состоянии воинствующего припадка. Мне надо было доказать, как я их презираю. Для меня они превратились, действительно, в лагерное начальство. И мне надо было их оскорбить. То есть сделать нечто, чего они не поймут, сделать такой жест, который понятен только моим сторонникам, который даст им повод для презрительного смеха. Вот я и выбрал поведение Никиты Пустосвята во время диспута о старой и новой вере в Грановитой палате».

«Я не знал, что у вас был предшественник. Только почему вы газовую камеру называете грановитой палатой? Что такое грановитая палата? Там все было из бетона».

«Дело не в том, из чего были стены. Там было железобетонное поведение. Никита Пустосвят стоял во главе раскольников. Вы ведь не знаете эту породу людей. Он их вел на самосожжение. Тут было такое ощущение своей правоты, что каждый, кто не с нами, тот против нас. И единственное оружие, когда невозможно разложить всеобщий костер, это презрение. И вот этот Никита Пустосвят, когда ясно стало, что дело раскольников кончено, он сложил двуперстный крест, поднес, как описывает очевидец, скверные руки горе, воскричаша на многие час, бесовски вещаша вси капитоны сице: «Тако, тако! А-а-а!», яко дьяволом движим, издавая бесчинные кличи и изрыгая мутные словеса. Не знаю, что на меня нашло тогда, когда все эти толстые рожи ополчились во время ученого совета, но я решил повторить эти немощствующие инвокации старообрядцев и, повторяя Никиту Пустосвята, забился в угол и заорал: «А-а-а!» А они меня приняли за психически ненормального. И не только они: даже близкие друзья ничего не поняли!» и Четверган отмахнулся от чего-то невидимого рукой, и локоть его, пролетев над столом, смахнул чашку «обратного» кофе. Коричневая лужица разлилась на полу. Его собеседники переглянулись.

«Мы не очень поняли, о каком заседании вы говорите.

Но даже если это вас отчасти оправдывает, такое отчаянное поведение, оно отнюдь не объясняет загадочно жестокого поступка по отношению к НЕЙ. Понимаете? Более того, уж совсем непонятно, зачем вы приехали сюда? В Иерусалим? Ведь тут вы могли встретить ЕЕ. Она могла бы вас узнать. Как же вы пошли на такой риск? Или именно это вас сюда и тянуло, как преступника на место преступления?» Три пары глаз глядели на Четвергана.

«Я не понимаю, почему вы связываете мою выходку под Никиту Пустосвята и мои отношения с Ниной. И с кем я здесь могу встретиться?» Четверган ерзал на скрепках. «Впрочем, мне не приходило в голову, что разрыв с Ниной начался с Никиты Пустосвята. Собственно, она единственная, кто знал, что моя выходка — это, так сказать, цитата из чужой жизни. Может быть, я и попал сюда в поисках источника этой цитаты. Дело в том, что выходка Никиты Пустосвята — некая цитата. Этот его крик «а-а-а». Староверы, а тем более, юродивые, никогда ничего не совершали просто так. Любой их шаг, слово, жест, выкрик, все это имеет один источник — священные книги. И надо только отыскать цитату. Их жизнь напоминает классический библейский комментарий: не упоминается ничего, что не упомянуто прежде или не встретится позже. Такая кандальная цепь цитат».

«Позвольте», стал снова закручивать косичку профессор, «но было два перевода Библии на древнеславянский. Один Вульгата, а другой Септуагинта».

«Вы уходите от разговора», вмешался А. У. Швиц. «Причем тут Вульгата? Септуагинта? Кто такая Нина? Вы уклоняетесь от разговора!»

«Я не уклоняюсь от разговора, это вы меня уклоняете в свой разговор. У вас свои цитаты в жизни, у меня свои. На них я и погорел. А вы чуть не задохнулись в газовой камере. Но не надо мешать мне вспоминать те цитаты, которые к вам не имеют отношения. Это вы меня разговорили, а не я вас. Дайте досказать, а потом делайте соответствующие выводы. Понимаете, я не мог отыскать цитату, из-за которой моя жизнь пошла по другим железнодорожным рельсам. Когда меня выгнали, я не имел доступа ни к Вульгате, ни к Септуагинте. Я не мог проверить цитату. Точнее, цитату цитаты. Вы ведь не знаете, насколько важно это в тамошней жизни. Вы ведь не знаете, что значит говорить так, что после четырех слов ваш собеседник вдруг вскакивает, опрокидывая стул, и хлопает дверью, а остальные ничего не поняли и сидят, раскрыв рты, потому что только ты и он, оскорбленный, знали, какую оскорбительную цитату скрывают четыре слова. Возможно, что из-за отсутствия под руками

Вульгаты и Септуагинты, я стал выстраивать другую, окольную линию цитат, которая подводила к немотствующим инвокациям Никиты Пустосвята, жест которого я повторил. Я стал запоминать на всякий случай все те слова, которые имели отношение к тому, что я не мог процитировать, не имея под руками ни Вульгаты, ни Септуагинты. Но, видно, мир слишком перенаселен: стоит сказать слово, и уже в стену стучатся соседи. Уже наговорено столько слов, что каждая цитата воспринимается как оскорбление. Не осталось слов, которых кто-нибудь не принял бы на свой счет. Что мне оставалось делать? Перестать разговаривать? Но дело дошло до того, что мои мысли стали претворяться в жизнь. Заснуть? Но если я стал отгадывать свою жизнь наперед, естественно, что все, что я видел во сне, случалось через неделю. Вся жизнь превратилась в сплошную цитату, только я не мог найти книгу, откуда эта цитата украдена».

«Потому что вы сначала присвоили чужую ложную идею, а потом стали действовать согласно этой ложной надуманности», оживился профессор. «Цитату из Вульгаты или Септуагинты отыскать нетрудно. Но дело в том, что ложной идее невозможно быть вечно преданным. Однако, изменяя этой идее, вы зарабатывали чувство вины. Вы покидали очередной уютный рай и не могли не испытывать чувство раскаяния».

«Потерянный рай шел по тротуару рядом с кинотеатром «Россия», когда я проезжал мимо на троллейбусе. Всего за час до этого мы расстались с ней у трех вокзалов, как два родных человека. И каждый двинулся в своем направлении, и мы не придали этому никакого значения, потому что знали, что вечером встретимся, и что и дальше все будет идти в том же духе. Я пошел на проводы. Она пошла в кино. Расстались, друг друга не замечая, как не замечаешь самого себя. Как не замечаешь собственных шагов. И вдруг я ее увидел идущей по тротуару. Увидел как будто со стороны самого себя. Я сидел у окна троллейбуса, и троллейбус медленно двигался параллельно тротуару, по которому шла она. И когда я вдруг увидел ее лицо,двигающееся за два шага от меня, я хотел крикнуть, я хотел окликнуть ее. Это было так естественно: окликнуть родного человека, которого вдруг увидел на улице. Но я ехал на троллейбусе, троллейбус ехал по улице, водитель глядел вперед, а она шла рядом, не замечая, что я гляжу на нее из окошка. И я ее лицо увидел вдруг, как чужое. Знаете, такое ощущение, когда никак не ожидаешь встретить человека, и поэтому когда вдруг видишь его, в первый момент не узнаешь, настолько не ожидал встретить. И как будто впервые его видишь, и его лицо, как

знакомое лицо на случайной фотографии, кажется незнакомым. Я тогда как будто глядел на свою прошедшую жизнь и не понимал, как же она прошла. И я ее не окликнул. Это все очень тягостно, то что я сейчас это вспомнил», и Четверган поднялся и попытался выйти из-за столика. И тут до неприятности жестким жестом А. У. Швиц вдруг положил руку на плечо Четвергану и снова усадил его. Четверган попытался высвободить плечо из-под тяжелой руки, когда американка, до этого сидевшая как будто в молчаливом параличе, тряхнула челкой, долго гасила раздавленный в пепельнице окурок «Нельсона-адмирала» и вдруг сказала на чистом русском языке, разве что с легким польским акцентом:

«Значит, и в Москве он ходил где-то рядом со мной, а я не замечала. Многое я бы отдала, чтобы заметить это лицо в окне троллейбуса, и снова взглянуть ему в глаза». Голос ее, из-под старческого лица, лица иностранки с густым слоем пудры, прозвучал так, как будто внутри нее включили магнитофон, а ей лишь оставалось двигать губами. Чревовещательное впечатление было настолько гипнотизирующим и одновременно нереальным, что Четверган решил, что этот голос звучит не сейчас, а в его памяти. С мягким шелестом вращался пропеллер над головой, а сбоку, над плитой, загудела труба вытяжки. И глядя на широкий прокопченный раструб вытяжки, Четверган, наконец, вспомнил:

«Я вспомнил!» вскрикнул он так, что профессор сбоку дернулся. «Ну конечно же: вы — двое из водопроводного крана. Конечно же! Я чувствую, что один голос — знакомый, но мне надо было услышать этот польский акцент. Всегда нужно второй голос вспомнить. Вы же голоса из водопроводного крана, я из-за вас в сущности разбил американскую кофеварку!»

«Позвольте, что он говорит?» завертелся на стуле профессор, вертя косичку.

«Я целый месяц слушал эти голоса», торопился припомнить Четверган. «И в конце концов разбил кофеварку. Когда вода не течет, через водопроводный кран можно слушать разговор из другого номера. А потом струя воды выбивает из рук посуду. Какая была кофеварка!» Четверган повернулся к американке: «Вы всем сообщали, что у вас в штанах доллары на тот случай, если будет совершен грабительский налет, чтобы знать кого подозревать, правильно? Я воспользовался вашим методом: я теперь первому встречному рассказываю свою подозрительную биографию, именно чтобы проверить, как ко мне будут относиться. То есть, если у меня возникнут сложности в здешней жизни, значит

существует некая организация, которая за мной следит. И так как я помню всех, кому я врал про собственную жизнь, я буду знать, кто в этой тайной организации состоит. И кто ставит цензурные номера на конвертах. Чего вы на меня так смотрите? Вы ведь актриса, я же помню, как вы сказали: надоел этот балаган, этот парик дурацкий. А-а-а-а!», искаженным от догадки голосом вскрикнул Четверган и стремительным жестом перегнулся через столик, опрокидывая чашки.

«Позвольте, позвольте!» попытался остановить его профессор, но было уже поздно. Рука Четвергана дотянулась до головы «американки» и резко дернула ее за волосы. И тут, как в забытом сне про дачу, паспорт и лицо чиновницы, волосы «американки» стали съезжать, оказавшись париком. И вместе с париком стало съезжать лицо. Профессор вскрикнул. Лицо старухи сползло как чулок, оказавшись эластичной маской, и упало на пол, оброненное рукой Четвергана. Тот, все еще нависая над столом, был схвачен за руки профессором с одной стороны, и сообщником «американки» с другой. И его губы, искривленные гримасой брезгливости и ожидания, готовы были прошептать: «Нина!» Но это была не Нина. Это была незнакомая ему женщина с упрямым лицом комсомолки; прикрыв лицо руками, она вскочила и бросилась за матерчатую занавеску с умывальником.

«Входную дверь держите!» крикнул оторопевшему хозяину А. У. Швиц, сжимая руку Четвергана от кисти до плеча. «Кто вам дал право еще раз касаться этой женщины?» со злым шепотом повернулся он к Четвергану. «Вам недостаточно было третировать ее на протяжении четырех лет? Или это все было такой же выходкой, про которую вы тут пространно разглагольствовали? И удар сапогом в живот девочке — тоже был выходкой? И выходкой был ваш приезд сюда? Что вы здесь делаете?» и он стал трясти Четвергана за воротник.

«Я знал, что нечто в этом роде должно со мной произойти», бормотал Четверган. «Я сам давно перестал понимать, как я здесь оказался. Я только помню, что это началось с Никиты Пустосвята. И закончилось тем, что Нина оказалась жертвой».

«Меня не интересует, под каким именем вы скрывались все эти годы. И полагаю, что однажды взяв на себя роль капо в нацистском лагере, вы не остановитесь на одной жертве. Вы и за эту Нину ответите. Но сейчас меня интересует прежде всего судьба той женщины, которую я любил всю жизнь. И которую спас удар вашего сапога. Я ведь искал вас все эти годы. По всему свету искал. Кто бы мог

подумать, что бывший капо по собственной воле придет в Иерусалим?»

«Бывший капо?! Про кого вы говорите?» очнулся Четверган.

«Кто-нибудь мне объяснит, в конце концов, что здесь происходит?» вертелся в замешательстве профессор и оглядывал то одного, то другого, накручивая на пальцы косички уже двумя руками, когда, не говоря ни слова А. У. Швиц раскрыл смятый в руках конверт и, вынув сложенный вчетверо документ, развернул его на столе, разгладил и щелчком пальца пододвинул его к профессорским очкам. Тот сдвинул их на лоб и уставился носом в документ. Потом высунулся из-за документа, поправил очки и поглядел сначала на Четвергана, потом снова в документ, потом снова надел очки и повернулся к Четвергану:

«Так ведь это вы и есть. Вот тебе и Вульгата с Септуагинтой», и он повернул документ так, что Четверган смог заглянуть в него. Это был пожелтевший, обожженный с одного края лист плотной глянцевитой бумаги, уцелевшая единица военного архива, вынутая из скоросшивателя, о чем свидетельствовали дырочки по бокам. На документе стояли и печать, и гриф особой секретности, и готический немецкий шрифт сообщал анкетные данные о вольнонаемном служащем трудового лагеря «Аушвиц», и в правом углу помещалась фотокарточка этого служащего, жителя Варшавы со странной фамилией Ничабос, сфотографированного в профиль. ЭТО БЫЛО ЛИЦО ЧЕТВЕРГАНА В ПРОФИЛЬ.

«Кто приклеил мою фотографию на эту фальшивку?» сказал, передернувшись, Четверган. «И чей это почерк?»

«Об этом и надо спросить у вас, господин Ничабос. Ведь это ваша подпись и ваша фотография: сохранилась, к сожалению, только в профиль. Но и этого достаточно. Разве я мог предполагать, что этот полусожженный архивный листок наведет меня на ваш след? Я ведь подобрал этот листок во рву, куда сбрасывали трупы, лишь по своей навязчивой идее собирать бесполезные бумажки. Но у каждой бумажки есть свой час, когда бюрократические слова превращаются в жуткую действительность. Ведь ваша ненависть однажды спасла девочку, которую вы хотели уничтожить. И та же ненависть привела вас в ловушку: вы ведь прибыли сюда, чтобы уничтожить свидетелей, господин Ничабос, не так ли?»

«Перестаньте называть меня этой нелепой фамилией. Я не господин Ничабос. Меня зовут Четверган. Я рекомендую здешним Ревизорам Движения отличать настоящего Сталина от поддельного Гитлера. А агентам этой железной

дороги рекомендую обращать внимание на должности, а не на внешность, а в случаях сомнений проверять точность путем обратного вызова». Четверган стал заговариваться старыми цитатами. Все это превращалось в кошмар из приснившихся цитат про собственное будущее. Пробормотав слова «путем обратного вызова», Четверган осекся: собственно, «обратного вызова» не существует. И доказать, что ты был там не тем, за кого тебя принимают здесь, невозможно. Ничего не осталось, кроме собственной внешности, но именно она и подклеена к чужому преступлению. Или к твоему преступлению в другой инкарнации под фамилией Ничабос? И разве это польская фамилия — Ничабос? Скорее греческая, или византийская, даже арамейская, или там вавилонская, что-то вроде Менетекелфарес, зловещего смысла которой никто не разгадал. Что в имени тебе моем? Можно было извлечь меня, Тутова, с берега Мертвого моря, где я лежал в то утро; можно было возвратить Тамаева с полдороги в Америку, можно было бы извлечь десять свидетелей и сто документов, доказывающих существование Четвергана тамошнего и Четвергана здешнего. Но никто и ничто не могло подтвердить, что тот Четверган и этот являются одним и тем же лицом. И сколько ни шли запросов в обратном направлении, память о них, как о четырехкопеечных открытках, стирается быстрее, чем они дойдут до адресата. Он попал сюда не как переселенец, который перенес свое прошлое в чемодане, но как беглец, пытающийся забыть все то, что было причиной бегства, и вот теперь, как истинный пустынножитель, как совершенный отшельник, он может быть зарегистрирован кем угодно в качестве кого угодно. Все здешние имена свернулись в козлиные свитки, высохли глиняными вавилонскими табличками: Тутов, Тамаев, Четверган, Навуходоносор? Бесполезно привлекать в свидетели мертвые души. Он выпал из той жизни, как пьяный из окошка. Потерянное поколение. И возникнув на том свете, мертвые души тут же начинают налаживать контакты с тем светом. Одни через почтовую переписку, другие во сне. Все свидетели остались там. Ведь никому не нужны здешние мертвецы, всем нужны живые люди, даже мертвым душам. Которым некуда бежать, потому что для них «там» переместилось уже в ту бешеную голубизну, которая сулит слепоту, если не надеть темные очки. Или сощуриться и сделать вид, что видишь тех, кого нет. Но потом глаза устают от прищур, начинаешь тереть глаза тыльной стороной ладони и вдруг обнаруживаешь, что ладонь мокрая. Нас быстро годы почтовые с корчмы довозят до корчмы. И днями теми роковые прогоны жизни платим мы. Наивно было думать, что в том заоблачном «там»



ты найдешь свое место. Все места давно заняты. Ты попал в чужое кресло. На том свете все места давно распределены, и ты попадешь в то кресло, которое для тебя забронировано. Тут ведь кресла распределяются по одному на всех тех, кому суждено стать одним перемещенным лицом. Был Четверган, был Тутов, был Тамаев, а теперь один сплошной господин Ничабос. Были души ноздревские, и коробочкины, и плюшкины, и маниловы, а теперь все в одной бричке господина Чичикова. И летят мимо народы и государства.

«Я не могу доказать вам собственного загробного существования», сказал Четверган в раскаленную пустоту, где плыли двоящиеся контуры наклонившихся над ним лиц. «Ко мне у Главпочтамта привязался сегодня слепой: он гремел жестяной, и как только я делал шаг, он делал шаг в мою сторону. Он всякий раз думал, что это новый человек проходит мимо. А я просто стоял на остановке и ждал автобуса. И я не мог ему доказать, что это шаги не разных людей, что это все тот же я, а не кто-то другой, я не мог ему доказать, что я — это я, потому что он и слепой, и глухой: он не слышит и не видит. Ему важно греметь жестяной, как только он чувствует дуновение воздуха от проходящего. Я не могу доказать вам, что кроме меня здесь, был еще и я тамошний, потому что все, что произошло там, существует только тогда, когда я об этом думаю. И теперь я уже не могу сказать с уверенностью: а не показалось ли мне все это? а не приснилось ли мне мое несуществующее прошлое? Может, я превратился в этого слепого и хожу с жестяной за самим собой, каждый раз принимая себя за кого-то другого?»

«Но кроме собственной слепоты существуют зрячие свидетели, которые помнят вас не тем, за кого вы себя сейчас принимаете», и его обвинитель покачал в воздухе документом с четвергановским профилем. И тут за спиной Четвергана раздался смех. Истеричный смех, который он сначала принял за издевательский. «Американка» держалась за притолоку и хохотала, и в конце концов не удержалась на ногах и присела, зарыв голову в коленях так, что уже непонятно было: хохочет ли она или это истерический плач. Профессор бросился к ней со стаканом воды.

«Косоглазый», повторяла она, тыкая в Четвергана пальцем. В руках у нее была пачка сигарет «Нельсон-адмирал». «Он же косоглазый. Как до меня сразу не дошло: он же косоглазый, а не одноглазый!» И Четверган, подняв глаза, прикрылся ладонью от этого тыкающего пальца и истеричного вопля, закрылся ладонью, как в детстве, когда толпа мальчишек во дворе, визжа и свистя, выскакивала из подворотни,

тянула за портфель, дергала за воротник, наставляя сзади рога, кидалась снежками и камешками, подставляя ножку и растягивая пальцами глаза до ушей, изображала китайца, и все десять орущих ртов с испорченными зубами наворачивали, не переводя дыхания, одну и ту же дразнилку: «Косоглазый Четверган! четверглавый косоглаз! косоглазый четверглав! четверкосогадоглаз! Глаз на анализ! глаз на анализ!»

«Не обижайтесь, это ведь очень хорошо, это ведь хорошо, что вы косоглазый», она гладила Четвергану ладонь. «Бог знает, чем бы все это закончилось, если бы вы не были косоглазым. Именно не одноглазым, не одноруким, а косоглазым. Вас бы не спасло, даже если бы вы оказались одноногим. Ведь ноги и руки, и глаза можно лишиться в два счета. Но нельзя быть одноглазым, а потом превратиться в косоглазого, ведь правда? Вы ведь косоглазый Четверган, и никто другой!» Четверган ожидал удара и слышал, как в грохоте отодвигаемых стульев требовали вызвать и полицию, и скорую помощь, но она с силой оторвала руки от его лица и всматривалась в него выплуканными глазами, под которыми оставались синяки грима:

«Понимаете, мне ни разу здесь не удалось разглядеть ваши глаза при солнечном свете. Я ведь тогда, когда пришла воды у вас просить, в первый раз заглянула вам в лицо и никак не могла вспомнить, что же было в лице капо, чего у вас нет? Вот вы сказали про фотографию знакомого лица: как его так вдруг сфотографировали, что и узнать невозможно. И вот ваше лицо было такой фотографией, фотографией капо, которую я не могла узнать. И столько раз сверяла ваше лицо с фотографией из лагерной картотеки. И никак не могла понять, в чем разница. И вот только сейчас, когда я в уборной закурила сигарету «Нельсон-адмирал» и стояла у зеркала, и пыталась прийти в себя, и тупо рассматривала адмирала Нельсона, и вспомнила вдруг по школьной памяти, что ведь он был одноглазый. А тут на сигаретной коробке у него оба глаза. И наконец вспомнила про капо: одноглазый! Я вспомнила, как глядела ему в лицо, когда он меня ударил сапогом, как я улыбнулась, потому что у него была черная блямба на одном глазу, она мне напомнила пиратов, и я помню, я улыбнулась, и тогда он ударил меня сапогом. А на фотографии из картотеки, там ведь лицо в профиль. И в профиль вы капо. Но ведь в анфас, ведь в анфас вы косоглазый, а не одноглазый! Понимаете? Я вначале была так поражена сходством, что никак не могла вспомнить отличия, понимаете?»

«Остается проверить: не является ли второй глаз искусственным и вставным?» вдруг улыбнулся профессор Шельмович.

«???!!»

«Мне давно надо было заказать новые очки. За ваш счет», сказал Четверган и, плохо понимая, что на самом деле произошло, четверо случайно встретившихся вышли из заведения «Волшебный ковер», спустившись на улицу по ступенькам. В витрине раскачивалась вывеска: «Всегда в продаже свежие шуки».

\* \* \*

«Врожденное косоглазие и приобретенная близорукость», высказал свой диагноз окулист, выдавая Четвергану новые сверкающие очки. Но их бесполезно было надевать, потому что в глазах рябило и двоилось. От атропина, который закапывал в глаза беспощадный окулист, чтобы наблюдать расширенный зрачок в свои телескопы и микроскопы, подсвечивая слепящей лампочкой так, что Четверган видел обратную сторону своего собственного глазного яблока, похожего на марсианскую поверхность; потом, полуослепший, он снова и снова должен был называть цифры, по которым гуляла указка, и снова должен был поворачивать зрачок, следуя пальцу окулиста: «вправо, вверх, влево, вниз, снова смотрите на меня, прямо на меня».

«Мы перед вами виноваты», сказала она, взяла у своего помрачневшего спутника конверт, разорвала его на четыре части и выбросила в урну. «Вместо того, чтобы искать виноватых, надо искать собеседников».

«Я не обижаюсь», ответил Четверган. «Все, что произошло, есть не более, чем плагиат моих собственных мыслей. Я же сказал: со мной случается все, о чем бы я ни подумал. Нельзя было заглядывать в книгу про чужое несчастье, потому что это чужое несчастье начинаешь воспринимать на свой счет и начинаешь чужому несчастью приписывать свои обиды, превращая чужую трагедию в анекдот для объяснения собственной обездоленности. Не надо было об этом думать. Когда нет воды, не забывайте хорошенько закрывать водопроводный кран». И кивнул профессору: «Спасибо за возвращение из рая».

\* \* \*

Когда Четверган приземлился на улице Таити, он решил сократить путь к дому и пересечь сад, тянувшийся вдоль серого одноэтажного здания. Калитка была всегда открыта, но он никогда не видел, чтобы жалюзи на окнах дома открывались. На этот раз ему было не до прикидываний и догадок,

потому что казалось, что воздух щиплет кожу, и ты как будто растворяешься в обмороке этого готового взлететь воздушного шара и больше никогда не вернешься на землю. Жутко хотелось пить, или казалось, что хочется, и свет понижывал до кости. Желание вонзить зубы во что-нибудь сочное и прохладное было нестерпимым, когда он вошел в этот сад. Деревья стояли оцепеневшие от зноя, с голыми ветками, но не по-зимнему голыми, а обрушившими листву от невыносимого зноя, как будто хотели окончательно раздеться. С голых серых веток свисали похожие на лимоны плоды, все они были переспевшими, еле державшимися на каменноподобных ветках, пожухлыми, грязно-желтого цвета, и когда он, пересекая сад, случайно коснулся лицом свисающей груши плода, то инстинктивно отдернулся. Этот каменный сад перепробовал сто поколений. Но пересохшие губы не устояли перед жаждой, и он, оглянувшись, сорвал один из плодов, еле державшийся на толстенькой пересохшей ножке. Он мог бы поднять, никого не боясь, полусгнившие плоды, валявшиеся на пыльной траве, но это было слишком унижительно, и он, оглянувшись, поскольку сад был хоть и заброшенный, но все же чужой, сорвал плод с ветки. И хотя хозяина у этого сада явно не было, он откусил прямо с кожурой от этого лимонновидного плода с испуганной поспешностью. И в этот момент дверь серого дома неожиданно распахнулась, и мужчина в черном пиджаке с полиэтиленовым мешком, стоя к нему спиной, стал запираť за собой дверь на замок. Четверган уже было решил, что тот его не заметил, и независимым шагом двинулся к выходу, когда домовладелец, размахивая на ходу пустым полиэтиленовым мешком, обогнал его и бросил из-за спины с издевкой: «Напрасно вы эти лимоны едите, они отравленные. Их опрыскивали от насекомых, здесь вообще сильная инфекция в воздухе». Четверган поспешно выплюнул откушенный кусок плода и даже отбросил его ногой в сторону. Потому что главное, что его заботило в этот момент, было не то, что плод отравлен, а то, чтобы сделать перед этим домовладельцем незаинтересованный вид и объяснить, что он не знал, что этот сад кому-то принадлежит, что вот он увидел заброшенный сад, плоды на земле валяются, ему страшно захотелось пить, вот он и сорвал один из никому не нужных пожухлых лимонов. Он, кстати, хотел бы узнать, это лимон или грейпфрут? Но потом ему показалось, что тот прекрасно все это понимает, но пользуется случаем поиздеваться, потому что объективно, с объективной точки зрения, он совершил кражу, и его можно обвинить в воровстве, хотя плодами можно отравиться, и именно этот факт домовладельцу

особенно был занимателен. Четверган был настолько смущен случившимся, что повернул не в ту сторону при выходе из сада, и понял он это только тогда, когда ему пришлось выбираться на шоссе через настоящую помойку, и когда выбрался на ступеньки, ведущие к нижнему шоссе, долго пришлось топать ногами об асфальт, чтобы стряхнуть налипшие колючки, мусор и пыль. Он не заметил, как у него оторвался ремешок от сандалии, и когда, не глядя, он вступил на шоссе, сандалия слетела с ноги. В этот момент его чуть не сбил промчавшийся автобус, потому что какое-то мгновение он не мог решить: поднимать ли сандалию или бежать к тротуару?

Когда он добрался до подъезда, он уже не держался на ногах. В подъезде было темно темнотой китового желудка, и спина болела так, как будто он нес на своем горбу чугунный котел по казахстанской глиняной пустыне, с свинцом в груди. Он прислонился к невидимой в темноте стене, оперевшись плечом. И вдруг стена поехала в сторону, рванулся вверх черный квадрат, и бетонный пол, встав на дыбы, больно придавил плечо. Очнулся он через минуту, обнаружив себя лежащим у распахнутой двери, которая, видно, была незаперта, когда он, не заметив ее в темноте, оперся о нее плечом. Жалюзи в комнате были прикрыты не до конца, так, что полосы света прорезали квадратное помещение аккуратным веером, который берег уставшие от беспощадного солнца глаза и одновременно гнал прочь душную густую тьму подъезда. В комнате стояли лавки и ряды стульев, и все было бы похоже на бедную комнатуху для собраний домового комитета, если б не шкаф, на котором собирались и перекрещивались все солнечные веера, пробившиеся сквозь щели железных штор. Шкаф был со стеклянными дверцами и с выступающей вперед, наподобие бюро или пюпитра, наклоненной полочкой. На домашний буфет был похож этот шкаф. И за стеклянными дверцами Четверган увидел свитки: они были навернуты на истершиеся лакированные ручки с двух сторон, похожие на веретена, и на это веретено были навернуты слой за слоем нити строчек, и столько там было слоев, что нити эти, просвечивая друг сквозь друга, становились завивающимся вокруг самого себя узором, который начинается и кончается на самом себе, и от этого казалось, что веретена свитков не покоятся в старом обшарпанном шкафу, а вертятся, повиснув в воздухе силой собственного вечного вращения, удерживаясь силой собственного притяжения и отталкивания на самих себе, и Четверган как будто слышал пение этих веретен-свитков-светил. Он присел на истершийся стул, истершийся от чужих

тел, которые источили себя на вечный разговор без начала и конца, где комментарий комментировал комментируемое, не подлежащее разгадыванию и не являющееся тайной до тех пор, пока ты не станешь о ней разговаривать, и тайна была в самом разговоре, который существовал только для тех, кто этот разговор говорил. На выступающей наклоненной полочке этого шкафа со свитками лежала затрепанная раскрытая книга с загнутыми уголками страниц, с переплетом, еле держащимся на корешке. Эту книгу читают все. Но есть и те, кто понимают ее так, как другим понять не дано. Четверган привстал со стула и наклонился над раскрытой страницей. Там, отчеркнутые на полях шариковой авторучкой, бежали справа налево слова, которые он стал переводить одно за другим:

УЖАКИРП ОТЧ, ЕСВ ИРОВОГ И, ЮЛШОП Я АДУК, ИДИ, КИЧЬЛАМ Я, ИРОВОГ ЕН: ЕНМ ЛАЗАКС ЪДОПСОГ ОН. ЪТИРОВОГ ЮЕМУ ЕН, КИЧЬЛАМ КАК, Я! ИДОПСОГ, — а перед этим шли три буквы, которые при огласовке звучали и произносились как буква «а» так, что это трехбуквенное слово надо было прочесть как ААА. «А-А-А», догадался Четверган, и вышел через двери, на которых отвечивали слова «Ворота раскаяния». Или «Ворота возвращения». Или «Ворота преображения». Или «Ворота отклика»? Он стал подниматься по темной лестничной площадке вверх к тамаевской квартире, соединив, наконец, в одной цитате русского юридического и библейского пророка.

Когда, спотыкаясь в темноте, он добрался, наконец, до двери, замочную скважину невозможно было нащупать концом ключа. И ключ, и дверь были чужими, хотя и знакомыми, и вот так в темноте попасть ключом в замочную скважину — на это требуется привычка и сноровка, а у него не было ни привычки, ни сноровки, и даже в темноте рябило в глазах после посещения окулиста. А лампочка, если не перегорела, то, заведомо, вывернута. Если бы можно было сменить мозги, как электрическую лампочку. Все дело в том, что одним до лампочки, а другим до семисвечника. И если у тебя в голове изначально горела электрическая лампочка, невозможно вместо нее ввинтить семисвечник из ворот раскаяния, возвращения, отклика или преображения. Что сейчас происходит на Преображенке в Москве? Закрыли ли толкучку на Преображенском рынке? Уехала ли она на дачу? Надо было сосредоточиться на одном-единственном дне, а не думать о переводе с одного языка на другой, ввинчивая семисвечник вместо лампочки. Не попав ключом в замочную скважину, он, забыв, что лампочки все равно принципиально быть не должно, пошарил рукой по стене в поисках кнопки лестничного освещения.

Надо нажать кнопку и выдавить из нее каплю света на этаже. Механизм был устроен так, что даже в те немногие часы, когда лампочка не была вывернута, свет гас до того, как ты успеваешь добраться до следующего этажа, и приходилось снова шарить рукой по стене. Когда он вслепую протянул руку, и пальцы наткнулись на неровную дыру в стене, он не успел сообразить, что кнопка выдернута, и вместо нее торчат голые провода. Дернуло током унизи-тельно и больно, как будто действительно дернули тебя за веревочку, навёрченную на кишки. Он согнулся и присел на заплеванные ступени, и скрепка, державшая разъехавшийся шов в штанах, вонзилась в тело. Нечего было ввязываться в космический обмен через железный занавес с дырой в штанах. Если тебя не убьет током, тебя унесет сквозняком на тот свет через дыру в собственных брюках. А потом удар, падение и крик: «А-а-а, господи! Я младенец и говорить не умею». Это постороннее эхо гудит в голове и мешает восстановить генеральную линию разлуки, и заглушает эхо от собственного плача, которого так боишься. Твоя от твоих тебе приносяща от всех и за вся.

Оказалось, что достаточно одного дня, чтобы убедиться в перемещенности собственного лица. Но нам важнее почему-то продолжение разговора любой ценой. И мы ждем следующего дня, чтобы отыскать в нем эхо того, что случилось вчера, чтобы послезавтра вспомнить то, что нам напомнило позавчера. Нет ничего легче, как отождествить себя с тысячелетиями. Легко найти себе место в вечности, на другом свете, на иной планете. В тысячелетии каждому есть и место, и оправдание. Но ты попробуй сохранить свое лицо в одном-единственном дне своей жизни. Легче жить. Легче двери носить за собой. Легче в каждом окне появиться. Новизной недостойной, чужой новизной, опоясаться и заручиться, пока нас не хватятся за посадной судьбой. Соотечественники и соответственницы, продяди и соплемянники, вражане и рожанки, многоунавозжаемый центральнй гомидед и гомосъест! Призраком бреда, как космонистический манифест, в минуты сякостных раздубий о судьях моей неуродины, спешу перервать свой братийный прайвет от имени и по па (помехи) ручению от нашей совместной с Тамаевым и Тутовым ко (помехи) манды, заручившись космической про (помехи) пиской, доношу до самого себя справедливое тр (помехи) ебование служить заветскому заюзу на видке изтории спятил-книжия, как два конца той же цепи, и попавшись на удочку обратной стороной той же медали, идем на поводу, болтаясь, как давно в проруби в той же воде той же мельницы, паче кала смердяй, не вправе употре (помехи) блять тот

язык, который меня же привязывает к позорному столбу, но если не буду вас любить, то выйду сам с котом. И потому жалоба к нам, господам, на такова же человека, каков ты сам: ни ниже, ни выше, в твой же образ нос, на рожу сполз. И в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я тропе, благоденствен, благоденствен, балаганозлобен! Балаганозлобен! Обмен.

Четверган поднялся с заплеванной лестницы и вытащил коробок спичек из кармана. Надо просто зажечь спичку и, углядев скважину, быстро, пока спичка горит, засунуть в нее ключ. На спичечной коробке с кондукторской важностью изображен был шарик пламени. Он был похож на призыв хранить спички вдали от детей или же на светофор про необдуманное перебегание улицы. Но на коробке был призыв не против пожара и не за пешеходную дорожку: «Жена и дочь, зажигай свечу в субботнюю вечерь», было напечатано на спичечном коробке. Гигантский катышек серы, наклепленный на кончик спички, вспыхнул карманной атомной гранатой и тут же задохнулся собственной ниточкой дыма. Он встряхнул коробок: оставалась одна спичка. Вот так все и решается: у тебя остается единственная спичка, железная необходимость, единственный выход, и если не выйти из него целым и невредимым, можно ставить точку. История движется не массовыми чистками Сталина и не коптящими трубами Гитлера, и не литаврами Наполеона, а той крайней необходимостью, которая заставляет сделать еще один шаг вперед. Когда внутри все пусто, все сгорело, и только спичка говорит: зажись! И если человек не сделает этого крошечного усилия, он загнется. И он делает это усилие. И от этого крошечного напряжения поворачивается весь мир, потому что эта точка в этот момент и есть весь мир. Четверган, стараясь не дышать, и заслонив ладонью будущий сквозняк, чиркнул плавным движением спички о коробок. Спичка, несколько раз стрельнув, вдруг разгорелась длинным и широким пламенем. И вдруг Четверган перестал спешить и тревожиться. Он, не торопясь, снова достал ключ и плавно вставил его в замочную скважину. Спичка продолжала гореть. Поправил под планкой испорченного звонка предупреждение на бумажке: «Звонок не работает. Стучите громче». В этот момент сверху послышались мерные удары соседской палки, выбивающей половик. История началась и пошла своим ходом. Спичка погасла, но Четверган уже открывал дверь 16 числа месяца китовраса, в серую субботу, в соловый четверг, в желтый пяток, когда американский астронавт пожал руку советскому космонавту в космической пустоте. Отперев дверь, ее нельзя было просто так распахнуть и войти в квартиру;



открывать ее надо было поэтапно. Сначала надо было приоткрыть ее и сразу засунуть ногу, как можно дальше засунуть ногу. Чтобы как можно дальше отбросить от двери кота, который норовил выскочить наружу.

### 13

Сейчас, выбравшись из кошмара почтовых единиц, в кресле на колесиках Четверган подъехал к собственному пиджаку, засунул руку в нагрудный карман и вытащил новенькую пару очков: значит, длинный путь на почтовой тройке был не бредом. Он надел очки, и вместе с вернувшимся зрению дальним углом комнаты с нининым будильником, как будто увиденным впервые, Четверган увидел вновь, как заново, как будто с марсианской точки зрения, и кучу неразобранных писем на полу, и стены, увешанные бумажками на кнопках, стены, по которым он только что путешествовал от письма к письму, от листочка к листочку, и вот, в завершение этого непрерывного возвращения к повтору, за окном, затемненным железными полосками штор, раздался новый повтор отчаяния: «Аааауп! ааауп!» стал снова надрываться слепой нищий, и на его третьем «ааауп!», похожем на «ау», послышался глухой раскат. Четверган рванулся в кресле на колесиках к окну и дернул за ремень, свернув полоски штор вверх, вместе со вторым раскатом. Он был готов увидеть, как все, что находилось вне этой комнаты, взлетает в воздух. И вздернутые вверх жалюзи не ослепили квадратом обнаженного света. То, что он принял за бешеной силы взрыв, было раскатом грома. Черная ермолка нищего как будто притянула на себя небо, превратившееся в черное пропитанное грозовой влагой одеяло, и земля внизу побелела от последних косых лучей. Гигантская туча как будто опиралась на черную ермолку и должна была вот-вот упасть вниз, на побелевшие от нетерпения камни с вытянувшейся по струнке травой. И началось это с ниточки пыли, закручивающейся вверх рядом с головой нищего, и к этой ниточке потянулась игла молнии, пришила ее к туче, и ниточка дернула ее вниз, срывая верхнюю серую пелену, и вместе с этой сорванной пеленой открылась черная рана, и брызнули первые капли, и лицо Четвергана встретило наконец сопротивление ожившего воздуха, и почтовая открытка за окном почернела, сморщилась и исчезла, и вместо поработающей плоской тишины загрохотала буря с ливнем, разрезав холмы, а потом проглотив

их, и перевернулась вверх ногами, и закрутилась черными веерами ливня, который ветер разворачивал по всем направлениям, до полной неразличимости выметая желтизну и вместо нее устанавливая на скаку черные полчища водопада, которые, постояв на месте, начинали меняться постами, пока не слились в один скачущий танец, который ураганом ворвался в комнату. И пока Четверган успел сообразить, что произошло, столь долго выстраиваемый путь из почтовых бумажек был сорван со стен, как легкий мостик, и письма одно за другим рванулись в воздух. Они взмывали к потолку и, на секунду повиснув в проеме окна, вылетали почтовыми голубями, превращаясь в чаек над черной пучиной, раскосыми треугольниками забелели в ожившем воздухе и уходили вбок и вниз резкими взмахами. И Четверган пытался вернуть их, зовя их обратно взмахами рук и отчаянными прыжками, но они вылетали из горсти и уходили на круги свои, расстраивая столь долго выстраиваемую клетку сопоставлений. Четверган задыхался в этом птичьем метании листочков, и когда они врезались в его лицо, он передергивался в гримасе, не зная, хватать ли это уколывшее его письмо или отпрыгнуть в испуге, давая ему вырваться на волю. Он был оглушен этим птичьим свистом и грохотом за окном, который окружил его со всех сторон, соединившись с грохотом на лестнице, над головой, снизу, и казалось, что вся квартира уже летит вслед за письмами. Четверган мокрыми глазами оглядел опустевшую стену и бросился к входной двери. И отскочил от нее, потому что в дверь стучали. Или стучало в его голове, которая сопоставляла удары в этой квартире, которая ни с чем не сопоставлялась. Он подкрался на цыпочках к дверному глазку, прикрыв его ладонью так, чтобы свет не попадал в глазок, и если кто-то и стоял за дверью, чтобы не видел заглядывающий изнутри четвергановский глаз. Ничего не увидев, Четверган задержал дыхание и распахнул дверь. НА ПОРОГЕ СТОЯЛА МАША.

Она стояла в полутьме лестничной площадки, отделенная театральной рампой распахнутой двери, как будто выступала с подмостков, и только что подняли занавес, или еще нереальнее, еще страннее: как будто в зале маленького кинотеатрика уже осветили белый экран и запустили фильм из будки невидимого киномеханика, но забыли погасить свет в зале, и вот уже мелькают первые кадры, но экран существует не как освещенное окно в другой мир из тьмы кинозала, но одновременно: с продолжающейся плохо освещенной жизнью, как будто сквозь полустертое зеркало — вместе с отражением и тем, что происходит за зеркальной поверхностью.

«Шестнадцатого числа месяца китовраса по новому стилю Ее Императорское Величество осчастливить изволила город Йошкаролаим своим присутствием? Ваше Величество, как вы решились — сюда?» Четверган искривился в поклоне, вместо шляпы описав в воздухе полукруг очками, сдернутыми с переносицы.

«Я чего, не сюда попала?» Язык ее заплетался. «Эта чья квартира? Может, я дом перепутала? А впрочем, плевать. Не в первый раз. На этой улице ни начала, ни конца, и все дома одинаковые. Чего ты, то есть, пардон — вы молчите? Присесть можно?» Не дожидаясь ответа, она шагнула с военной прямоотой в комнату, но этой военной прямооты хватило на два шага, когда ее качнуло, занесло в сторону, и она плюхнулась на тахту, и от этого приземления отлетела в сторону огромная нотная папка, которую она зажимала локтем. Из папки посыпались ноты. В другой руке у нее была авоська, из которой торчал промокший бумажный сверток, вся она была забрызгана дождем, и сейчас пыталась расправить челку, прилипшую ко лбу:

«Я чуток посижу и отойду. Это я после концерта назюзюкалась. И всегда не туда заносит. Всю жизнь номера домов путала. И не туда попадаю. После дневного концерта черт меня дернул ехать в шаварню, и вот опять не туда попала».

«Да нет, вы попали как раз туда, куда надо, хотя я не знаю, откуда вы попали сюда».

«Ты что, ты откуда свалился, ты что не знаешь, что такое шаварня? Я вас, простите, на ты. Это ничего?»

«Это ничего».

«Ну шаварня. На железной палке мясо крутится. Они его так обжаривают и потом отрезают, по мере обжаривания. Ничего, вкусное мясо. Не сравнить, конечно, с Бразилией. В Бразилии, говорят, такие куски мяса дают, что в другом месте за такие куски мяса голову бы оторвали, а в Бразилии это вполне обычная порция. А тут стригут его, мясо, пока оно крутится, а они его по мере обжаривания обрезают, пока оно крутится, крутится. Чего-то у меня в голове слишком все крутится. Запить бы чем-нибудь холодным эту зубровку?»

Четверган тер затылок, который снова занял с прежней отчетливостью, как будто его только что ударили, и он лежал у кинотеатра «Россия», а над его головой и над всей Россией падал снег. Достав из холодильника коробку со льдом, он долго возился с рычажком, освобождающим кубики льда, и в конце концов, стукнув по коробке, подхватил на лету разлетевшиеся в стороны ледышки. Когда он вернулся в комнату со стаканом воды, в котором плавало замороженное воспо-

минание о России, Маша дремала, подтянув плечо под голову. Четверган старался не всматриваться в ее постаревшее лицо, старался не замечать мешков под глазами, неприятно приоткрывшихся пересохших губ. Он склонился над ней и мокрым полотенцем смочил ей лоб. Потом приподнял голову и поднес стакан воды к ее губам.

«Маша», тихонько потряс он ее за плечо.

Она приоткрыла сначала один глаз, потом второй, под которым у нее просвечивал сквозь слой пудры и грима здоровенный синяк. Грим почти сошел, и синяк просвечивал, как будто под пудрой было еще одно лицо.

«Кто меня по имени назвал? Кто меня Машей назвал?» она очнулась и трясла головой. Потом взяла стакан по-детски двумя руками и выпила его сразу, большими глотками, а кусок льда на дне выудила пальцами и стала сосать. «Откуда ты жнаешь, что меня Машей жовут?» сказала она, стараясь не проглотить ледышку. «Ты что, на концертах моих был? Я теперь не Маша, я теперь значусь по-библейски — Мириям. Это все одно, только перевод другой. У меня все пересохло после этой ледышки. Может, выпьем, у меня после шаварни еще полбутылки должно быть. Они все кричат: да брось ты. Но я сказала: я выпивки в общественном заведении не оставляю. И кто прав?» и она, вынув изо рта ледышку, прицелилась и пульнула ее в открытое окно, за которым шумела стена ливня. Потом порылась в авоське и достала оттуда бутылку, выпитую наполовину. Бутылка была заткнута затычкой из газеты. «Впрочем, ты пей, а я погожу. Мне надо на диете быть. Где тут у тебя два нуля? Мне попудриться нужно, извозюкалась вся, и откуда это дождь в такое время года?» и она провела мизинцами, массируя, у себя под бровями, как будто не давая глазам закрыться, боясь снова задремать.

Она шумела водой в ванной, потом он услышал ее шаги в кабинете, куда она попала, перепутала, видно, двери, потом вдруг неожиданный вопль восторга: и она вкатилась в кухню, оседлав кресло на колесиках:

«Если б у меня было такое кресло на колесиках, меня бы здесь давно бы не было: я бы села и поехала, куда глаза глядят. А тут еще каблук сломался. На этой проклятой темной лестнице, что ли? Куда же я со сломанным каблуком пойду?» в одной руке у нее была туфля, а в другой отвалившийся каблук. «И в ванной у тебя пудры нет. Ты что, одинокий интеллектурал? Все пишешь? Ты не бойся, я тебя в постель не заташу».

«Мне бояться нечего: мне дальше ехать некуда, и поэтому я могу уступить это кресло. Я доехал до конечной остановки в тот момент, когда ты постучала в дверь». Четвергана

несло после напитка из авоськи, который своим аптекарским составом жег глаза.

Но Маша его не узнавала.

«Чего ты нервничаешь?» сказала она, глотнув из его стакана. «Я ведь думаю: может, интеллектуал, а у меня синяк под глазом. А пудры нет. Свалилась в чужую квартиру, синяк под глазом. Может, я шокирую?»

«Ни капли. Меня это не шокирует. Это даже кстати. Как ты сказала: свалилась?»

«Но синяк под глазом у бабы должен шокировать. Если этот синяк тебя не шокирует, значит моя морда лица не слишком выделяется на фоне этого синяка? Отличается моя морда от синяка или не отличается?» и она, решительно оттолкнувшись, въехала в стену спиной в кресле на колесиках.

«Конечно нет», с готовностью согласился Четверган. «То есть да, я хотел сказать. Я хотел сказать, что отличается и не шокирует. Шокирует, когда в кофейной машине начинают заваривать чай. Все остальное не должно шокировать».

Но и эти слова ей ничего не напомнили.

«Нечего оправдываться», сказала Маша. «Просто мой синяк уже никого не шокирует. Это мне в порту Акко наставили на прошлой неделе. Это мне моя напарница, Нинка, по морде съездила сонькиной скрипкой». «Нинка-блондинка?» переспросил Четверган. «А какая же еще Нинка? Конечно, блондинка. Правда, я на нее сначала стол опрокинула. Чтобы не лезла к моему мужчине. Это в ресторане было, там Гог де Магог выступает, лучший певец прибрежной полосы. Я ей за него весь бюст груди расцарапала. А она скрипкой по морде лица. Я сначала всем врала, что в машине стукнулась в момент резкого торможения. А потом думаю, чего врать? Наутро просыпаюсь, вся морда сплошной синяк. Скрипачка Соня чуть копыта не откинула: у нас вечером концерт, а у меня синяк поперек. Мы втроем выступаем, не слыхал? В промежутках между мной и Натальей Сонька исполняет классических композиторов на фортепьяно. А я пою русские романсы: ты гори, догорай, моя лучина, догорю с тобой и я-я-я», протянула она срывающимся, слегка шепелявящим голосом.

Она закашлялась.

«Единственное, что я знаю про порт Акко — это то, что его не смог взять осадой с моря сам Наполеон Бонапарт», затараторил заплетающимся языком Четверган, чтобы заглушить повисшее эхо от «ты гори, моя лучина, догорю и я». «Я не могу слушать классических композиторов в живом исполнении. Когда я сижу на концерте, вместо того, чтобы слушать, я все время думаю только об одном: как исполнитель

умудряется ставить пальцы на нужное место? А если он уж так прямо машинально и автоматически ставит палец на нужное место, тогда зачем ему ноты? Им что, нужно теоретическое подтверждение, что они палец туда, куда надо, поставили?»

«Я в нотах тоже ни бельмеса», радостно согласилась Маша. «Я ноты для вида ношу: чтобы перед антрепренером цену набить, и чтоб видел, что, мол, по нотам поет, профессионалка. Мне ноты конечно помогают: под ними всегда слова песни написаны, я слова всегда забываю. Вот погляди», и она, разложив на коленях ноты, стала водить пальцем под нотными линейками, повторяя по слогам: «До-вела-ме-ня меня кручина, подколотная змея». Это я пою. А в промежутках Соня исполняет Шопена».

«Я не могу серьезно слушать Шопена», сказал Четверган, разливая анисовую гадость по стаканам. «Когда я слушаю Шопена, у меня перед глазами Жорж Занд с кальяном».

«Кто с кем?» нахмурилась Маша.

«Жорж Занд. С кальяном. Она курила кальян. Она сидела с кальяном в зубах и обкуривала дымом Шопена. А тот сидит бледный от чахотки, кашляет в клубах дыма, но глядит на нее, продолжая стаю клавиш кормить с руки, а она курит и глядит в пространство. И меня начинает разбирать смех».

«Чего ж тут смешного? И долго она его так обкуривала?»

«Он был ее очередной жертвой. Она была роковая женщина. Вы помните, вы все, конечно, помните».

«Это из Паустовского, что ли? На концертах я романсы пою, а Наталья Паустовского читает наизусть. Поражаюсь ее памяти. Она, правда, один и тот же рассказ вот уже год повторяет. «Снег» называется. Не читали? Я всегда плачу, вот уже год слушаю и все плачу. Как зимой в эвакуации женщину в далекой деревне поселили. А хозяин-старик умер. А сын его все пишет ему письма с фронта. И она эти письма стала читать. И в этих письмах он свой дом вспоминает и тропинку расчищенную к крыльцу. И она все как в этих письмах устроила. И вот когда он вернулся, все оказалось, как в его мечте, про которую он в письмах писал. И она его все ждала, пока снег падал, падал».

«А у меня все получилось наоборот. Меня тут не за того приняли. Но зато пришла та, про которую я читал в письмах».

«У нас с Шопеном и Паустовским аналогичная история. Каждый раз, как в провинцию едем выступать, приходится объяснять, что нас трое, а не пятеро. А нам говорят: концерт из пятерых артистов не можем оплатить. Мы говорим: нас трое, а не пятеро. А они: а как же, у вас же на афише написаны еще Шопен и Паустовский. Мы говорим: они давно умерли. А нам говорят: что же, концерт отменять?»

В общем я Наталье сказала: вы, конечно, носитесь со своим Паустовским и Шопеном, но без русских романсов ни хрена у вас сборов будет. И она мне синяк так замазала, что не придерешься. Я на Наталью не в обиде. Вот мы мириться после концерта в шаварню и заехали. Как же я в этой квартире оказалась?»

«Приблизительно тем же путем, что и я. Мы начали прогулку из одной и той же «Дружбы». Кого-то стукнули по голове раньше. Кого-то позже. Но удара надо было ждать. Это такое выпадение из рая, как из окна квартиры, в которой происходит большой четверг. Или из окна поезда, когда четверг переместился на колеса. И этот четверг на колесах начался в заведении «Дружба». В кавычках».

«Чего ты мне «Дружкой» тыкаешь?!» вдруг закричала она, и Четверган ошарашенно на нее поглядел. «Да у меня вся жизнь, как эта «Дружба», даже здесь: муж без работы сидит, я русские романсы пою, и опять с Натальей водку жрем, только в другом климате. Так и знала, что мне эту «Дружку» припомнят. Может, мы в этой «Дружке» и встречались. Мало ли, кто там бывал. У вас свои филера, а у меня свои филера. И я от этой «Дружки» всю жизнь бегаю. Я ведь на билет в Америку уже денег набрала. А муж раздумывать стал. Пока он думал, тут инфляция в два раза, и никогда я теперь на билет не наберу. Я говорю: чего думать-то? А он говорит: небеса там не те. А здесь — те, что ли? Где тут Млечный путь? Я как иду домой, гляжу на небо и не понимаю: где тут у них Млечный путь?»

«У кого «у них»?»

Она сидела спиной к раковине и вдруг рассчитанным движением, не глядя, забыв, что она в чужой квартире, швырнула через плечо окурочку точным движением, которое она проделывала уже многие годы, сидя, наверное, у себя в кухне. И окурочку, описав точную траекторию, приземлился в раковину, потому что, в сущности, разные квартиры мало чем отличаются. Четверган проследил траекторию окурочка и сказал:

«Но ведь все равно мы больше никогда в Москву не попадем. А если мы никогда впредь не попадем туда, откуда мы решили навсегда уйти, какая разница, куда швыряться окурками и где разбрасывать пепел?»

«Москва? Да видала я в гробу вашу Москву! Я там, кроме этой «Дружки», ничего и не видала. Как переехала в Москву, меня Наталья сразу в эту «Дружку» повела, и больше я оттуда не выходила. Травиться пыталась. А Налитухин мне вместо яду подсунил пурген. Он ко мне тогда и прилип: спаситель. Клиентов стал ко мне водить. Он приводит клиента в «Дружку», я его охмурую, а когда выходим,

я в уборную как будто, а в этот момент его под ручки и деньги наши. У меня одна забота была: охмурить и проверить, есть ли деньги. Если б я своего мужа нынешнего не встретила, давно была б на пересылке. Москва ваша!»

«И когда же ты Налитухина в последний раз видела?» протрезвев, спросил Четверган.

«Да чего он тебе сдлся-то? В милиции я его в последний раз видала. В милиции, понял? Это когда у нас с Натальей привод был. Нас один мужчина к себе на квартиру пригласил. Пока я с мужчиной занималась, Наталья в ванную пошла. Вдруг мы слышим: крик на всю квартиру, а квартира — коммуналка. Ну, я сразу поняла, что дело плохо, потому что у Натальи привычка такая все прихватывать, что плохо лежит, чтобы нам с ней на дому было что поесть. И теперь, думаю, попалась. Выскакиваем на кухню и видим портрет: стоит моя Наталья, а кругом нее визжат соседи и обкручивают ее кухонными полотенцами. А из декольте у Натальи бьет хвостом живая шука. Она как из уборной вышла, заглянула на кухню и заметила там в тазике живую шуку. Она быстро и сунула шуку за пазуху и собиралась домой драпануть: ушицы сварганить. Только она шуку засунула за декольте, шука трепыхаться стала от духоты и укусила Наталью за бюст груди. В общем, то ли шука, то ли Наталья опрокинули большое количество кухонной посуды, и на грохот соседи сбежались. И обвязывают Наталью кухонным полотенцем, чтобы шука не выскочила из декольте как вещественная улика. А Наталья кричит: это вас, кричит, надо в милицию, поскольку вы, кричит, оставляете на видном месте животное, угрожающее безопасности бюсту женской груди. И когда нас привели в милицию, я ее поддержала, и мы милиционерам обе понравились и провели там всего одну ночь, а потом нас отпустили. Без шуки. Там и Налитухин был — как задержанный. Он, говорили, украденной шапкой торговал на Преображенской толкучке. Но я сделала вид, что с ним не знакома».

И Четверган сделал вид, что не искал в снегу шапку с разбитой головой у кинотеатра «Россия».

«Ведь если бы всего этого не произошло, мы бы сейчас не сидели бы и не разговаривали. Все украденное возвращается. Чтобы состоялось продолжение старого разговора. Но кто же знал, что вместе с разговором возвращаются люди? И где все окажутся в конце этого сопоставления: в Иерусалиме или в Москве?»

«Да чего ты мне Москвой с Иерусалимом плешь проел? Ты знаешь, откуда я родом? Я из города Кемь. Ты знаешь, что значит КЕМЬ? К такой-то матери: к е. м., так царь Петр



Великий нас записал. Куда же мне возвращаться?»

«У Ревизора Движения на станции Кемь выяснялась возможность прицепки вагона прямого следования, задержавшегося на станции Новый Иерусалим. Только я не помню, когда это было и с кем?»

«Много ты понимаешь со своими прицепками. Ты вот знаешь, что такое коса? Не волосы, а на реке — коса? Ты вот тут заперся со своими письмами про Москву с Иерусалимом, а знаешь ли ты, что такое коса?»

«Это такой песчаный мыс. И его во время половодья затапливает?» Четверган не понимал, куда она клонит.

«Это ваша московская коса. А в Кеми коса — это когда сваи далеко в воду вбиты, а между ними камни навалены. На нее ходить опасно, жуть как опасно, особенно если ветер и на озере волнение. Отец моему младшему братишке в ту ночь, которую не забуду, сказал: не ходи сегодня на косу гулять. А братишка был малец упорный: пойду и все тут. Отец говорит: не ходи. А он: нет, пойду. И пошел. И больше мы нашего братика и не видели. И не увидим больше. Ты вот про разговор тут говоришь, а есть смерть с косой, и коса эта так косит, что сколько ни плачь и ни колотись, а братишка не вернется».

«Но это называется не коса тогда, а мол. Или пристань», не зная, что возразить, пробормотал Четверган. Но она не слушала:

«Никого не увижу. Когда братишку водой унесло, отец стал из дома уходить. Траву косил все лето. С утра уйдет и все косит, косит, пока не упадет. Придет домой, ляжет на кровать и в потолок глядит. И никогда я теперь не узнаю, глядит он теперь в потолок или уже ничего больше на свете не видит. Кемь моя теперь на небесах. В эту Кемь мне и возвращаться. А в той Кеми я ничего и не видела. Идешь за грибами и вдруг раз, нога на кость человеческую наступит. А нам не страшно. Потом тротуар сделали и шоссе-ку. Мы в школу ходили, мимо барачков. Думали, что склады. А это, оказывается, не склады, а лагерь за колючей проволокой. У меня сосед теперь, так он, оказывается, там всю жизнь тачку возил, пока я в школу ходила. Моя подружка, из четвертого класса, все фотографию актера Стриженова у меня выпрашивала, мне из Москвы прислали. Я ей давать не хотела. Тогда она говорит: давай меняться. Я говорю: на что? А она говорит: я тебе настоящий человеческий череп принесу. И на следующий день принесла мне череп на лопате. Мы так и обменялись: она мне череп на лопате, а я ей фотографию на ладони протягиваю, баш на баш. Там, оказывается, вся земля костями проросла. Может, мой

братишка на косу пошел, когда эти кости увидал? Зачем он на косу пошел, когда такая буря на воде?»

Она порылась в авоське, достала кошелек и вынула из него фотографию. Поглядела на нее и протянула Четвергану. Это была фотография не младшего брата, а, наверное, сестренки, с распушенной копной волос, со взглядом, умоляющим фотографа не испортить ее победной внешности и до того сомневающимся в собственной победной внешности, что за одно такое сомнение этому лицу и было даровано выражение вечной надежды на будущие победы и несомненная вера, что эти победы будут продолжаться вечно. И поэтому Четверган вздрогнул, когда, подняв глаза от фотокарточки, заметил, с каким цепким пьяным напряжением следила Маша за его взглядом, кружащим по фотографии.

«А ведь это я. Это я, когда еще в Кеми жила. Изменилась?» и не удержавшись, зная, что обречена заранее, все-таки не смогла преодолеть защитного жеста всякой женщины и поправила челку. Поправила машинально, без зеркала, как раз тот локон, который всегда самый упрямый и известен своей непокладистостью, и поэтому рука всегда поправляет именно его, поправляла и тогда, когда они сидели друг против друга в заведении «Дружба», и он еще не знал, что она была тогда в парике, а сейчас он с трудом узнавал в этой полутюремной стрижке и опухших глазах ту вечную надежду на вечные победы, которая вечно останется только на фотокарточке. Он выжал из себя улыбку, но она поднялась и стала собирать ноты обратно в папку. Потом нагнулась и стала искать оторвавшийся от туфли каблук.

Четверган отставил стакан, потом прицелился и запустил окурок в раковину, подражая ее движению. Но не попал. Потом поднялся, подобрал окурок и, когда разогнулся, глаза у него были мокрые, и он потерял их тыльной стороной ладони, как будто жгло в глазах. Он закашлялся, то ли от сигаретного дыма, попавшего в глаз, то ли от выпитой жгучей аптекарской смеси. И все вдруг стало ясным и прозрачным, и он стал говорить, смутно догадываясь, какое слово будет следующим:

«Потому что мы все время делаем не то, что хотим. И хотим не того, чего в действительности желаем. Мы все время боимся этого пожелать, это кажется нам невозможным, нелепым, смешным, бессмысленным, и мы не можем поверить этому нашему самому настоящему желанию, мы всегда сомневаемся в его истинности, и поэтому не желаем его до самой последней веры в то, что это желание исполнится. И тот, кто все исполняет, он ждет нашей последней истинной веры в то, чего мы действительно хотим, и когда мы поверим в это наше хотение, оно исполнится».

И в этом припадке пьяного прозрения он вдруг заметил ее вконец запутавшийся взгляд и сразу испугался собственной правды, испугался, что она ему поверила, что он сам себе поверил, и что все действительно зависит от него, и он замолчал испуганно, а потом захотел сказать что-нибудь ироническое, но было поздно, потому что ее губы раскрылись, и уже вздох предшествовал тому вопросу, на который он не смог бы ответить. И тут зазвенел будильник. Нинин будильник. И они слушали этот звон, не зная, где он, и когда он отзвенел, Четверган вдруг понял, что все звуки выключились: не кричал слепой за окном, не шумел грозовой ливень, не слышно было стука на лестнице. Не слышно было ничего. Не слышно было завываний кота на балконе. Собачин молчал?

И Четверган бросился на балкон. Картонные ящики с бутылками были выстроены аккуратными ступеньками, ведущими к квадрату балконной форточки. Непонятно, как выстроил кот эту лестницу к свободе, но до форточки оставался короткий кошачий прыжок, который Собачин и совершил, потому что вместо стекла сияла на проступившем сквозь уходящую тучу солнце черная дыра. И эта черная дыра в космосе твердила о том, что из квартиры ушел тот, без кого он не оказался бы в этой квартире в качестве кошачьего сторожа, и письма не были бы перепутаны, и если бы он не стал читать старые письма в новом порядке, сидя в кресле на колесиках, он не вспомнил бы другое кресло и не вспомнил бы ПРО НЕЕ, он не захотел бы истинно и с верой до конца в собственное хотение, ЧТОБЫ ОНА ПРИШЛА. А остался бы с жалобой нам, господам, на такого же человека, каков ты сам: ни ниже, ни выше, в твой же образ нос, на рожу сполз.

«Его надо вернуть», прошептал Четверган и бросился наружу.

Она плохо понимала, что, собственно, произошло, но старалась не отставать, хотя и задыхалась, но подражала его крику, когда он звал кота, и двойное эхо от их голосов, как две тени, прыгало с холма на холм, когда они сбегали по лестницам с пустынной улицы. Он держал ее за руку, потому что туфель без каблука скользил по камням, влажным после ливня, а они перепрыгивали с камня на камень с фанатичным упорством людей, которым цель бегства не ясна, и разъяснения не предвидится, и именно поэтому надо двигаться вперед и вперед. Ему казалось, что нужно забежать за вот еще один соседний холм, и с него они увидят беглеца, который ведь и убежал только для того, чтобы все бросились его искать. Возможно, что они крутились на одном месте, но у этих холмов обманчивая высота, и разбросаны они были так, что, спустившись с одного холма, ты уже не видишь предыдущего,

и дом исчез из виду, как будто они находились за тысячу километров от него. И тут она вскрикнула, вцепившись в его плечо: туфель без каблука скользнул по влажному камню, и она сбила палец и, наверное, подвернула ногу в самом больном месте, у щиколотки, потому что присела, и когда попробовала подняться, снова резко вскрикнула и сказала, что она не может шевельнуть ногой. И ногу отвести для шага, ходьбу составить из шагов. Откуда он возьмет отвагу понять, где они оказались? Он настолько привык враждовать глазами с несправедливостью дневного света, захватывающего последний твой тыл, уничтожающего каждый намек на существование твоей тени, отбирающего надежду на уход, на побег, на другую сторону, что сейчас он принимал то, что он видел, только на одном основании: это был другой мир. Вместе с ураганом и ливнем исчезла и желтая ненавистная почтовая открытка, которая была наклеена вместо тех холмов, которые он видел сейчас собственными глазами. Лучи шли не сверху, а изнутри, и поэтому не нападали, падая, как подстреленная хищная птица, а ласкали, как лампа под абажуром на дачной террасе, когда открываешь калитку под вечер и идешь по тропинке к дому. Когда он нагнулся, чтобы помочь ей подняться, в лицо дохнуло запахом скошенной травы, или осоки, как будто недалеко была река, и наверное от нее шли туманы. И у тумана были знакомые очертания, и Четверган улыбнулся кустам бузины, сползающим с опушки, и зашумевшей над головой простреленной светом кроне орешника, и осыпающимся светлякам желтой малины, запутавшейся на изгороди из уходящих солнечных лучей, и крохам земляничного родства, цепляющимся за верхушки уходящих грозовых облаков. И когда ушло последнее облако, сквозь горбы холмов мелькнула перед глазами до оскомины зеленая долина. Это и был Иерусалим, который здесь, а не там.

«Куриная слепота?» сказала Маша и нагнулась за бедным цветком под каблуком. «Как же мы теперь домой вернемся?»

И как будто отвечая на этот вопрос, совсем рядом или очень далеко зазвенели колокольчики. В этом звоне было предупреждение, и когда они оба беспомощно огляделись, взгляд пересекла бесшумная тень, скользнувшая в воздухе. От испуга до короткого смеха не прошло и вздоха: на плечах у Четвергана сидел Собачин. Колокольчики у него на шее вздрагивали на шелковых ниточках ветра, и был он похож на китайское чудовище с бумажной драконьей головой: потому что не видно было ни его усов, ни его двусмысленных глаз, ни ушей, похожих на чертовы рожки. Как будто вместо головы у Собачина торчала кипа исписанных листочков, заткнутых под ошейник с колокольчиками. И в этот букет

примешались почтовые конверты с марками, изображавшими и последний день Помпеи, и возвращение блудного сына, и международное сотрудничество в космосе. И потянув за один из исписанных листков, Четверган узнал почерк Нины, смытый дождем. Четверган, замороженный податливостью Собакина, потянул в свои руки эти унесенные ураганом письма, но кошачьи зубы не отпускали добычу: Четверган не сомневался теперь, что они были собраны в том же порядке, в каком висели на стене до того, как были унесены могучим ураганом и развеяны по холмам. И Четверган впервые за долгие годы знакомства с Собакиным провел по его блестящей черной спине ладонью, сулящей только благодарность, и тихонько назвал его настоящим именем Себастьян. И тот бесшумно прыгнул вниз, и как будто оборачиваясь, повел их по невидимой тропинке между холмами к дому. Маша осталась внизу у «Ворот преображения», а Четверган бросился наверх.

Когда он вынес кресло на колесиках, чтобы довести хромающую Машу до ее собственного дома, улица была пуста. Ее нигде не было. Он стал звать ее. Она не откликнулась. Она ушла своей дорогой. Она появилась как будто только для того, чтобы доказать, что слова сбываются. Слова сбываются, но не жизнь. Она ушла, так и не узнав его. Четверган оглянулся и увидел, как кресло на колесиках, набирая скорость, уезжало вниз по улице Таити. В кресле сидел кот Собакин, и Четвергану показалось, что он помахал ему на прощанье лапой. И Четверган не бросился догонять это кресло, которое мчалось уже на горизонте, обгоняя народы и государства. Он был один на всех путях.

\* \* \*

Я вернулся в тот день с Мертвого моря.

Я бежал вниз по улице Таити, боясь опоздать, как будто должно случиться нечто, что я обязан предотвратить, и если опоздаю, никогда себе этого не прощу, потому что только я знал, что это могло случиться. В руках у меня было письмо, я сжимал его всю дорогу в руке, не зная, куда его сунуть. Я нашел это письмо, когда вернулся с Мертвого моря, где лелеял свою укорачивающуюся в одиночестве тень под восходящим к зениту солнцем. Это было первое письмо с того света, адресованное именно мне и никому другому. И это письмо делало меня прямым соучастником его жизни, потому что если бы не я, он никогда бы не узнал того, к чему действительно двигался, не вставая с кресла на колесиках. Такое письмо получаешь раз в столетие, чтобы вспомнить о том, что кроме слов о жизни, есть еще и

такие слова, которые сами по себе и есть жизнь, а ты просто почтальон этих слов. На конверте алела наклейка «нарочным-экспресс» с обратным адресом Нины, и я оказался этим нарочным:

«Вы единственный человек, к которому я сейчас могу обратиться, потому что только вы были свидетелем того разговора, с которого все и началось. Помните ли Вы наш разговор о Четвергане у кинотеатра «Россия», наш единственный с Вами разговор? Когда он неожиданно уехал с дачи и поехал на проводы Тамаева, а я позвонила Вам, и мы тогда еще смотрели идиотский детский фильм? Вы должны помнить, я это видела по Вашим глазам. Но Вы не знаете, что когда мы разошлись, и я шла по тротуару, я вдруг увидела его в окне троллейбуса, и троллейбус шел совсем рядом. И я перехватила его взгляд, и он не заметил, что я видела, как он на меня смотрит. Он смотрел на меня, как на чужого человека. Он не глядел на меня, как глядят в собственное отражение, как Вы тогда убеждали меня в том разговоре. Он глядел, как слепой. Или как глядят на слепого, не догадываясь, что слепой все видит. Вы тогда сказали еще, что он бежит от меня, как от самого себя, и я ответила тогда, что если я превратилась в его двойника, я должна бежать от него. Но вот когда я перехватила его взгляд из окна троллейбуса, этот слепой взгляд меня как будто ударил, так оттолкнул, как будто все эти семь лет я ему навязывалась в двойники со своей фальшивой преданностью. Понимаете, когда мы начинали его обсуждать, то на одно слово можно было ответить другим словом, и все шло мимо, и казалось, что ничего страшного не происходит. Но ведь на пощечину можно ответить только слезами. Или пощечиной. У меня не было своих слов, чтобы ответить на эту пощечину, потому что все слова были его. У меня не было слез, потому что я разбазарила их на слова прежде, чем пришло время плакать. Я просто не знала, куда деться от самой себя, и шаталась по городу, потому что боялась появиться и дома и на даче, чтобы не встретить его: я его ненавидела в этот день, потому что ненавидела и презирала себя, то есть его, того его, который превратился в меня. Так я промучалась до поздней ночи, звонила, не помню кому, делала вид, что должна по делам ехать на другой конец города, а когда вылезала из метро, не могла понять, где я оказалась. В конце концов, уже совсем поздно, уже за полночь, очутилась снова у «России», и вдруг пошел снег. Ведь в этот день распустились листочки, и вдруг снег, а «Россия» была освещена какими-то вспышками,

хотя уже давно троллейбусы не ходили, и окна были темные, и фонари, а тут вдруг снег и как будто фейерверк, и из гигантского кинотеатра крики и смех, прямо шабаш. Я думала, что я схожу с ума. Я все это объясняю Вам, чтобы Вы поняли, в каком я была состоянии, и не отнеслись к тому, что произошло потом, слишком безжалостно. Мне нужно было, мне было необходимо, чтобы меня кто-нибудь пожалел в этом снегу.

И тут из стеклянных дверей «России», сквозь хлопья снега, вышел навстречу мне Налитухин. Знаете ли Вы, кто это такой? Я знала только одно: что именно к нему Четверган уходит от меня, именно с ним стеклялел его взгляд, с которым смотрел он на меня, как на пустое место. А Налитухин был пьян, и лез целоваться, и распоряжался тем фейерверком, который вспыхивал за стеклянными дверьми. Короче говоря, я вошла вовнутрь. Я не буду оправдываться тем, что меня напояли, что через четыре минуты я уже не понимала, где нахожусь, что вокруг творилось нечто неопишемое: танцы-шманцы и все остальное. Я знала, куда и на что я иду. И это произошло в темноте, и произошло зло и весело. Я хочу сказать, что после этой ночи я была беременной. Четверган уехал, когда я была беременной. Все эти месяцы я была беременной, и ни словом не упомянула об этом ни в одном письме. Потому что я не знала, от кого ребенок. И до сих пор не знаю. Я не видела лица того, с кем это произошло. Точнее, я не осмеливаюсь поверить в то, о чем я догадываюсь. И сейчас я подхожу к тому, из-за чего я пишу сейчас Вам, и что только Вы можете поправить. Ребенок родился вчера, и пишу я Вам прямо из больницы, и сейчас я хочу знать правду. Вы должны спросить Четвергана: был ли он в ту ночь, о которой я рассказываю, в «России»? Это первый вопрос. Спросите его сначала: был или не был. И если он скажет — да, тогда спросите его, помнит ли он следующий разговор в темноте: она спросила: «Куда неприличнее целовать, в ухо или в губы?», и он ответил: «Самое неприличное — это варить чай в кофеварке». Потому что именно этот вопрос я задала тому, с кем я в ту ночь — короче, от кого я была беременна с той ночи. И когда голос в темноте ответил мне про чай и кофеварку, я узнала и голос, и интонации, и манеру Четвергана. Я не могла тогда сказать ни слова. Я не могла сказать ни слова и потом. Во-первых, я была настолько пьяна, что не уверена, был ли такой обмен репликами. Во-вторых, если это был действительно Четверган — то все вышло чудовишно и непоправимо. Ведь он мне изменил. Ведь я ему изменила. Ведь мы друг другу изменили, даже если переспали именно друг с другом. И все эти месяцы я носила в себе ребенка измены и предательства, хотя это его и мой ребенок. ЕСЛИ это мой и его

ребенок. И я хочу это знать. И я хочу, чтобы он это знал. Я прошу Вас, очень прошу. Потому что от его ответа зависит мое решение: ехать к нему или оставаться здесь, с чужим ребенком. Да, и еще: передайте ему, что кресло я выбросила».

Когда я добежал до дома с письмом в руке, Четверган сидел перед «Воротами преображения» на краешке тротуара. Я задал ему два поставленных прямо вопроса, и он, ничего не спрашивая, ответил на них, как будто давно ждал человека, который его об этом спросит. И тогда я передал ему конверт. Тот конверт, в котором письмо пришло по почте, я оставил себе на память. Нинино письмо я переложил в новый конверт, единственный чистый конверт, который нашелся у меня в доме: просто неиспользованный советский конверт без марок, который чудом сохранился еще с Москвы. Четверган вынул письмо и повертел пустой конверт в руках. Потом отогнул верхний клапан и заглянул вовнутрь. Потом усмехнулся, пробормотав: «Я думал, что это цензурные номера. А оказывается, такие же цифры выдавлены и на новых чистых конвертах. Значит, это не печать цензора: это обыкновенный номер фабричной серии, как на деньгах». Все это было репетицией перед генеральным чтением. Он, оглянувшись, развернул письмо Нины, и я отошел в сторону. Когда он кончил читать, он подошел ко мне и тронул меня за плечо:

«У меня родился ребенок, ты слышишь?» прошептал Четверган. «Сюжет кончился, и нам с ней пора идти друг другу навстречу. Значит, еще не оторвались от кубка, еще тянут к себе клейкие листочки, голубое небо и любимая женщина».

«Ты забыл упомянуть великие могилы», поправил его я, и мы вернулись в тот свой из не своих домов, и мы были впервые вдвоем, и за нами были все, и он разложил размытые дождем письма, и стал говорить, улыбаясь. Он говорил всю ночь, перескакивая и повторяясь, и никак не мог свести концы с концами.

Иерусалим, 5738 год.

Судный день.

Четверг.



## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

- RUSSICA-81.** Литературный сборник. Поэзия, проза, публицистика, мемуары, публикации. 400 стр. Тв. пер. \$25.00. Бум. обл. \$20.00.
- АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.** Салат из булавок. Рассказы и фельетоны. 224 стр. \$9.95.
- ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ.** Рука. (*Повествование палача*). Роман. 314 стр. \$16.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Железная женщина. Роман-биография. 402 стр. \$18.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Курсив мой. Автобиография. Издание второе, исправленное и дополненное; с новым предисловием автора. В двух томах. 708 стр. Тв. пер. \$48.00. Бум. обл. \$28.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Стихи. 1921—1983. 120 стр. \$7.95.
- ИОСИФ БРОДСКИЙ.** Римские элегии. 32 стр. \$5.00
- АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР.** Полдень и полночь. Стихи и переводы. 137 с. \$7.95.
- НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.** Чужие камни. Стихи 1979—1982. 70 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ ДЕМИН.** Блатной. Роман. 364 стр. \$18.50.
- МИХАИЛ ДЕМИН.** Перекрестки судеб. (Две повести: «И пять бутылок водки» и «Тайны сибирских алмазов»). 307 стр. \$17.00.
- НОДАР ДЖИН,** сост. Книга еврейских афоризмов. 406 с. \$16.50
- ЗИНОВИЙ ЗИНИК.** Перемещенное лицо. Роман. 238 с. \$15.00.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Сети. Первая книга стихов. Берлин, 1923. *Переиздание.* 208 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Нездешние вечера. Стихи 1914—1920. Петербург, 1921. / *Переиздание.* 136 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. Книжные украшения М. Добужинского. Петроград, 1919. / *Переиздание.* С новым предисловием Геннадия Шмакова. 250 стр. \$9.95.
- ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВ.** У них в Мичигане. Рассказы. 111 с. \$12.50.
- ЭСТЕР МАРКИШ.** Столь долгое возвращение. 320 с. \$16.50.
- НОВАЯ НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЧАСТУШКА.** Сост. В. Козловский. 405 стр. Тв. пер. \$20.00. Бум. обл. \$15.00.
- МИХАИЛ НИКОЛАЕВ.** Детдом. Литературная запись Виктории Швейцер. 126 с. \$12.50.
- БОРИС НИКОЛАЕВСКИЙ.** История одного предателя. Террористы и политическая полиция. Берлин, 1932 г. / *Переиздание.* 374 стр. \$12.00.
- СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС.** Иероглифы. Первая книга. 250 стр. \$8.95.
- АЛЕКСАНДР РАДАШКЕВИЧ.** Шпалера. Первая книга стихов. Послесловие Натальи Горбаневской. 110 стр. \$7.95.
- АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ.** Россия в письменах. Том 1. Берлин, 1922 / *Переиздание.* С новым предисловием О. Раевской-Хьюз. 222 стр. \$7.95.
- АНДРЕЙ СЕДЫХ.** Старый Париж. Монмартр. Иллюстрации Б. Гроссера. Париж, 1925—27. / *Переиздание.* 366 с. \$16.00.
- Н. А. ТЭФФИ.** Городок. Рассказы. С новым предисловием Эдит Хейбер. 204 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$7.95.
- ЛЕВ ХАЛИФ.** Молчаливый пилот. Роман. 172 с. \$12.50.
- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Собрание стихов. Париж. 1927. / *Переиздание.* 184 стр. \$7.95.
- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Избранная проза. С предисловием и комментариями Н. Берберовой. 320 стр. \$9.95.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Избранная проза в двух томах. Предисловие И. Бродского. 2 тома, 835 стр. \$55.00.

- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 1. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия). Виктория Швейцер. «Своими путями». (Биографический очерк). Стихотворения 1908—1916 гг.: «Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи». «Версты 1» (1916). Стихи, не вошедшие в сборники. 402 стр. Бум. обл. \$25.00. Том 2. Стихотворения 1916—1922 гг.: «Версты 2». «Лебединый стан». «Стихи к Блоку». «Психея». «Ремесло». Стихи, не вошедшие в сборники. 420 стр. Бум. обл. \$25.00. Том 3. Стихотворения и переводы 1922—1941 гг.: «После России». Стихи и переводы 1922—1941. Воспоминания М. Слонима и Л. Чуковской. 545 стр. Бум. обл. \$32.00. Том 4. Поэмы. 392 стр. Бум. обл. \$28.00.
- АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ.** История парикмахерской куклы и другие сочинения Ботаника Х. Предисловие А. Бахраха. Очерк творчества Л. Черткова. 450 стр. \$15.00.
- ЕЛЕНА ШВАРЦ.** Танцующий Давид. Стихи разных лет. 122 с. \$7.95
- АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР.** 2 × 2 = 4. Стихи. 1926—1939 гг. Биограф. заметка А. Головиной. Предисловие проф. Ю. П. Иваска. 104 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$6.95.
- Access to Resources in the '80s: Proceedings of the First International Conference of Slavic Librarians and Information Specialists.** Ed. by Marianna T. Choldin. 110 p. \$7.50.
- EDWARD KASINEC.** Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays. 180 p. \$13.50.
- WOJCIECH ZALEWSKI.** Russian-English Dictionaries with Aids for Translators. A Selected Bibliography. 144 p. \$7.50.
- WOJCIECH ZALEWSKI.** Fundamentals of Russian Reference Work in the Humanities and in Social Sciences. 170 p. \$13.50.

## ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

- НИНА БЕРБЕРОВА.** Люди и логи. Русские масоны XX столетия.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Биянкурские праздники и другие рассказы.
- МИХАИЛ ДЕМИН.** Таежный бродяга. Роман.
- ЮРИЙ ИВАСК.** Повесть о стихах.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 5. Драматические произведения.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Новые тексты и материалы. Выпуск 1. Письма.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Избранная лирика.
- ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ.** Крыса. Подготовка текста и комментариев Роналда Вруна.
- EUGENE J. KISLUK and EUGENE BESHENKOVSKY, EDS.** Vive la Pologne! The Henryk Gierszynski Collection. Ca. 500 p.
- BOSILJKA STEVANOVIC and VLADIMIR WERTSMAN.** Free Voices in Russian Literature, 1950s — 1980s: A Bio-Bibliographical Guide. Ca. 500 p.

## МАГАЗИН «РУССИКА» ПРЕДЛАГАЕТ

- СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. Двадцать писем к другу. США, 1981. 216 с. \$10.00.
- БОРИС БАЖАНОВ. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. 2-е издание. США, 1983. 319 с. \$15.00.
- ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН. Играем блюз. Повесть. США, 1983. 96 с. \$7.00.
- ИНДИЙСКИЕ ТРАКТАТЫ О ЛЮБВИ. США, 1977. 133 с. \$4.00.
- НИКОЛАЙ КАТЕНЕВ. Костя Попандопуло и я. США, 1977. 325 с. \$6.95.
- ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ. Красная площадь. Диссидент и чиновника. Повесть и рассказ. США, 1983. 189 с. \$8.00.
- ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ. Мы встретились в раю. Роман. США, 1983. 313 с. \$17.50.
- КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. В 6 томах. Израиль, 1976—  
Том 1. Аарон — Высоцкий. 756 кол., илл., тв. пер. \$25.00.  
Том 2. Габбай — Измир. 868 кол., илл., тв. пер. \$30.00.  
Принимается подписка на льготных условиях.
- ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВ. Владимир Высоцкий и другие. США, 1983. 253 с. \$17.50.
- ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Дневник неудачника, или Секретная тетрадь. США, 1982. 249 с. \$12.50.
- ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Это я — Эдичка. 2-е издание. США, 1982. 281 с. \$12.50.
- ДАВИД МАРКИШ. «За мной!» Записки офицера-пропагандиста. Израиль, 1984. 66 с. \$4.00.
- ДАВИД МАРКИШ. Пес. Роман. Израиль, 1984. 284 с. \$14.00.
- ДАВИД МАРКИШ. Шуты, или Хроника из жизни прохожих людей (1689—1738). Израиль, 1983. 285 с. \$14.00.
- ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ. (Андрей Платонов. Повесть и рассказы). США, 1983. 180 с. \$10.00.
- СЕМЕН РЕЗНИК. Дорога на эшафот. США, 1983. 127 с. \$8.00.
- ВЯЧЕСЛАВ СЫСОВЕВ. Ходите тихо, говорите тихо. (Записки из подполья). США, 1983. 96 с. \$7.00.
- ТАНАХ. В 3-х томах. 1. Пять книг Торы. Израиль, 1975. 271 с.  
2. Первые и последние пророки. Израиль, 1978. 494 с.  
3. Кетувим. Израиль, 1978. 394 с. Цена комплекта \$29.00.
- ТРЕТЬЯ ВОЛНА. Альманах литературы и искусства. Выпуски 13, 14, 15, 16, 17, 18. Цена одного выпуска \$6.00.
- ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ. Солженицын и социалисты. Предисловие А. Глезера. США, 1983. 47 с. \$4.50.
- ДАВИД ФРИДМАН. Возвращение Менделя Маранца. США, 1985. 155 с. \$8.00.
- СЕРГЕЙ ЮРЕНЕН. Вольный стрелок. Роман. США, 1984. 320 с. \$18.50.
- АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН. Конец трагедии. США, 1973. 236 с. \$6.50.
- МИХАИЛ ЯКОБСОН. Карзубый. Лагерная повесть. США, 1983. 90 с. \$6.50.
- AVRAHAM SHIFRIN. The First Guidebook to Prisons and Concentration Camps of the Soviet Union. Швейцария, 1980. 379 с. \$7.50.

**Zinovii Zinik**  
**Peremeshchenoe litso**  
**Printed in U.S.A.**



Зиновий ЗИНИК родился в 1945 г. в Москве. Изучал живопись, топологию, фехтование и театр. Образование получил в литературном кружке А. Асаркана, П. Улитина и Ю. Айхенвальда. Писал театральные рецензии. Лишь два коротких рассказа Зиника опубликованы в Советском Союзе.

В 1975 г. эмигрировал. В течение двух лет был режиссером русского театрального при Иерусалимском университете. Сейчас живет в Лондоне и зарабатывает на жизнь театральными рецензиями; пишет по-английски для лондонского еженедельника *Times Literary Supplement*.

Автор повестей и романов: «Извещение», «Уклонение от повинности» (опубликованы в ж. «Время и Мы»), «Русская служба» (отд. изд.,

1983), «Ниша в Пантеоне» (французский перевод готовится в изд-ве «Альбен Мишель»). Изд-во «Альбен Мишель» выпустило в свет и переводы романов «Перемещенное лицо» и «Русская служба». Сокращенный английский перевод романа «Русская служба» передавался по британскому Радио-3 Би-Би-Си. Эссе «Соц-Арт», «Подтекст» и «Эмиграция как литературный прием» опубликованы в журнале «Синтаксис».

Выход романа «Перемещенное лицо» на французском языке вызвал необычайный по широте отклик у критики.

*«... Исключительно яркая первая книга, забавная и трагичная одновременно. Это роман о сегодняшней русской интеллигенции... Хотя это — дебют молодого автора, Зиник в совершенстве владеет писательским мастерством...»*

«Ле Монд», Франция

*«Современную русскую литературу мы знаем по великим именам — например, по Солженицыну, — а тем временем, судя по всему, на сцену выходит второе поколение, представителем которого является Зиновий Зиник...»*

«Ле Котидьен де Пари», Франция

*«Перемещенное лицо» — это одновременно и чистый роман о любви и чистой воды сумасбродство. Зиновий Зиник показал себя тонким наблюдателем социальной действительности и блестящим виртуозом стиля. Его писательскому дару сопутствует тонкий интеллектуализм, нечасто встречающийся в его поколении, как и в поколении предшествующем... Этот роман об утрате родной почвы, как ни парадоксально, глубоко уходит своими корнями в русскую литературу...»*

«Активите литтерэр», Франция.

*«Запомните имя Зиновия Зиника... вы еще о нем услышите...»*

«Ла Либр Бельжик», Бельгия

